

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

Корректурa: М. Н. Долгов

4/2017

Содержание

ПРОЗА

Владимир ЗЛОБИН. Гул. Роман. Продолжение	3
Сергей БУРЛАЧЕНКО. Дни рождения. Рассказы	62
Алексей КУКСИНСКИЙ. Юла. Рассказ	80
Анатолий БАЙБОРОДИН. Песня журавлиная моя. Рассказ	108

ПОЭЗИЯ

Ольга АНИКИНА. Облепиховый свет. Стихи	58
Владимир БЕРЯЗЕВ. Путешествие сквозь пустыню. Стихи	74
Владимир КОСОГОВ. Расписание на утро. Стихи	105
Ольга ДОМРАЧЕВА. Чей-йа. Стихи	138

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Нина МАКАРОВА. Доверенное лицо. Из дневника редактора	140
--	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Людмила ЯКИМОВА. Мемуары ученой дамы	154
---	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Константин ВАСИЛЬЕВ. По стопам Робинзона Крузо, который не заметил в Сибири слона и пил воду, разбавленную водкой	176
--	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Татьяна СОКОЛЬСКАЯ. Дневник художника	188
--	-----

Авторы номера	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Владимир ЗЛОБИН

ГУЛ

Р о м а н*

XVIII.

Серафима Семеновна Цыркина стояла подле отца. Тот раскачивался в такт с хутором — лишь чуть-чуть поскрипывая от ветра. Дом еще не успел как следует врасти в землю, поэтому кренился то влево, то вправо. Совсем как отец, который нашел под потолком крюк и вддел себя в петлю. Сима не расстроилась и не помutilась рассудком. Внутренняя гордость сломалась в девушке еще пару лет назад, когда ее впервые бросил в сено будущий антоновец. То, что уцелело в тот вечер, доломали красные, зеленые, но хуже всех были бесцветные: они наваливались гуртом, горланя и отталкивая друг друга. У политических были хоть какие-то представления о морали, и они аккуратно выстраивались в очередь.

Сима скользнула в свою комнатушку, случайно задев отца, — тот качнулся вправо. Когда сирота вышла с дорожным мешком, Семен Абрамович шел налево. Девушка засмотрелась на папу. Черная борода стояла дыбом. Проворные карие глаза, выскочив, покатались по косому лбу. Веревка должна была вытянуть старого еврея, однако он, наоборот, сжался в маленького старичка из-за черты оседлости. Семен Абрамович жил в вечном страхе, подливая самогон даже тем, кому хватило бы водички. А когда человек пьян, то для него другие становятся ниже. Не мог Семен Абрамович расправить плечи, даже на революцию его не хватило — страшно закликал он сыновей не идти в эсеры. Те послушались, не бросали в губернаторов бомбочки и умерли от них где-то в Галиции. Это было даже не обидно, а скучно — умереть непонятно за что, без зла и подвига. Серафима Цыркина хотела такой судьбы меньше всего на свете.

Сима вылила керосин из лампы в кучу углового хлама. Оттуда отец, наверное, и вытащил шнурок, на котором удавился. Лучше бы отдал бечеву Гене, когда тот скакал вокруг хутора. Глядишь, и не на чем было бы повеситься. Неделю назад Гена тайком принес Симе расписной волчок, который сменял на кусок холста, а как сильно все изменилось! Девушка очень любила Гену, потому что он никогда не трогал ее и не пил водки.

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 3.

— Хороший ты, Гена. Рукой волчок поднимаешь. Не знаешь, что ею себя можно теребить... и других.

— Аг!

Дурачок любил хутор. Семен Абрамович пытался пристроить бесхозный ум к работе, но Гена плюхался в грязь или зарывался в траву, отчего винокур отдал юродивого дочке — пусть вместо собачки возится. Сима, расчесывая слипшиеся кудри, осторожно касалась Гениного горба. Курдюк на ощупь был твердый, точно набитый песком. Она нажимала на него, и Гена открывал рот — там тоже набухла шишка, словно из дурака резалось два крыла: спинное и внутреннее. Гена как будто хранил в себе большую тайну, и Симе очень хотелось о ней узнать. Как же расколдовать дурачка? Она часто мяла юродивому горб, пока однажды руки не спустились ниже. Отвращения не было. Навалилась знакомая похоть. Симе захотелось пососать дурака. Девушка скинула юбки и села там, где должна была быть середина Гены. Посмотрела лукаво: выпрямится ли у него ум?

— Аг?

— Гена, хочешь, тебя поцелую? Сразу принцем обернешься. Говорящим!

— Аг...

— Ну, Гена... Говорящим! Будем с тобой любиться как муж и жена. Не хочешь? А может, тебе хлебной опары дать? Я всласть могу наторговать. А, Гена? Скажи хоть слово.

Гена тогда встал, подобрал глаза и ушел вбок.

Стояла ночь, будто желавшая показать злой тамбовской земле еще одну бессмысленную смерть. Хутор, со всеми его постройками, сараями, домами для сыновей, которые так и не привели туда жен, с трубой винокурной, загоном для скота, амбарами и прочими единоличными вещами, понемногу занимался пожарищем. Через полчаса его стало видно из Паревки.

Сима вышла на проселок, по которому раньше часто стучали подводы. Кони с вплетенными в гриву ленточками отвозили самогон, наливки и утаенный спирт домой и на ярмарки. Вспомнилось, как отец взял Симу в Рассказово, где люди не пахали землю, а работали на фабриках, продавали ткани и счастливо ругались прямо на улицах...

Время было горячее и богатое. Отец тогда привел ее, нарядную и в башмачках, в гости к хозяину рассказовской суконной фабрики. Тот напугал Симу шириной, черной бородицей, оценивающим подлобным взглядом, от которого девочка смутилась и не нашлась куда деть ладошки.

— Сила Степанович, — покорно юлил Семен Абрамович, — село богатое, промышленное. Дома крепкие и фабрики. Но вот чего нет, так это места, где рабочему человеку отдохнуть можно. Питейного заведения ни одного!

Купец не понимал предложения:

— А в чем выгода? Народец местный к куму или золовке съездит в деревню да за набор иголок привезет целый жбан. Здесь же все гонят

самогон. В каждой избе. Потому и нет ни одного кабака. Право слово, и зачем с вами говорю? Время простаивает! У меня одна суконная фабрика тысячи в месяц приносит, да и трудятся там женщины. Мужики больно падки на выпивку, а вы мне тут предлагаете срамоту усиливать. Брожению я помогать не намерен.

— Сами посудите, Сила Степанович, это подводу надо сообразить, время выкроить, потрястись как следует — не опосля же рабочего дня ехать? А если в праздник, то полдня уйдет, пока туда-сюда скатаешься. Согласитесь, удобно было бы иметь питейное заведение прямо подле рабочего места.

— Глупости говоришь, — разозлился старовер. — Кто ж тогда работать будет, коли рядом питье продают? То издавна известно: если рядом кабак, мужик пропадает. Спить людей хочешь?

Цыркин вздрогнул больше от привычки, чем от необходимости, — знал, что идет в дом к человеку суровых взглядов, хранившему заветы отцов так же твердо, как и свои предприятия. Да и имя какое — Сила! Славянское, могучее, точно Святогор на память выдохнул. Возможно, и не нашелся бы бражник что ответить, если бы не сын Силы Степановича, Елисей. Был он единственным отпрыском древней фамилии: молодая мать померла при родах. Погоревал Гервасий и рассудил не брать в постель иную. Нечего Бога гневить. Дал Господь одного сына, значит, так положено. Тем более капиталы дробить не придется: наследник-то один.

Вырос Елисей Силыч разбалованным гоголем, любящим скоротать время за самоваром. Чайная машина пыхтела тут же, на столе. Самовар нагрелся и немного подрагивал. Из трубы валил пар, густевший весело и страшно. Самовар как будто был живым существом. Возможно, еще одной маленькой девочкой, которую грозный хозяин превратил в чайную медь.

— Тятя, не сердчай на гостя, — ласково заговорил Елисей Силыч. — Давай выслушаем, приголубим. Вон девочка какая ладная сидит, ей же тоже хочется конфетки кушать. Да, дите?

Елисей Силыч взял с расписного блюда кусочек сахара и передал Симе. Девочка принялась лизать рафинад, тревожно поглядывая на хозяина. Привык фабрикант с миром не кушать, да только коммерция сильнее запрета — вот и хмурил купец брови. Грознее зашипел самовар. Возвышался он над людьми начищенной бляхой, будто не прислуживать был создан, а владеть человеком. Самовар распластал в стороны короткие ручки и тужился большим животом; Елисей Силыч регулярно подливал себе чаек.

Выглядел отпрыск не так, как тятя: жил с короткой, будто нарисованной бородкой, одежду носил вычурную, почти пеструю, где в складках прятался хитрый орнамент. Старший в роду чая не пил, табака и вина не знал, относился к людям завода бережно. Младший уважал самовар, заметал сахар за толстую губу и от щедрости душевной подкладывал девочке рафинаду. Елисей Силыч был уже не молод, но еще не зрел — тот

самый возраст, когда отцу начинают вежливо перечить, а он не может отвесить сыну поучительную оплеуху.

— Понахвтался от мира, лучше бы духовные правила учил! Как ты не можешь уяснить, что убыток работе выйдет, если трудовика рюмкой соблазнить? Предки мои, тятя мой и отец отца моего, дед твой и прадед твой, против вина всегда выступали. Где отступимся от канона дедова — погибнем.

— А вы знаете, тятя, что винная монополия дает государству расейскому больше трети процентов бюджета? Не фабрики, не заводы, не деревенский батрак, а вино. А это миллионы рублей! Миллионы! А мы что, хуже? Почему свою копейку взять не можем, если царь Николай мешками прибыль ворочает? Чай не семнадцатый век, чтобы в леса уходить и в дождевой воде креститься. Тятя, сила ныне не в тех, кто поклоны земные бьет. Будут у нас большие деньги — будут и церкви по старому обряду, и книги, и иконы у офеней выкупим краденые, и народ к нам потянется. Ведь деньги что? Сор, инструмент. Мы же их не копить собрались, а обращать во благо. Если мы миллионы не сделаем и на благое дело не потратим, то кто-нибудь иной пустит их на зло — на тело свое, на табачную фабрику, на ересь латинскую.

— Миллионы... — задумался Гервасий-старший. — Однако здесь счет на тысячи в лучшем случае пойдет. Что нам с них? Да и не пьют женщины, говорю же вам... Хорошо, положим, есть еще у меня тут производства, мастерские, люди. У них имеются такие потребности. А как перепьются работнички, как пойдут бузить и станки ворочать, что делать будем?

— У вас найдутся здесь социалисты? — вступил в разговор Цыркин.

— В Рассказове? — удивился промышленник.

— Да.

— Жиды, что ли? Есть пара любителей побузить, но смирные. Да и чего бузить, мы же с ними не как со зверьми обращаемся. Иногда листовки находим, и то не местные: из Тамбова агитаторы заскакивают.

— Вот! — обрадовался Цыркин. — Сегодня один, а через год два-три агитатора. В одно ухо нашепчут обещаний, а там и бунт с бедой. Сами посудите, что рабочему после смены нужно?

— Как что — отдых и нужен.

— Ан нет! Даже скотина в хлеву не сразу спать ложится, а ржет, мычит. Так и человек — наговориться ему надо, послушаться. Вот и слушает рабочий по вечерам социалиста. Сначала для смеха, потешается над пропагандистом, не верит, а потом все серьезней становится, вопросы задает, требует пояснений, спичечный коробок в руках вертит, пока не вызревает мужик на бунт. Сила Степанович, разве я сам не понимаю, что водка — это большое зло? Думаете, я сам пью? Да ни в коем разе! Только уж сами смекните, раз государство наше расейское держится на винных парах, то чем мы хуже? Раз государственньй бюджет водкой наполняется, что мы тут можем напортить своим мелким процентом? А полученньй капитал пустите на дома трезвости и на общественное благоустройство. Но и это

мелочь, говорю вам! Главное, социалиста не пустить к рабочим, главное, занять трудягу, чтобы он не слушал ничьих речей. Помните же, что было в пятом году? Социалисты, анархисты! Теперь затаились. Хотят второй раз счастья попытать. Виляют по всей России, ищут бесхозных рабочих, чтобы совратить. Вся революция на Руси от трезвости идет.

— А ты чего так хорошо про социалистов знаешь? Чай, сам из этих? — Сила Степанович уставился на чернявого еврея.

— Нет, я из крестьян! Крещеный. Да вы б со мной тогда и дел не имели, не был бы я православной веры.

— И я крещеный, — улыбнулся Гервасий, — только мы с тобой все равно не одной веры. Ну, допустим, есть таковая опасность, и что предпринять?

Довольный Елисей Силыч ответил первым:

— Кабак открыть. Самое верное решение. Там, где есть кабак, нет никакой революции. Соберутся, покричат, несколько кружек расколотят и успокоятся. Никто никаких социалистов слушать не будет: кому они нужны, когда есть водка? Енто малое зло супротив большого, да и мы так его поворотим, что одна прибыль пойдет!

— А водка есть? Так понимаю, не у государства будем брать? — уточнил хозяин.

— Водка есть первейшего сорта! Буду сам на подводах доставлять! Дешевая, благородная... Моя. И наливки есть, и вино, никто и носа не подточит — откуда она. На что вам казенная монополия? Лучше имейте дело с честным производителем. Там же деньги с вас берут гуртом. А я готов быть партнером. Мне и деток кормить надо. Симочку.

Все посмотрели на Симу, которая сжалась на лавке в маленький темный комочек. Она не понимала разговора, но запомнила взрослые бороды. Большую — у хозяина дома, острый угольный штришок у отца и короткую черствую бородку Елисея Силевича, похожую на корку хлеба. Три бороды ударили по рукам. На столе вдруг закачался самовар. Из недовольной машины густо повалил пар. Она задвигалась, заурчала, потребовала людского внимания. Вот-вот опрокинется, обварит кипятком! Елисей Силыч открыл медный краник, наполнил блюдец и протянул девочке еще один кусок сахара. Рафинад был белым-белым, как будто Сима пробовала на зубок солнечный свет.

Уже позже, когда в Рассказове открылись кабаки, подпольно торгующие цыркинской водкой, винокур стал отправлять туда подводу за подводой. Сработались с Силой Степановичем. И у того был одинокий сын, и Цыркин соврал про единственную дочь — в сумме помогло, начал народ рассказовский потихоньку пить, спускать заработанные у фабриканта деньги в его же увеселительных заведениях. Если старший Гервасий тихо роптал, то Елисей Силыч планировал открыть питейные заведения в Тамбове, Кирсанове и в Балашове с Саратовом. Прибыль делили по справедливости: если бы не Елисей Силыч, никогда бы старый Цыркин не уболтал упрямого старопера.

...Сима шла по лугам, истоптанным конницей: раньше здесь был помещичий и крестьянский выпас, а теперь проросла война. От Паревки несло теплом, дымом, ржанием, и Симе казалось, что когда она выйдет к людям, то обязательно скажет им самое важное, то, что пишут в священных книгах и хранит за душой дурачок Гена. А если не будут слушать, если все будут спать, девушка заберется на колокольню и пропоет оттуда вместо петуха. Симе не хотелось к антоновцам и не хотелось к большевикам: и те и те для нее были равной сволочью, но вот к людям, к гречневым мужикам и пресным бабам, Симе очень хотелось. Хотелось поговорить хоть с кем-нибудь, кроме отца, хоть о чем-нибудь, кроме самогонки, хотелось трястись не в чужих руках, а от смеха, от личного позволения, от танца или от голода. Дальше Сима обязательно пойдет в Рассказово. Из Рассказова проберется в Тамбов, а там сядет на поезд, который она, девушка восемнадцати лет, видела всего пару раз в жизни. И уж поезд принесет ее в Москву, прямо на вокзал, где никто не будет знать о том, что пришлось ей вытерпеть ради спасения хутора.

— Да стой, тебе говорят!

Девушка не сразу поняла, что окружена конными людьми. А когда поняла, то ничего не поняла. Ведь сначала же должна быть Паревка, затем Рассказово, Тамбов и Москва, а не ругающиеся люди и вооруженный разъезд, сразу ускокавший в сторону, откуда она пришла.

— Кто такая? — спросил голос с немецким акцентом.

Сима молчала. Ей захотелось кусочка сахара, поданного двуперстием.

— Документы!

Молчание.

— Товарищ комиссар, разрешите обратиться? Это лазутчица. Бандиты используют женщин для связи, передавая записки или листовки.

— В причинном месте передают, тащ комиссар, — заржали два братских голоса, однако быстро осеклись.

— Я имел в виду, что послания передают в волосах.

Красивый голос скомандовал:

— Отрезать.

Сима подняла голову и увидела темную широкую фигуру. Девушке стало приятно, что с ней заговорил важный человек, и она совсем не обиделась, когда два балагура, перебивая один другого, поставили ее на колени в сырую траву. Запоздало Сима поняла, что это те двое, что приезжали к ним на хутор, те двое, с которыми она познакомилась одновременно и с разных мест. Весельчаки, переставшие шутковать только после повторного немецкого окрика, схватили каштановую косу и отсекали ее несколькими рубящими ударами. Благородная фигура внимательно ощупала поданную косу, распустила ее веером и выкинула в траву. Несколько мгновений весь отряд смотрел, как в светлеющем воздухе распушился каштановый парус. Словно ветер разметал осеннюю скирду.

— В Паревку ее, — скомандовал Олег Мезенцев.

ХІХ.

Федька Канюков остался в селе. Бывший продотряд перешел под командование комиссара. Паревка могла быть атакована бродячей бандой, потому армия нуждалась в усилении. Среди крестьян ходили слухи, что окрестные леса заняты не то антоновцами, не то злым духом. Сокочет он по оврагам и наливается силой. Как нальется — воевать пойдет. Еще поговаривали, что в барских садах видели тень убитого Клубничкина, которая дышала на окна усадьбы. Федька, возвращаясь с полей, где помогал восстанавливать народное хозяйство, посматривал на яблоневый холм. Оттуда дул ветер, и казалось, что ветви гнутся от веса молодых покойников.

Федька твердо знал, что по жизни стоит бояться, но бояться нужно в меру. Тех, кто ничего не боится, убьют в бою, а повезет только какому-нибудь единичному Мезенцеву. Тех, кто всего боится, убьют свои же. А выживает всегда серединка, тот, кто между колбасой и хлебом, кто не рвется вперед и не бежит назад. Канюков числился в обозе, который свозил конфискованное зерно в совхозы, а потом на железнодорожную станцию. Не нужно было бить прикладом мужиков и вспарывать двойные стенки сараев. И стрелять приходилось редко — лишь отгоняя от обоза мародеров. Хорошая жизнь — это когда не нужно быть трусом или героем. Побыстрее бы закончилась глупая гражданская тяжба, и зажил бы Федька хорошо, маслом бы зажил. Между булкой и колбасой.

Однако не все были с этим согласны. Вальтер Рошке горячился на политвечерах:

— Крестьяшки спрашивают, отчего мы берем их за гузно? Отчего устанавливали продразверстку? Контрреволюционные агитаторы утверждают, что мы зерно ради собственного удовольствия изымаем. Что жрем его на партсобраниях. Не объяснить мужику, что если не даст он хлеб городу, то умрут не тысячи, как сейчас, а миллионы. Потому и лезем к нему в амбар. Как иначе накормить города? С помощью мелкотоварной торговли? А чем платить городу? У него ничего нет: столько лет война идет! По-другому решить проблему голода невозможно. Даже разреши мы свободную торговлю и установи на хлеб твердую цену, крестьяшки не спешили бы сбывать зерно в городах, набивая ему цену. Все равно был бы голод. Эпидемии и миллионы смертей! Единственный способ организовать справедливый товарооборот — это подстегнуть его винтовкой. Правда, на это контрреволюционеры отвечают по-своему... Кто знает как?

Все слушали.

Рошке, сверкая очками, продолжал:

— Контрреволюционеры говорят, что не нужно было устраивать революцию, что не нужно было воевать и разрушать страну, тогда бы и не было необходимости в изъятии хлеба у деревни. По-своему они, конечно, правы — если мыслить в аристотелевской логике, потому что революция — это прямая посылка продразверстки. Но с практической точки зрения контрреволюция ошибается. Кто знает почему?

Слушатели молчали.

Рошке ехидно, насколько это позволяло происхождение, подытоживал:

— Потому что за такую постановку вопроса мы сразу же отправляем в Могилевскую губернию.

Чекист не нравился Федьке. Был он весь немецкий, не наш, очень уж брезгливый в своих круглых очках. Бледно улыбался лишь при упоминании котангенсов. Комиссар тоже был человеком крутым — до сих пор гудело в ушах эхо паревского расстрела, — но в то же время казался Мезенцев милее, родимее, что ли. Тянуло к нему Канюкова, точно к потерянному отцу. «С ним не страшно», — думал Федька, проходя место, где обнаружил располосованного Клубничкина.

— Комиссар — наш, большевик, а Рошке — окаанный коммунист, — без страха сказала Федьке местная бабка.

При расстреле у нее погиб муж, и теперь она ласково поила мальчишку молоком. Когда Федька пил, по безусому подбородку текли две теплые струйки. Молоко он выменял на подшивочный материал, да только вот чудеса — никакой коровы у старухи не было. Откуда же тогда взялось молоко? Сама себя доила, пройдоха? Не, куда там! Хитрые паревцы заранее угнали скот в потаенные камыши. Отправится бабка в утренний туман, насобирает его в подол, выжмет в холодке — вот тебе и крынка молока. А сходит босая девка до оврага, где на Руси, известное дело, испокон веков поросятки водятся, — так палку чесночной колбасы принесет.

К Федьке паревцы относились ласково, как к единственной кобыле. Еще по весне командование обязало красноармейцев и мобилизованных оказывать помощь беднякам и середнякам. Канюков впрягался в плуг вместо поеденной лошади или тащил за собой борону. Почуяли люди ответную доброту: никого Канюков не ругал, не бил и не стрелял, хотя имел на то полную власть. На селе как раз не хватало подросших мальчишек, большинство которых ушли к антоновцам и уже никогда не вернутся назад. Вот и звали к себе Федьку подобрешие паревские женщины. Это казалось ему странным. Неужто человеческая память так коротка? Неужто достаточно щелкнуть над крестьянской головой бичом, чтобы она тебя полюбила? И как могут девки, лишившиеся отцов и братьев, с черемуховым смешком ходить за красноармейцами? Девки... девки никогда не меняются. Во все времена они бегают за героями и подлецами.

В Паревке была расквартирована часть особого назначения, прибывшая из Москвы и подкрепившаяся тамбовской чекой. Был продотряд, собранный по тамбовским заводам, оттуда и сам Федька вышел. Местная коммунистическая ячейка тоже была. В уже замиренное село пригнали даже желторотых курсантов. В общем, народу было хоть отбавляй: пришлые люди заменили убитых, село казалось таким же полнокровным, как и раньше, может, поэтому не чувствовали крестьяне обиды за то, что большевики устроили церковный расстрел? Или дело было в Евгении Витальевиче Верикайте?

Латыш, как только оклемался, сразу же ввел комендантский час. Комполка объявил, что он, как участник выездной сессии губернской чрезвычайной комиссии, имеет право на бессудный расстрел. Обещанную кару он, правда, не применял. Сказано было для острастки Паревки, которая по всем документам числилась злобандитским местом. Хотя Мезенцев его хорошо подлечил: кого не добил пулемет, тот был отправлен в концлагеря. Верикайте зачитывал крестьянам цифры: в заложниках на июль месяц числилось почти две тысячи семей и более пяти тысяч одиночек.

— Вот, товарищи, — поднимался к небу короткий палец, — растет население Могилевской губернии.

Верикайте говорил медленно, широко расставляя слова. Местный люд его не очень понимал, да и считал большевистские цифры с трудом, внушаясь не от них, а от толстых ног в оранжевой коже и скрипящего на жару оранжевого же френча. Верикайте от солнца не потел, словно не человеком был, а балтийской рептилией. Когда смотрели в зеленые глаза крестьяне, то робели, будто видели перед собой удава.

Навел Евгений Витальевич в Паревке порядок. Никто больше не отбирал полпуда муки в подарок Ленину. Все по законному продналогу, который сам как плетка, но крестьяне теперь понимали, за что их бьют, и кивали — так лучше, так правильней. С большака исчезли пьяненькие красноармейцы, которые раньше любили погонять кур и догнать парочку девок. По ночам больше не подползали к крайним избам антоновские разведчики. А если подползали и осторожно стучали в дверь, то им никто не открывал. Узнает хромой латыш — хуже будет. Очень боялись паревцы таинственного слова «начпогуб», которое Верикайте произносил со зловещим прибалтийским акцентом.

— Начпогуб поручил проконтролировать состояние дел в уезде... Начпогуб уведомили... Начпогуб послал разнарядку...

В аббревиатуре «начпогуб» слышался не начальник политического отдела губернии, а начальник по гублению. Ему и церковь местная подвластна. Отдали ее под склад — хранить доступные для жизни продукты. Интересный Верикайте поставил вопрос: раз люди на причастии Бога кушают, можно ли сделать наоборот?

Бесстрастно ковылял Верикайте по Паревке. Сверкал на солнце оранжевый френч, точно отблеск рабочего пламени, — вот она, власть, наводит железный порядок. Ни красноармейцы, ни крестьяне, ни этапиремые в концлагерь пленные не догадывались, что Евгений Верикайте так часто обозревал село из-за большого страха. Он ждал, когда вернется откомандированный на поимку Антонова отряд. Подписывая про запас мандаты, с которыми Рошке и Мезенцев ушли в лес, Евгений Витальевич украдкой поглядывал на товарищей. Не смотрят ли презрительно: как ты, дворянское Верикайте, смеешь марать офицерской рукой наши расстрельные мандаты? Пока лежал в беспмятстве командир, мог наговорить и об отце, выслужившем личную контрреволюцию, и о богатом детстве, и о том, что в Февраль Верикайте пошел с буржуазно-кадетских позиций, всего лишь ради умеренной демократии с Учредительным собранием. Был

он даже причастен к борьбе с социал-демократией, пока судьба не занесла в стан красных. Со злостью на себя ковылял по селу Верикайте.

— Черт колченогий ходит, — шептала Федьке та же бабка.

Она только что обменяла на подшивку крынку молока. Торг состоялся под одобрение лампы: гарное масло чадило в красном углу. Федька Канюков заметил, что там, где Бог сплел иконную паутину, стоял небольшой образок. Проглянули строгие женские черты. Но это не был лик Богородицы. Мерещились в лице защечные страсти, которые могли прорваться в жизнь то ли в чувственной любви, то ли в револьверном дыму. Федька никогда не был религиозен. Он не понимал, что за иконка томилась рядом со Спасом.

— Это Богородица?

— Выше бери — Маруся!

— Какая Маруся?

— Мария Спиридонова, заступница тамбовского народа перед Богом.

Вспомнилась агитация на рассказовских фабриках, где социалы-революционеры все время нахваливали одну женщину. Вроде это и была Спиридонова, которая при старом режиме застрелила крестьянского карателя. Да только карателей этих было пруд пруди, да и мстителей народных тоже хватало. Всех подробностей не упомнишь. Разве что из комиссарского рта слышал Канюков, что эсеры ныне злейшие враги революции.

— Так это эсерка, что ли? На иконе?

— Никакая не эсерка, — обиделась старуха. — Богородица! Да ты, поди, и Бога не зришь. Весь в наших мужиков. Поставили в председателском доме Ленина портрет. Мужики заходили и по привычке в угол крестились. Им хоть адописную доску поставь, все равно поклоны бить будут!

Федька крепко задумался. Жены антоновцев кричали, царапались, плевались, пока их конвоировали в Сампурский концлагерь, и были совсем не похожи на молчаливый лик с иконы. Разве что одна молодуха, тоже молчаливая и слегка болезненная, привлекла внимание парня. Пойманная на Змеиных лугах девка тихо сидела в тюремной избе. На часах стоял Федька. Иногда парень заглядывал в окошко. В загаженной избе молчунья расчесывала пятерней несуществующие волосы.

— Имя, фамилия? — допрашивал Верикайте. — Гражданка, к вам обращаются. Имя, фамилия?

Пленница смотрела на краскома большими черными глазами.

— Вы эсерка? Связная Антонова?

Молчание.

— Входили в Трудовой союз? Какова была ваша роль? Почему вы не говорите?

Так бы и вышла беда, если бы не старуха, что продавала Федьке молоко. Она, никого не боясь, протолкнулась к ведущему допрос Верикайте и объяснила:

— Так это же дочь Цыркина, Симка. В десятке верст у них хутор, что на днях горел. Из крестьян она.

— Вы можете это подтвердить? — осведомился Верикайте у де-вушки.

Сима ничего не ответила. Она лишь посмотрела черными глазами на Федыку, и того внутри обожгло.

Вечером парень брел к избе, где разместился на постой. В доме хозяйничала баба, которая была совсем не против того, чтобы Федыка вообще не заходил в избу. Баба любила с уголовным малым из продотряда, а Федыке за то, что он слонялся среди плетней, отсыпали оладий. Они были пресными, невкусными — не из муки, а из перетертой луговой поросли.

— Чего слоняешься? — однажды окликнули из-за плетня. — Вдовица не пускает?

Федыка привык, что его в селе не боятся, даже несмотря на хлябающую за спиной винтовку. Никогда он не лютовал, не унижал людей, а все потому, что не было у него ни сестер, ни отца с матерью — некому было награбленное отсылать.

— А ты чего? — спросил Федыка.

У Арины было круглое лицо, вздернутый утиный нос и черные волосы. Несколько юбок, платок на голове. Обсыпанные заразой губы, шелушившиеся вместе с семечками подсолнуха. Крепкий таз, сама невысокая, будущая мать и жница — обыкновенная русская крестьяночка.

— Чего бы и не слоняться? Жениха убили, теперь свободная гражданка. Хочешь, вместе послоняемся? Порасскажу тебе всякого.

— Так не положено...

— Тю-ю, забоялся, так и скажи.

— Забоялся, — согласился Федыка. — Боятся не зазорно. Вон как Мезенцев крут. Тут только дурак не заботится.

Арина поковыряла на губе коросту. Скинула ее в сторону вместе с кожуркой от семечек.

— А я бы тебе про Мезенцева рассказала.

— Чего он? — заинтересовался Федыка. — К тебе под юбку ходил?

— Ко мне не ходил, а все про него знаю.

— И чего знаешь?

— Что никогда он из леса не вернется — вот что знаю.

Федыка слышал, что отряд, ушедший в лес два дня назад, до сих пор не дал о себе знать. Ни один из многочисленных разъездов не видел даже тени человека. А ведь лес за рекой Вороной не такой уж большой, всего за день можно пройти. Если заплутал, через несколько часов выбукаешь на волю, пусть и не там, где хотел. Отряд же Мезенцева как сквозь землю провалился. Хотели даже снарядить вторую экспедицию, но Верикайте приказал отправить в небо аэроплан — пусть смотрит птичьими глазами. Самолет, волнуя пропеллером траву, проносился по лугу, как тарахтящая расческа. Давили колеса змеек, искавших на лугах доброго Гену.

— Как это не вернется?! Хочешь, чтобы тебя в одну избу с той помешанной посадили? — зашептал Канюков.

— А пусть садят! Мне уже что? Надо было и меня вместе с женихом кончать. Я же его покрывала — почему меня не прибрали вместе с попом и мужиками? Хочу в Сампур! Слыхала, что за меня просили... Больно многим приглянулась. Ха! В Сампуре веселее, чем тут спину гнуть. Вот сгноили мужиков, а о нас кто подумал? Как нам с этим жить?

Федька даже обиделся:

— Чего-то твои подружки не сильно горюют. По ночам только и слышу смешки с сеновалов. Это конечно! Как отцов кончили, а братья в лесу сидят — так вам свобода! Вроде и комендантский час, а на вечерках девок полно. Отчего это? Или хочешь сказать, что не такая? Все такие. Я бы тоже был такой, если бы бабой уродился. А почему не забрали, то мне незнакомо. Надо будет — заберут. Не надо — не заберут. Чего тут думать? Ты лучше скажи, кто тебе про Мезенцева рассказал?

Арина уже стояла рядом с Федькой и дышала на него крестьянской теплотой. Нежно пахло потом, мочой и молодостью. Она лузгала семечки и некрасиво сплевывала шелуху под ноги. Когда слюнявая кожура прилипла к девичьим губам, Федька расслабился: никто не пытается его соблазнить, чтобы выведать комсомольскую тайну.

— Так кто тебе слух умаслил? Сама, поди, и придумала.

— Дурак здешний, — фыркнула Арина, — Гена. Так мне и нашептал, что комиссар худо кончит.

— Смуглый, горбатый? Так он же говорить не умеет! Эх ты, вруша. Может, он тебе рассказал и про то, кто Клубничкина убил?

— Еще спрашиваешь! Все мне Геночка рассказал. И про Клубничкина рассказал, и про другое рассказал. Не умеет говорить — и что? Просто слушать надо.

После того как появился в Паревке комиссар, дурачок стал сам не свой. Его не пугали антоновцы, которые иногда стегали юродивого нагайкой, не напугал грохот боя на болоте, но вот Мезенцев... От его вида Гена дрожал. Дурачок цеплялся к прохожим, тянул их в крапиву у плетня, чтобы на непонятном, сказочном языке рассказать комиссарову правду. От него отмахивались, порой шлепали по гузну или пытались откупиться диковинным гвоздиком. Гена бездельнику брал, относил ее в потайное место, однако опять возвращался в село и, заглядывая в проходящие души, кричал. Сердобольные старухи даже пытались прогнать дурака из села — вдруг разозлит завоевателей и пристрелят его, — Гена никуда не уходил.

Однажды, когда дурачок подглядывал в бычье окошко, где с вдовушкой тайно любился Гришка Селянский, случился с ним очередной приступ. Завыл дурак, разодрал пузырь, который был редкостью для Паревки — село богатое, стеклянное, — и забрался внутрь к живым людям. Даже бывалый бандит перепугался, дрожащими руками нащупал спрятанный наган и долго тыкал им в юродивого, которого принял за ЧК.

— Ах ты, сучья серсть! — зашептал Гришка, а дурачок забился под стол, откуда вращал безумными глазами и орал:

— Аг! Аг! Аг!

— Я тебя ся вместо бабы полюблю!

Селянский осторожно выглянул в окно — по улице как раз прошел Олег Мезенцев. Один, без охраны, зачесав назад волосы и осанку, прошел гордо, на два метра вверх. Больше на улице ничего не происходило. Только в кустах все шумело и двигалось, оттуда подползал странный гул, тоже подглядывающий за Мезенцевым.

Пока вдовушка с оханьем одевалась, Гришка сообразил, что юродивого напугал комиссар:

— Эх ты, дурьнда, нечего его бояться! Он тоже из плоти и крови. Тоже боится.

— Аг? — с надеждой спросил Гена.

— Никого не бойся и никому не верь! Хочес узнать, балда, отчего я дырявый в зубах? Так это оттого, сто не обсикался. Мне жандарм в каталаске зубы ломал, стобы я ему на воров стучал. Запер Грисеньку в караульной и клесями зубья вытаскивал. А я его лицо запоминал — вдруг в лихой год пригодится? Круглую мордаску запомнил, усатую. И раз Гриска Селянский зубодера не убоялся, то и комиссара не испугаюсь. Понял, стукнутый?

— Аг?

— Че ты агукаес? Я с тобой по-людски!

Гришка избил дурачка, поучая его никогда не подглядывать за чужими людьми. Вспомнилось Гришке, как еще в Самарской тюрьме, куда он попал за зипунный промысел, подкинули им в камеру политического человека, наказав попотчевать его арестантской наукой. Приказ отдал стражник со вставленной челюстью. Не нравился он Гришке, слишком лютовал в пересыльной тюрьме, попортив жизнь многим честным вора. Не начальник был, а зверь. Чуть что — сразу в зубы. Хотя интеллигентки, вечно спасающие народ из своих кабинетов, не нравились Селянскому еще больше. За камерный труд обещан был чай, табачок и вкусный белый хлеб.

Гришка, будучи главным в камере, ласково принял политического. Тепло побеседовал, посочувствовал эсеровскому делу, а потом подвел к чану с парашей и благожелательно спросил:

— Мил человек, сам головку голубиную сунес или помочь?

— Что? — не понял интеллигент.

— Рыло в парасу совать будес или нет? — страшно заорал Гришка.

— Нет, — с достоинством ответил политический.

После избияния новоприбывшего положили головой в бак. Селянский постучал в дверь: «Готово, выноси». Интеллигента отмыли в бане, но то ли он не понял урока, то ли вновь зачудил, только учительшку опять закинули в хату с Гришкой. Ах, с какими улыбками приняла камера блудного сына! Присаживайтесь, товарищ жар-птица! Позвольте обогреть вас лучами славы!

Пожилой господин обтирал козлиную бородку и шептал:

— Если вы... если вы... еще раз так поступите со мной, то я клянусь, что этого так не оставлю.

— И сто ты сделаеґ? — внимательно спрашивал Гришка.

— В знак протеста я покончу с собой.

Камера взорвалась хохотом. Уголовники ждали, что хваленый политический, об отваге которых они так сильно наслышаны, попытается их наказать. А он... он, вы подумайте, решил наказать воров собственной смертью! Да иди в сортире утопись, мы потом профессорское тело горячими слезами польем! Однако Гришке уже поднадоело издеваться. Он просто отбирал у него весь хлеб и лепил шпаера, игрушечные пистолетики, из которых придурочно стрелял в интеллигентика.

— Фамилия? — орал Гришка.

— Что вам до моей фамилии?

— Фамилия, фраер?! —

Губченко.

— Революционным судом вы приговариваетесь к расстрелу, товарищ Губченко! — И Гришка слюняво стрелял из хлебного револьвера.

Интеллигент же в ответ корчил скептическое лицо:

— Народная власть так никогда не поступит. В том ее коренное отличие от царского режима. Вы и сами, товарищи, увидите, как изменится страна еще при вашей жизни. И тогда, я вас уверяю, вы попросите прощения за то, что делали со мной и с другими. Мы ведь с вами в одну беду попали, товарищи...

— Сса! — орал раздраженный Гришка. — Я здесь народ! И будет по-моему!

Бандиту так и не удалось сломать интеллигента. Того перевели в другую камеру, а через месяц вообще выпустили. Вот отчего Селянский с таким остервенением бил юридивого. Он был для него таким же странным, нелепым, как и тот субтильный учитель с седеющей бородкой. Если бы Гришку макнули в парашу, он бы изгрыз сокамерников, а потом покончил с собой. Интеллигент же по-прежнему смотрел на мучителей не свысока, а издали, что ли. Из заоблачных гуманитарных далей, где дерьмо и пайка всего лишь часть словарного запаса. Интеллигент был сильнее Гришки, отчего сильнее становилась ярость.

...С каждым ударом по горбатой груше бандит понимал, что с помощью кулаков ничего никому доказать нельзя. Для победы необходимо жертвовать. Вложиться без остатка и обязательно так, чтобы об этом никто никогда не узнал. Но как это сделать? Ведь война уже кончена. Ведь он сам сбежал от Антонова. Ведь скачет теперь не на коне, а на затихшей в углу вдовушке.

За окном снова прошел Мезенцев. А затем прошли те, кого комиссар убьет всего через несколько дней.

— Аг-аг! Аг!

Гена не понимал, за что его бьют. Ему просто хотелось тепла и обоюдного участия в жизни. Хотелось прижаться к людям и вместе пере-

ждать роковой шепот, который оведал Мезенцева. Побой Гена принимал с криком и слезами. Он размазал по лицу кровь и, вырвавшись, выбежал на улицу. Озверевший Гришка бросился за ним, а там Арина — хмуро смотрит на вдовый дом...

— И ты чего? — спросил тут Федыка.

— Чего-чего... Ворота ей дегтем измазала, да и дело с концом. Половина Паревки про эту потаскуху наслышана. Все равно Гришку расстреляли. А он как ждал этого дня. Даже злбиться перестал, будто не расстрел, а праздник.

— Любила его?

— Положим, что любила. А иначе на дух не перенесешь — только любить его, озорного, и можно было. Бил, паскуда. Орал. Бегал по бабам, а те и рады: мужиков-то поубивало.

— Антоновец же.

— Зато интересный. Поинтересней вас, большевиков. Рассказывал про жизнь молодую, про реку Цну — не чета нашей Вороне, большая река. Про Тамбов рассказывал. Огромный город! Наш большак в нем лишь малая улочка. А ты чего рассказать можешь? Про Рассказово? Тю-ю...

— А про комиссара что Гена говорил?

Девушка поправила платок и оглянулась по сторонам. Кроме недовольно шумевших кленов, вокруг никого не было.

— А то, что не комиссара боялся Гена.

— Кого ж тогда?

— А ты послушай, — тихо и без игринки предложила Арина.

На Паревку опускался вечер. Не тянулся с лугов скот, не слышалось пьяных мужиков и тальянки молодняка. Да и избы курились едва-едва, чтобы не раздражать воздуха запахом пищи. Войска, расквартированные в селе, вели себя тихо и совсем не задиристо. Тяжело засыпала Паревка, без храпа и шороха. Но в темноте, которая набегала сверху, там, где на холме притулилась бывшая барская усадьба, занимался еле различимый гул. Он сочился из яблоневого сада, полз среди корней и медленно обволакивал селение. Арина невольно подалась к Федыке, однако тот не ощутил влечения: комсомолец слушал, как со стороны Змеиных лугов, беря Паревку в кольцо, из леса, куда ушел Мезенцев, тянется унылый, сизый гул.

Он наползал на село неотвратно, как наступает армия или как приходит голод. Вот уже преодолена река Ворона, парившая ведьминским туманом, вот поглотил гул первые дома на окраине, вот уже стучат Федыкины зубы, уже страшно всем большевикам. А гул все полз и полз. Гул только начинался. И не остановится он на Паревке, не хватит ему Рассказова и губернского Тамбова, и даже Москва не насытит гула: только тогда остановится лесной шепот, когда скроет каждый островок в Студеном море, поглотит шапки Кавказа и вольную Сибирь, обволочёт раз и навсегда всю Россию, а за ней — весь мир.

XX.

Мезенцев проснулся от переполоха. В свете раздутого костра комиссар увидел вырывающегося человека. Лазутчик мычал, отбиваясь круговым движением таза. Шпиона несколько раз ударили прикладом по голове.

— Отставить! — приказал Мезенцев.

Как всегда, пришел в золотую голову кошмар. Бежал Мезенцев от того, на что страшно оглянуться. Хлюпали сапоги по кровавистой жиже, стрелял комиссар назад и пугался своих же выстрелов. Может, то и не было странно для человека, привыкшего к мясным дням, но раньше приходили сны упорядоченные, со стрелками и окнами РОСТА. Разве что тоска по Ганне, затерявшейся среди волжских городов, порой будоражила сердце, хотя то были сны ласковые, материнские, когда Мезенцев во сне еще раз засыпал на теплых белых коленях. И тихо смотрели на светлый затылок любящие глаза. Один коричневый, другой зеленый. Здесь же, на тамбовской земле, сны выходили насильственные, как продрозверстка. Снилось ему детство близ Белого моря. Как маленькие руки пытались отвязать причальный канат, чтобы уйти на лодке в большую воду. Так поступал отец, так поступали старшие братья и дед. Однако узел был слишком тугим, а руки слишком маленькими. Лодка казалась умершей по весне матерью. Она нежно покачивалась на волнах и просила сыночка поскорее справиться с веревкой. Хотелось залезть в разрезанную деревянную утробу, чтобы укрыться от пасмурного поморского неба. Еще хотелось плакать: руки никак не могли одолеть взрослый узел. Мезенцев плюхнулся на берег и ударил кулаком по мокрой гальке. В море поднялась багровая волна, которая устремила к нему. Он тоже поднялся, тоже понесся, уже прочь от воды, а за ним клокотала, выла неопознанная стихия, в которую комиссар всаживал пулю за пулей.

— Товарищ комиссар, вы слышите? Разведчика поймали. Дурачок деревенский, помните?

Нужно было приступить к допросу. Рошке, нацепив очки, ждал, когда старший даст команду. Он уже сделал выволочку караульным. Ладно дурак попался, а если бы к лагерю подкрался враг? Дозорные виновато супили носы: зевнешь ненароком, а деревья тут же сделают осторожный шагжок к кострам. К ним пяtilись и солдаты. Никому не хотелось вглядываться в лес. Вдруг что увидишь?

— Имя, фамилия? — спросил Мезенцев.

— Аг! Аг, аг.

Гена всего-то хотел стащить кусок брезента, который бы пошел на полезное дело, который бы обязательно всех спас, только дурачок потянул добычу неаккуратно, уронил эмалированную кружку, отчего упал котелок, тот перевернул винтовочную пирамидку, и переполох поднял весь лагерь. Люди озверели не под стать украденному. За присвоение хлама дурака обычно слегка журили, в худшем случае отвешивали пинка, но сейчас Гену по-настоящему избил, причем куда сильнее, чем тогда Гришка в Паревке.

— Аг?

Рошке внимательно обошел дурачка и подал совет:

— Товарищ Мезенцев, согласно приказу сто семьдесят один, любой человек, кто не называет свое имя, должен быть расстрелян без суда и следствия.

— Аг! — согласился Гена.

— А как он может назваться, если говорить не умеет?

— Насчет немых в приказе ничего нет...

— Так ведь он юрод, не знает своего ума. Или не вы говорили, что советская власть безумных не карает? — Мезенцев потер шрам над переносицей. — Вы же этот... как его... Рошке?

— В смысле? — не понял Вальтер и задал четный вопрос: — Олег Романович, товарищ... с вами все хорошо?

— Со мной все удовлетворительно, — ответил Мезенцев. — Но ведь вы... именно вы, Рошке, советовали отправить дурака в желтый дом, чтобы его там лечили электричеством и душем Шарко. Что за бред... Душ Шарко... Скажите, Рошке, вы прямо-таки верите в этот ваш душ Шарко? Он что, по-вашему, существует? Полил контрастной струей Россию — и она кашлять перестала? Лучше уж ее обсикать, как собака — куст. Я, собственно, к тому, что раньше вы хотели дурака наукой полечить, а теперь желаете его вывести в расход.

— Гхм... Я вас не понимаю, товарищ. Мы сейчас находимся не в тех обстоятельствах...

— Так что же, убивать будем? — раздался солдатский голос. — Не по-людски — блаженного стрелять.

— Отставить! — взвинулся Рошке. — Во-первых, крестьяшек вам не жаль было расстреливать, а тут, видите ли, бездушного крестьяшку пожалели! Во-вторых, дурак может притворяться, изображать из себя полоумного, а сам быть связным, который донесет о нашей численности и расположении бандитам. В-третьих, за обсуждение или неисполнение приказов к вам может быть применена высшая мера социальной защиты. В-четвертых, — Рошке на мгновение растерялся, однако сумел ради четности решить задачу, — отставить разговорчики!

От клетота Вальтера у Мезенцева вспыхнула голова. Над бровью накалился белый шрам. Недовольно зашелестели красноармейцы. Не раз бывало, что парни, взятые от сохи, кончали командиров и утикали к родным хатам. Еще и дурачок заагукал, отчего комиссар простонал новый приказ:

— Дайте ему тюрю!

— Тюрю? — недоуменно спросил Рошке.

— Ага! Тюрю! Ну-ка, строй, агакнем! Что заткнулись, сукины дети?! Ну-ка, вместе! Аг! Агу! Агагашеньки! Эй, дебилушка, подпевай! Пойдешь в наш отряд трубачом. Выдам тебе медный крендель, будешь нам тревогу и побудку играть. А? Хочешь? Аг? То-то же! Что? Не слышу? А ну стоять! Замолкните! Прошу, чтобы вы замолчали. Тре-бу-ю! Все, оба! Лес, замолчи! И вы, люди! И ты, дурак. Замолкните! На замок! Тихо!

Мезенцев всадил в себя несколько успокаивающих пилюль. Если красноармейцы с тревогой смотрели на комиссара, отступив от него на спасительный шаг, то Рошке наблюдал истерику с подчеркнутым пренебрежением. Комиссар успокаивался, понемногу превращаясь в обыкновенного Олега Романовича. Он тяжело дышал, проталкивая диафрагмой пилюли. Лекарство падало в низ живота, где жила память о Ганне.

— Простите, товарищи. Знаете, живешь себе, а потом что-то находит. Солнце с неба катится. Ромашки маками цветут. Носишься, душой горишь, хочешь не то что города перестроить, но даже леса выпрямить, чтобы правда земли наверху жила, а потом раз — и толчок в плечо. И ведь даже не пуля. Просто товарищи разбудили.

Рошке сжал рот в минус:

— Товарищ Мезенцев, если вы по причинам физического здоровья больше не можете командовать отрядом, то я бы мог, как второй член революционной тройки, принять руководство на себя. Позвольте вас на пару слов.

Вальтер учтиво взял комиссара за локоть. Олег Романович не сопротивлялся, удивившись только, откуда взялась чекистская сила, так легко сдвинувшая его с места. Понял Мезенцев, что чувствует приговоренный к расстрелу, когда кожаный человек отправляет его на тот свет. Нельзя этой силе воспротивиться. Нельзя даже закричать. Можно только повиноваться и отойти к дырявой стенке — авось палач смилостивится.

— Мы с вами знакомы не так давно, с Тамбова, — начал Рошке, — однако вы успели проявить себя талантливым командиром, особенно после ранения Верикайте. Я понимаю, что вы армейский комиссар, а я служащий губернской чрезвычайки и проходим мы по разным ведомствам, но я всегда готов подставить плечо в трудную минуту.

— В трудную?

— Так точно. Лесу не видно конца, хотя проводники утверждают, что его можно пройти насквозь за двенадцать часов. К тому же пока что нет никаких следов бандитов. Ни Тырышки, ни Антонова. Вы ведь помните про Антонова? Помните Тырышку? Мы здесь — за ними. Только от них ничего не осталось. Как будто растворились. Крестьяшки шепчутся, что и мы растворимся. Темнота...

— Вам не кажется, что здесь что-то шумит? — с удовольствием спросил Мезенцев. — Только прикорнул, а вокруг поднимается такой, знаете, гул, что ли... Парит мякотка. Парит. Как будто воздух выходит... Из земли, из дупел? Или из меня? Я вижу, что вы понимаете. Правда, Вальтер?

— Гм... Не сознаю, о чем вы. Разве лес не должен шуметь? Здесь мы, живность всякая, бандиты поблизости. Ноги траву мнут. А запутали, потому что нашли ненадежных проводников. Я требовал, чтобы их семьи взяли в заложники, но позже вы отменили свой же приказ! От безнаказанности крестьяшки завели нас в чащу.

Так был уверен немец в себе, так проповедовал коммунизм, так был посреди леса чист и затаен в сверкающий черный камзол, что Мезен-

цев тяжело вздохнул. Думает ли Рошке о чем-нибудь кроме войны и политики? Смотрит ли, когда поверзал, в дырку? Снятся ли ему сны? Вспоминает ли чекист прошлое, как вот он, большой северный человек, вспоминает свою Ганну? Есть ли у него вообще шрамы? Или только на указательном пальце? Может, и нужно идти в революцию бесстрастным арифметическим существом, где вместо сердца — счеты? Иначе замешкаешь, засопливишь, споткнешься о ближайшего дурака, а за тобой в пропасть сорвется обескровленный рабочий класс, который на своих жилах вытягивал Ленин. Нет, Рошке определено прав. Надо быть строже. Собранней надо быть. Мыслить в четыре слова. Однако, помилуйте, думает ли чекист о чем-нибудь кроме своего ремесла? Даже комиссар вспоминал море и то, как однажды дотащил до обрыва сломанное деревянное колесо. Размахнулся и что есть сил швырнул к горизонту. Без всякой цели. Просто на брызги хотелось посмотреть. Колесо бултыхнуло, да не всплыло, хотя маленький Мезенцев долго ждал — не закрутят ли волны деревянные спицы? Утонуло колесо без всякого толка. Лишь к бережку побежала еще одна волна. А что же Рошке? Какие секреты хранит его юность?

— Так что же, Олег Романович, я принимаю?..

— Благодарю вас, товарищ Рошке, но я себя хорошо чувствую. Немного голова болит — эхо старого ранения. — Мезенцев ткнул в белую полосу над густой бровью. — С перепугу всегда побаливает. Знаете, ведь этот шрам оставил ваш коллега.

— Не понял. Вы намекаете, что...

— Простите. Не хотел обидеть. Меня ведь тоже расстреливали. Колчаковцы. Прямо в лоб засадили из револьвера. А кость, вы представляете, выдержала. Только с тех пор головой мучаюсь. Иногда думаю, что зря смерть обманул. Она уже могилу приготовила, а я из нее вылез. Гольй, точно младенец. Меня земляца обратно родила. Вот и приходится на душ Шарко обижаться. Я вроде как смерть обыграл, был убит, похоронен и воскрес взрослым человеком, а мне головные боли струями воды вылечить предлагают. Да разве ж затем я целую ночь в земляном мешке гнил?! Меня уже переваривать начало. А они: делайте регулярную гимнастику — и головные боли отступят. Сволочи. Их бы туда, за Волгу. Пусть сначала в земле руками помашут, а потом людей лечат.

Вальтер облизал сопревшие губы:

— Так вы уверены, товарищ... что находитесь в здравом рассудке?

— Уверен.

— Тогда мы теряем время. Лазутчика необходимо ликвидировать и возобновить преследование.

— Ликвидировать?

— А что еще делать с крестьяшкой?

Будь Мезенцев почувствительнее, то запретил бы чекисту использовать слово «крестьяшки». Больно оно выходило обидным, да еще с душком классовой ненависти, какую позволительно питать лишь к буржуазии и офицерству. О чем думал Рошке, когда говорил про крестьяшек?

Если бы кто заглянул в ум Вальтера Рошке, то не нашел бы там потребности в душевном самоопределении: ему не снились сны, не верился Бог, не ждала женщина или семья. Последняя все-таки существовала, в мирный год сеяла лен и подсолнечные, но в смутное время была вырезана лихим атаманом, вообразившим себя Стенькой Разиным. О нем через век обязательно напишут романтическую повесть, а вот о его жертвах, легких распоротыми животами на протестантское жито, никто не вспомнит. Не о чем было вспоминать и Рошке. Не было у него прошлого. Крутились в германской голове циркуляры, номера приказов, решались уравнения и выдирались с квадратным корнем целые сословия. Если бы взглянул русский человек на ум Рошке, увидел бы исписанную мелом грифельную доску и неминуемо обиделся бы, подумав, что его обманывают: никаких женщин, лежащих поперек седла, ни мести за гимназические унижения. Ничего. Ни ненависти, ни любви.

— Порой я думаю, Рошке, что лучше всего русскую душу да и вообще русского человека выражает всего одно слово.

— Какое? — спросил чекист.

— Поделом.

— Поделом?

— «Поделом» напоминает, что на любое действие рано или поздно последует ответ. Не сейчас, так потом. «Поделом» осилит любую власть и любое дело. Поделом капиталу, поделом царю, поделом белогвардейцам и Красной армии, кадетам, большевикам и эсерам, соснам поделом, земле и небу, мне, вам, ему, каждому местоимению поделом, крестьянам, рабочим и агитаторам... всем, всем поделом! И вот когда понимаешь, что на самом деле всем поделом, в том числе и тебе, жизнь приобретает смысл. Мы всегда получаем то, что заслужили. Кто десять лет назад мог подумать, что царь вот-вот слетит с трона? Никто. Кто пару лет назад верил, что мы удержим народ у власти? Никто. Вот и вы мои слова считаете бредом, а я знаю, что даже колесо, зачем-то брошенное в воду, так этого не оставит. Поднимется от него волна, понесется к берегу и смоев всех нас в пучину, как раньше смыла Керенского. И знаете, что тогда нужно будет ответить? Сказать потребуется всего одно слово. Поделом.

Рошке ничего не ответил. Он взял Мезенцева на заметку, положив сумасшествие комиссара рядом с тезисом, что Кант не прав. Метафизика рождается от пробитого черепа, когда мысли могут выскользнуть в мир через новую дырочку. Голова чекиста была цела, поэтому он знал, что царь — это царь, а большевик — это большевик, и причина понятий крылась в их собственной природе, а не в выдуманном русском «поделом».

— Я вас понял, товарищ Мезенцев.

Командиры вернулись к солдатам. Те, хоть сквозь ветви и проступил рассвет, держались поближе друг к другу. Сосны росли искаженно, почти изуродованно — не вверх, а в разные стороны, как кусты шиповника.словно темные люди каракатицей ползут. Вот-вот запрыгнут сзади и перегрызут глотку.

Пойманный дурачок не агакал, а без интереса глядел в себя. Мезенцев достал из седельной сумки расстрельные накладные. Те, что еще в Паревке подписал Евгений Верикайте.

— А как имя запишем?

— Ставьте прочерк, — посоветовал Рошке, — то есть длинный минус.

Порыв ветра вдруг вырвал мандаты из рук Мезенцева. Бумаги снесло в глухие кусты. Казенная бумага зашуршала в можжевеловой темноте. Будто кусты мяли и рвали отпечатанные листки.

— Аг! — испугался дурачок.

— Кто... пойдет?

На глухой вопрос Мезенцева никто не ответил.

— Добровольцы? Нет? Купины, достаньте бланки.

— Товарищ комиссар, рядовые Купины еще вчера захвачены в плен. Мезенцева, вопреки лекарству, хлестнула головная боль. Точно, как же он мог забыть!

Комиссар снова спросил, позабыв, что только что задавал этот вопрос:

— Добровольцы есть?

— Что за вздор, в самом деле! — разгневались очки Рошке. — Это же просто кусты. До них... раз... два... крестьяшки верят во всякую чепуху... три метра. Нет, четыре метра!

Мезенцев различил заросли шиповника, черемухи, орешника. Черт знает что, это ведь действительно только кусты, где теперь с шумом копался Рошке. Комиссару было страшно самому лезть в природу, точно его схватили бы за ноги и утащили в глубину леса, которому и так нет никакого конца. Затянули бы Мезенцева под землю, опутали белесыми корешками — безнаказанно бы упивалась земля жизненной силой человека. Как тогда. За Волгой. Его перекосило. Надбровный шрам кольнула боль. А Рошке молодец, настоящий коммунист, ничего не испугался. Ему легко. Он не верит в самостоятельность неодушевленного мира. Интересно, а если бы верил, полез бы? Не струсил бы?

Чекист вернулся через минуту. Кожаную куртку поцарапали шипы. Дужку очков попыталась подцепить настырная веточка, и немец обломал ее. Еще Рошке брезгливо отряхивался от прилипших к штанам собачек.

— Или я ослеп, или ветер был сильный, только бумаги нет. Потеряна. Вам, товарищ Мезенцев, следовало крепче удерживать мандаты.

— А ну прочесать кусты!.. — приказал было Мезенцев, но Рошке почти зло прервал:

— Бросьте, комиссар, я же говорю, ничего там нет. Мы так еще двадцать минут потеряем. Будем действовать по старинке. Ведь вам, товарищ Мезенцев, не привыкать. Помните церковь в Паревке?

Дурачок вскрикнул и забился всем телом. Пришлось схватить трясунчика за обмызганные рукава, отчего и красноармейцы задрожали от телесного холода. Гену била крупная, лошадиная дрожь, передававшаяся побелевшим конвоирам. Бойцы заклацали зубами: теперь им, точно, не

хотелось расстреливать юридивого. Он единственный понимал, что здесь происходило. Того и гляди, пали бы солдаты ниц, прося у нищего духом прощения.

— Святы Боже, — зашептались солдаты и так, чтобы не видел Рошке, закрестились. — Блаженный правду знает. Нельзя его в расход.

— Что с ним? — спросил Мезенцев.

— Эпилептический приступ, — отрубил чекист, — на вашем языке — падающая. Медицина здесь пока что бессильна. Отпустите, все равно не удержите. По правилам между зубов палку надо вставить, чтобы пациент язык не откусил. Но что дурак без языка умрет, что с языком — нет существенной разницы. Все равно говорить не умеет. Отойдите же! Сейчас пена пойдет.

Однако пена не шла. Происходящее не походило на припадок. Дурачок увидел то, чего видеть не дано, и потому забоялся. Юродивого рвало словами, которые он не умел говорить. Гена сжимался и разжимался, складывал кости и гнул их в дугу. Дурака корчило, отчего по лицу показались выпуклые Генины глаза. Мезенцев услышал, как сзади, пока еще далеко-далеко, забормотала неизвестность. Хотелось сказать — что-то забормотало, но заурчала вещь вполне определяемая, то, отчего человека бросает в первобытный ужас. Отряд повернулся на звук. Несколько человек вцепились в винтовки, хотя Гена знал, что они не помогут. Дурак заагукал всем телом. Оно оборачивалось в яремную «А» и ломалось в немую «Г».

Шум превратился в гул, а дурачок до изнеможения выкрикивал свое двухбуквенное заклинание. Мезенцев вдруг понял, что хотел сказать Гена. Комиссар попытался сложить звуки дурака и тяжелый гул, от которого пьяно шатались сосны. Комбинация долго не подбиралась, слова не налезали друг на друга, пока Мезенцев не нащупал верное сочетание. В голове щелкнуло, вспышка затмила головную боль, и Мезенцев осознал если не все, то очень многое. Понял комиссар, что хотел сказать дурачок, понял, что ждет и его, и Рошке, и добровольцев-красноармейцев, если выживут и изловят бандитов. Милость его будет недолгой: не в планах хищника быть травоядным. Скоро закончатся попы и дворянство. Вот тогда вспомнят за грановитыми зубцами о существовании Мезенцевых и Верикайте, которые долго топили буржуазию в ведре, отчего опасно наслушались контрреволюционных криков. Этого не избежать. Это естественный ход истории, который вдруг прозрел паревский юридивый. Только это будет после, чуть погодя, а пока главное — чтобы не накрыл отряд ноющих, чуть злой гул, от которого нет никакого спасения.

— Аг...

Ближе гул, ближе. Очень близко подобрался гул!

— Аг-аг! Аг!

Гул уже раздвигал сосны и скользил меж хвощей. Гул уже размазывал человеческие портянки и забирался под теплую гимнастерку. Гул просеялся и в небе, там даже больше, чем на земле, точно приближалось к застывшим людям библейское пророчество. Мезенцеву хотелось

задать дурачку как можно больше вопросов, разузнать у него и про лес, и про таинственный гул, и про судьбу свою, про Антонова, Ганну, но комиссар чуть-чуть не успел. Рошке подошел к трясущемуся юродивому и восклицательно встал сзади. Вытащил вальтер, направил его в косматый затылок — получилось снизу вверх, как гипотенуза. Рошке без долгих сомнений поделил жизнь Гены надвое. Пуля вышла аккуратно через глазницу. Череп не брызнул, не окатил мозговой кровью: Вальтер долго набивал руку по подвалам. Кривоватого Гену навсегда бросило вперед. Так и не удалось рассказать дураку про главный свой «Аг».

— Без мандата? — угрюмо спросил Мезенцев.

— Согласно приказу номер сто семьдесят один. Мягкость будем проявлять после войны, товарищ комиссар. И прошу вас не обращать внимания на этот зуд. Вы пугаете лошадей.

А гул достиг пика, он теперь доносился не из леса, а сверху, падая прямо с неба. Сквозь кроны деревьев показался аэроплан, который медленно плыл вперед. Еще с утра Верикайте послал самолет на поиски пропавшего отряда. Красноармейцы без команды заорали, пытаясь привлечь внимание деревянной птицы. Несколько буйных голов, побросав винтовки, полезли на сосны, то ли надеясь коснуться аэроплана рукой, то ли веря, что с верхушки их обязательно заметит летчик.

— Мы здесь! Забирай! Э-ге-гей!

Еще несколько солдат бросились к деревьям. Сосны закачались, облепленные человеческими муравьями. Солдатики карабкались вверх, подсаживая друг друга, точно ждало их наверху не обыкновенное солнце с обыкновенным аэропланом, а апостол Петр возле райских врат. А гул, переполошивший людей, плыл уже над остальным лесом, быть может, поновому пугая затаившихся там бандитов.

— Отставить! Кто дал команду? Построиться! — гавкнул Рошке.

Солдаты неохотно слезали с сосен. С жутким треском обламывались сучья. Механический гул стих, как будто его и не было. Рошке яростно ругал подчиненных. Мезенцев осторожно присел рядом с трупом Гены и с тоской перевернул юродивого на спину. Это не помогло. Гена на спине был так же мертв, как и наоборот. Да только знал комиссар, что не аэроплан напугал дурачка. И он, фронтовик, участник Гражданской, грозный Олег Романович Мезенцев, носящий под сердцем женщину-иглу, тоже слышал отнюдь не мотор самолета.

XXI.

Когда Аркадий Петрович Губченко вернулся из царской тюрьмы, то долго просидел за столом. Стол был хороший — большой и с зеленым сукном. В такой стол не стыдно было писать. Аркадий Петрович писал в юные годы, писал будучи студентом, и даже то, что при хождении в народ набросал, Губченко принес из деревни и заботливо положил в ящик стола. С молодых ногтей Аркадий Петрович полагал, что русский народ обладает некими идеальными категориями, которые сокрыты в крестьянской

общине, где ему мерещилась то святость, то народный социализм. Стоит эти категории найти и изъять, ввести их в научный оборот, а крестьянам дать гигиену и Герцена — как обновится вся Россия: интеллигенция и народ сольются воедино, рождая исток справедливой жизни. Ведь городу было чему поучиться у деревни: там обитало неизведанное русское племя, народ иконы и топора. Ему бы помочь, избавить от предрассудков и царя, тогда бы община перешагнула через капитализм в светлый праздник социализма.

Увы, крестьянин не любил пришлых смутьянов — мог сдать агитатора или по глазам вожжами стегнуть. Социал-демократическая молодежь все похохатывала над случаем из жизни Степняка-Кравчинского, когда он бежал за испугавшимся крестьянином, который удирал от рассказов про царя-Антихриста. Губченко все равно не отчаивался. Сколько раз Аркадию Петровичу казалось, что вот-вот, уже за этим поворотом или на этих дровнях, великая тайна раскроется, русский народ явит свой лик и он, немолодой уже интеллигент, наконец-то поймет все и навсегда. Однако вышло так, что Аркадий Петрович понял все слишком поздно.

Как сильно изменилась тюрьма по сравнению с блаженным XIX веком! До 1905-го сидеть было сносно, но революция, закружив массы, подняла с илистого российского дна людей, готовых за горсточку чая выслужиться перед начальством. Стражники смекнули, что с политическими, которых либеральный суд немного пожурит и отпустит, можно расквитаться по совести. Достаточно посулить очередному халдею курево и кусочек сахара.

Старый народник вспоминал издевательства некоего Гришки. Тот был в камере за главаря — и поначалу щерил рот, где отсутствовали передние зубы:

— Подранки царские выбили... Не бось, Гриска с революционной силой на одной стороне.

— Здесь что, бьют? — удивленно спросил Губченко.

— Бьют! Бьют! Мы тебе все расскажем и покажем.

— Что покажете? — снова удивился политический.

— Русский народ тебе покажем, лупоглазик.

Показали народнику еще одну народную сторону. Не сторону даже, а сторонку. Она рядом с темным углом расположена, на дне нужника валяется и в грязной, вонючей пятерне зажата — только-только нос вытерла, а уже за пряником тянется. Старичка не столько били физически, сколько ломали его веру в особую народную миссию. Не то чтобы об этом думал Гришка или еще какой мучитель, но уголовники так сильно и так беспричинно ненавидели интеллигента, что Губченко должен был сразу отказаться от своих убеждений. Как, зачем они его унижают? Он же всю жизнь боролся за их освобождение! Боролся бескорыстно, всегда выступая против произвола власти! Мы же на одной стороне!

— Товарищи, опомнитесь! Ведь нас специально стравливает администрация, пытаясь посеять вражду между народом и интеллигенцией!

— О, стрекулист раскудахтался. А пасть тебе не заткнуть народным хвостиком?

— Право слово, это возмутительно! Я требую начальства. Начальство! Открывайте! Я требую, чтобы меня поселили в камеру с политическими!

— Ломовой хуже трубочиста, — сладко пели за спиной.

Интеллигентское любопытство пересиливало. Губченко отворачивался от железной двери и спрашивал:

— А кто такой ломовой?

— Давай мы лучше про трубочиста поясним, — подмигивал Гришка.

— Позвольте я запишу.

От хохота камера валилась на нары.

...Теперь Аркадий Петрович не знал, что сказать Ганне. Дочка оперлась на стол тоненькими ручками, точно на зеленом сукне стояло два высоких бокала. В них играло глазное вино. Зеленое и коричневое. Отец виделся Ганне немножечко чудным: он цеплялся за прошлый век, словно революции могли помочь бесконечные сюсюканья с народом. Старик был старомоден, до сих пор верил Фурье и Оуэну и мыслил так, как будто хождение в народ не окончилось полным провалом. И при чем тут тюрьма? «Тюрьма» и «отец» казались женщине нелепым сочетанием, будто народника бросили в застенки из-за любви к гербарии. Возможно, думала Ганна, папе немножко посидеть даже полезно — авось пересмотрит устаревшие взгляды на жизнь. Только почему он молчит? Это же не ка-торга, не Петропавловка и не «стольпинский галстук»... Что, не смог выдержать месячишко на царских щах? Эх, папа, папа, седая твоя голова. Признайся уже, что внуков ты хочешь, а не революции.

— Ганна, доченька, послушай, — наконец начал Губченко. — Я тебе кое-что скажу. Я знаю, что ты общаешься с этим молодым социал-демократом... Мезенцевым. И что вы... вроде и в разных партиях, но одинаково считаете наши народнические взгляды устаревшими.

— Да, папа. Тебя это тревожит?

— Нет, отнюдь.

— Тогда что?

Голова народника задрожала.

— Есть люди, которые всю жизнь говорят глупости, чудят, обманывают, приходят в лавку и незаметно кладут в карман яблоко... И вот я не могу принять, что все они перед смертью обязательно покаются, будут прощены и облагорожены. Поумнеют с годами, со смешком вспомнят прегрешения юности и напишут мемуары, где с высоты лет заговорят о жизни. Им будут слушать и внимать. А как же я? Я ведь почти ничего дурного не совершал, даже листья старался в детстве не топтать: слишком больно они хрустят. И я дожил до седин, и я был не глупее других, только их простят, пусть за ними и большие грехи, а на меня внимания не хватит, похлопают снисходительно по плечу, мол, жил праведно, да и хорошо. Неужто честнее тот, кто кается, а не тот, кто не совершает проступков? Я понимаю, что размышляю против Библии и Христа, но разве я не

прав? Получается, чтобы оказаться навсегда правым, нужно насвершать ошибок? Глупость свою выпятить, заплакать и прощения попросить? А может, просто людям нравится, когда все кругом грешны, так ведь и себя среди них спрятать можно? И все же... неужто честнее тот, кто кается, а не тот, кто безгрешен? Нет... пусть против Библии, однако я твердо знаю, что если брать в целом, по сути, то в жизни своей я совсем не ошибся.

— Что ты имеешь в виду, папа?

Народник поднялся из-за стола и через силу сказал:

— Что бы ни случилось — люби русский народ. Это хороший народ, добрый. Просто он сам этого еще не понимает.

...Пробираясь в тамбовский край, Ганна вспоминала тот разговор. Из Самары она выскользнула благодаря Мезенцеву, который долго не хотел отпускать любимую, умолял остаться, а потом, сделав подложные документы, отпустил женщину с миром. Он даже предлагал ей свою руку. Он был готов вместе с Ганной идти к эсерам, анархистам, в мятеж и гарь, да хоть к слюнявым кадетам и вообще к кому попало — не то чтобы против большевиков, а лишь бы с ней, женщиной с разными глазами.

Ганна тогда провела лунными пальцами по шершавому лицу Мезенцева и коснулась ноготком шрама над бровью:

— Со мной хочешь? Вместе хочешь? Какой же ты тогда комиссар? Дурачок ты, Олежа, а не комиссар.

Мезенцев не нашелся что ответить: новое стихотворение он еще не выучил, а сопроводительные документы уже были готовы. Осталось зажмурить синие глаза, чтобы не потекло вниз студеное море, а когда Мезенцев разомкнул веки, тоненькой эсерки, похожей на иглу, уже нигде не было. Ганна без особых проблем добралась до Тамбовщины. Должна была стать Ганна Аркадьевна сельской учительницей, выписанной из губернского города, дабы детей грамотой вооружить. Грамота посильнее винтаря будет: ей еще миллионы предстояло убить.

Соскочив с подводы, Ганна зашагала по проселку. Возница не без наказа напомнил, что Кирсановский уезд лихорадит, была бы ты, дурка, поосторожней. Но тонкую грудь уже тянула летняя жара, и шмель пролетел над ухом — толстый и довольный, как наевшийся сметаны кот, и то, что на Тамбовщине был голод и при этом шмель был как кот, наполнило сердце Ганны обыкновенной радостью.

Вспомнилось, как она впервые сидела «на карантине». Карантином называлась выдержка перед тем, как эсера пускали в дело. А дело Ганне Аркадьевне Губченко доверили простое — убить генерал-губернатора. Потому простое, что в межреволюционные времена щелкали эсеры чиновников как орешки. Порой до трех в день.

Ганна сидела на незаметной даче, думала и читала среди яблоневого сада. Между страниц все чаще вспоминался молодой человек по имени Олег. Ганна познакомилась с ним недавно, когда носила отцу передачку. Олег был высок, строен. Он возвышался вспененной волной, которой только отдай приказ легким движением розовых губ — как она об-

рушится сверху, сомнет и закружит... На этих мыслях книжка сладостно схлопывалась, и Ганна прижималась спиной к теплому яблоневому стволу. Было немножко жаль, что приходится умирать перед первым поцелуем. Девушке еще хотелось быть любимой, танцевать и сочинять стихи, но устав революции был неумолим: требовалось прийти на прием к генерал-губернатору, присесть в книксене и сделать золотые эполеты чуть красивыми.

На одном из просветительских вечеров к Губченко вновь подошел высокий молодой человек. Он представился подпольной норманнской кличкой и скромно застенялся, как умеют стесняться люди красивые и уверенные. Вскоре Ганна уже умоляла Олега перейти к эсерам, бросить скучных и малоизвестных социал-демократов, которые все в закорючках, книжках, классах и бороде Маркса, а он такой сильный, такой красивый, такой большой...

В общем, это случилось прямо на подпольной эсеровской дачке, в бывшем овине, где еще оставалось ломкое сено. Когда Ганна пролила первую кровь, то, обложившись символистскими журналами, решила, что нарушила священную клятву. Кровоточить должна была не она, а разодранный на куски генерал. Раньше девушка представляла, что если она выживет и будет препровождена в жандармерию, то «это» с ней сделает взбешенный адъютант, не уберегший губернатора. Тогда она, разумеется, убьет себя, выпрыгнув из окна, и ее обесчещенный труп подхватят благородные толпы, которые сметут самодержавие.

Но мечта пошла прахом из-за мужчины с глазами из дальнего моря и скрипучими, как мачта, пальцами. Подумаешь, бомба, запрошенная динамитом с еврейским душком! Кому она нужна, когда есть любовь? Любовь вспыхивает как звезда, а бомба — чуть ярче лампочки. Когда за Ганной явился чернявый эсер, вручивший пару фунтов сладостей в свинцовой обложке, девушка от всего отказалась.

Чернявенький долго уговаривал, давил на жалость, взывал к революционному долгу, молил и ругался, а потом сплюнул в сторону и сказал: — Влюбляться в революцию надо, а не в ее отдельных персон.

Это были чудесные дни. Однако Мезенцев оказался решительнее Ганны. Он сам ушел в революцию, да только с противоположного края. Не в агитацию, а в боевую дружину, которой из Швейцарии предписывалось лить солдатам кипятком на головы и убивать городских. Между Мезенцевым и Губченко состоялся разговор, где повзрослевший мальчик был строг чуточку больше, чем это могло вынести женское сердце. Олег говорил про революционный долг точно так же, как это недавно делал чернявый эсер. От белой соли, крошившейся из глаз Мезенцева, нестерпимо горела душа. Олег доказывал, что любовь происходит от химии и история запомнит не их мелкобуржуазный брак, а союз крестьян и рабочих. Тогда Ганна и поменялась: зеленый глаз потемнел, лопнул, затянув зрачок коричневой тinouй. Другой глаз окаменел, будто в глазницу вставили малахитовое зеркальце. Эсерка поклялась больше никогда не любить Мезенцева, а тот лишь укрепился в классовой гордыне. И вот уже вся

Россия оказалась расколота, и, если ходить по ней разутый, как шла по тамбовской земле Ганна, можно было пораниться.

...В Кирсановском уезде в ту пору шалил Тырышка. Еще когда не вспыхнула антоновщина, еще не отменили продрозверстку, но лишним людям уже не терпелось посвистеть в травинку. Собирались злодеи на вершинах древних мар, и каждое странное слово, тревожащее городское ухо, привлекало все больше злыдоты и лиходеев. Одна из самых жестоких банд сбилась вокруг Тырышки, жадно перенюхавшего весь уезд. Всякий темный человек мечтал попасть к удачливому атаману. Чужая добыча за десять верст. Пусть ростом не вышел и умом не блистал, да и глаза одного нет — тканевый вместо того зрачок, — зато атаман за один вдох всю Русь в легкие вбирал. Он так и принимал к себе в банду — подходил к человеку и нюхал его, запоминая не открытые еще учеными феромоны. Про каждого знал Тырышка, чего он хочет и чего боится. А если кто к ночи бесспорно покидал банду, то наутро его находили с перегрызенным горлом: никто не уходил от четырех лап Тырышки. Чем только не занимались лесные шиши: воевали с большевиками, зелеными, огрызались на белые вылазки, грабили фуражиров и крестьян. Какая разница — кого? Для русского человека главное — чего.

Вот сейчас валила банда у железнодорожных путей телеграфные столбы:

— Это поставили, чтобы нас, людей, было на чем вешать!

Не зря боялись партизаны проводной магии. Пока неслись они мимо сел и полустанков, пугая ночным гиканьем сторожевых псов, бдительный телеграфист выстукивал послание в окружной центр: банды направились к Рассказову; банды бегут в сторону Саратовской губернии; банды следуют к Паревке... Упивались всадники силой раздольного ветра и не знали, что впереди лопата уже долбит грунт, чтобы вложить в него горячую матку-пулемет. И комкал вдруг дикую ночную скачку механический кашель.

Столбы падали один за другим. Провода, штриховавшие высь, лопались. Прямо не небо, а тетрадь по грамматике. Нехорошо. От грамотности все беды. Грамотный народ не спешит погибать. Лучше елозить по струнам заскорузлым пальцем, колупать колки и чтобы шло по всей тамбовской земле народное верчение. Ух как тогда поплясать можно! Зато пают лаптевыми ножищами, заскребут грудь отросшими ногтями! Перекинутся через пень, бросятся волками по чужому следу!

— Ну, орда! — раздувал Тырышка ноздри. — Чую запах. Кто со мной рвать новую плоть?!

Еще с утра отряд взял с боем большой совхоз. Кого в колодце утопили, кого отдали на пропитание особо оголодавшим единоличникам. Расправившись с двуногой живностью, окружили люди большой амбар. Не иначе как экспроприированные богатства в нем хранятся. Кончили повстанцы верещащего упродкомовца, отобрали ключи, отперли амбарные двери, а там зерна — город можно накормить.

— Ну, что с зернишком делать? — спросил Тырышка.

— Поверзать в него с горкой!

— Самогона наварить!

— Дайте зерно мне, я на него всем ношеную бабу куплю.

Светило жуткое солнце. Оно истекало зноем, сворачиваясь в жгучую точку, падающую за ворот. Тырышка важно ходил вокруг амбара, нюхал крашенные стенки, скреб по доскам длинными пальцами. Хороший был амбар, большой. Внутри можно новую республику организовать. Только вот соответствующих регалий не находилось. Доброхоты принесли из писарской деревянные счеты и важные квитанции. Ими тут же подтерли причинные места, истосковавшиеся по книжному знанию. Счеты, как лесную державу, с благоговением передали Тырышке.

Почувствовав в руке наказ, Тырышка высказался:

— Ну, братва, скажу вам спасибо. Я так полагаю, что человека нужно освобождать. Он отовсюду угнетаем. Даже солнце ему голову напекает, потому ее надобно снять с плеч. А имущество и того хуже. Ну разве пришли бы сюда большевики, коли жил бы народ по пням и дуплам? А то и беда, что накопил народец деньжат зерновых. Ну, вот мы ему беспощинно и помогаем: если за паузой куры вкочнут, как сердце свое услышать? Ну, это я сам придумал... сам. Так что нам, братцы, особой разницы нет: что эсеры, что господа ахвицеры, что жупелы из деревеньки — это все враги лихого человека. Они живут как порченное яйцо. Ну, тухленько то есть живут. Потому вы не думайте, что мы производим обыкновенный грабеж. Мы возвращаем человеку счастье беззаботной жизни. Ведь о чем думать, когда за душой ничего не осталось? А? Не о чем ведь! Ха-ха!.. Ну, братва, поджигай здесь усе.

Банда натаскала в амбар совхозных ценностей. Доверху набили ими кладовую. Двери никак не хотели закрываться. Пришлось помочь чурочкой, на которой председателю голову отрубили. Бандиты, схвативши за руки лесную песню, повели вокруг горящего склада хоровод. От гортанных распевов шире гудело пламя. Среди бела дня опьяненно плясал народ, бросая в огонь всякую ценность, будто и не требовалось разбойникам экспропрированное добро, а только его образ — смотреть, как в огне исчезали подушки с кроватями да перековывалось зерно. На этом свете сыт не будешь! Пали, рванина, то, что сшито! Вот простыни и таяли в пламени как зазевавшиеся привидения. Зерно спекалось в черный каравай. На том свете его хватило бы всем недоевшим покойникам. Хорошо было народу. От чада слезились глаза, и бандиты плакали...

А Ганна все шла и думала о давнем разговоре с отцом. Что он имел в виду? Почему не нужно разочаровываться в народе? Разве не об этом писали Лавров и Бакунин? Право, подкосила папеньку тюрьма. Если уж царский режим он не перенес, то что с ним сделает советская каталажка? Впрочем, Мезенцев успел шепнуть, что вытащить отца из застенков уже нельзя. Спасалась бы, пока можно, сама. Вот Ганна и шла по проселку, чтобы спрятаться в Тамбовской губернии.

Сначала эсерка увидела в небе дым, а потом грязных лесных мужиков. Они потихоньку сжимали вокруг нее заинтересованное кольцо. «Слава богу, — подумала Ганна, — это не большевики».

XXII.

Костя Хлытин проснулся оттого, что на него глядели.

Глядели как на сладкий мосол с нежным костным мозгом. Глядели Жеводанов и Елисей Сильч. Не смотрели, не изучали, не вперились и не наблюдали, а именно глядели. Гляд — ели. С ударением на второй, голодный слог. Не мигая и не отвлекаясь, мужчины глядели, как под соsenкой лежал мальчик по фамилии Хлытин. Тот не открывал глаза, желая послушать, что о нем думают товарищи. Страшновато было представлять в темноте чужие облизывания. Точно сидели Жеводанов и Елисей Сильч не поодаль, а у лесного изголовья — вот-вот толстое, тяжелое колено опустится на грудь, и уже не пошевельнуться, не закричать — тогда-то они наглядятся вволю.

Желудочной судорогой свело Костю, и он откинул грязную шинельку. За ночь Жеводанов с Елисеем Сильчем скособочились. Борода старообрядца ушла направо, грязная, ломкая, точно осенний березняк. Жеводанов негромко щерил железные зубы. Между металлом со свистом выходил голодный воздух.

— А где остальные? — спросил Костя.

— Ушли, — забасил Елисей Сильч, — решили самостоятельным житьем спастись. Я наставлял, а они ни в какую — уйти хотим, отпусти. Вот я и отпустил.

— Не слушай, — хохотнул Жеводанов. — Поднялись тихонечко под утро да ушли в дезертирство. Елисей Сильч так молился, так молился, что ничего не заметил.

— Не хотите говорить — ну и не надо.

По дороге в кусты Хлытин задумался. Беглецы шли уже третьи сутки, но не было конца оврагам, буеракам, валежнику и папоротниковой паутине, сливающимся в короткое слово — лес. Ночью, когда пришла Костина очередь дежурить, через полусон увидел он долгожданный просвет. Даль засветилась, будто там жгли белый костерок. Он разгорался, понемногу опалая лагерь, где всюю похрапывали спящие крестьяне. Косте очень хотелось посмотреть на таинственное мерцание. К сиянию примешался звук, словно внутри земли загудело тяжелое магнитное сердце. Когда эсер протянул к голубоватому мерцанию руку, оно накалилось до имбирного цвета, вспыхнуло и как будто выключилось.

Костя долго всматривался в темноту, пока ее не сменил голос Жеводанова:

— Иди поспи, мальчишоночка. Моя очередь сторожить.

— Виктор Игоревич, вы видели?

— Видел. Еще бы!

— И что? — неуверенно спросил Хлытин.

— Сплю и вижу: встает предо мной баба с бидонными грудями. И так изогнулась, и эдак, и за титьку просит ущипнуть. Я ее под себя подгроб, навалился, зубами ухо прикусил, чтобы никуда не сбежала, а она

и не сопротивляется. Хлюпает подо мной, пробует мою силу гущей влажной, точно я в папье-маше тычу. Гляжу, а вместо бабы — куча гнилья. И я в нем барахтаюсь. А в зубах пальчик фронтowego товарища сжимаю. Сувенир на вечную память! Вот что я видел. Как вы меня теперь выльчите? Еще одним евреем из-за черты оседлости? Что вы вообще видели? Порвать бы вас всех на тряпку и на шест нацепить! Уф... Ну так что ты видел, мальчишечка?

— Ничего, — обиженно ответил Костя.

Позавтракали черствым хлебом и ягодами. Еще вчера Жеводанов с рычанием доглодал остатки курицы; кости сочно хрустели на вставных зубах. Едой офицер ни с кем не поделился: Елисею Силычу все равно поститься надо, иначе в рай не протиснется. Виктор Игоревич вгрызался в курицу с песьей радостью, чавкал, рыгал и с треском ломал подсохшие кости, обсасывая их с сытым свистом. Измазанные жиром усы он обтер лопухом. Отряд смотрел на офицера без брезгливости. И не так в войну ели. Было лишь не по себе: как бы он своих не загрыз.

— Надо зубастого на Ленина спустить, — шептались крестьяне, — говорят, тот большие мозги имеет. Пусть Витька полакомится.

Теперь от отряда осталось три человека, хотя еще вечером он насчитывал полдюжины: землепашцы, видимо, решили возвратиться в родные хаты. Может, надеялись на правдивость объявленной амнистии: кто приходит сдаваться, тому обещана жизнь. Большевики регулярно объявляли прощенные недели, когда можно было сдать и вернуться к мирной жизни.

— Может, нужно было с ними идти? — спросил Костя. — Они ведь знают местные леса.

Товарищи не ответили. Елисей Силыч с Жеводановым топали бок о бок, почти слившись военным и религиозным гузном. Они шептались, отбирая у Хлытина кусочек солнца, которое должно было освещать Костины веснушки. Периодически Жеводанов поворачивался, мерил Хлытина оценивающим взглядом и тихонько щелкал зубами.

— Поговорим, товарищи? Разговор тоску отгоняет, — вновь подал голос эсер.

— Истина тоску отгоняет, — возразил старовер. — А где разговор, там истины нет, ибо зачем ее обсуждать?

— А истина только у старообрядцев-беспоповцев? — вспомнил Костя тех, кого упоминал Елисей Силыч.

— Именно так.

— То есть миллионы буддистов, индуистов, магометан, католиков, протестантов... попадут в ад?

— Они уже в аду, — уклончиво ответил Гервасий.

— А вам не кажется, что это некий духовный большевизм? Коммунисты ведь тоже считают, что только они построят рай на земле, а кадеты, трудовики, меньшевики, эсеры, либералы, консерваторы, умеренные социалисты — ошибаются и просто враги.

— Не бывает умеренных социалистов, — выкрикнул Жеводанов. — Это как быть умеренной сволочью!

— Вы все злитесь из-за гимназиста с портфелем? — едко заметил Костя. Он знал, что в интеллектуальном диспуте всегда победит Жеводанова.

— Когда на германском фронте на тебя бомба-«чемодан» летит — вот тогда надо злиться, а тут я, Костенька, не злюсь. Сволочи вы, вот и весь сказ.

Костя на всякий случай повел плечом и оценил тяжесть винтовки. Мелькнула шальная мысль, что его специально хотят довести и на страстях погубить. Слишком уж хитро поворачивался взад Жеводанов и слишком недобро блестели металлические зубы.

— Вы человек старого оклада, — сказал Костя. — Мне даже кажется, что вы большевикам симпатизируете, потому что у них все четко: идея, иерархия, полки старого строя. Они вам царя напоминают. И злитесь вы не оттого, что социалисты, как вы выразились, сволочи, а потому, что вы у них в опале и послужить им не можете. Поди, мечтаешь о славе Брусилова?

— Дурак ты, Костя. Умереть хочу, вот чего.

— За ентим дело не станет, — вставил Елисей Сильч. — Подходит наш последний час. А вы как были безбожниками, так и остались. Мирская жизнь вам дыхание забила — вроде рот разеваете, а дышите антихристовыми ветрами. И это в последние времена! Как небо с землей сольется, так посмеюсь с вас.

— Позвольте, — возразил Костя, — я могу назвать вам несколько апокалиптических ересей в Европе, которые тоже верили в последние времена, а те все равно не случились. И про наши могу. Я и Кельсиева читал, и Цапова.

— Что мне до них! Ты Библию читай. Там сказано, что все времена после воплощения Спасителя — последние. Мир идет от начала к концу, и точка. А Земля — гуща мира, вокруг нее вращается Солнце.

— Но позвольте, ведь есть физический эксперимент, доказывающий, что все как раз наоборот...

— Обман твоя физика! Хочешь, докажу? Там, где Бог воплотился, там и главный очаг Вселенной. Вот. А воплотился он на Земле. Заметь, отрок, не на языческом Марсе воплотился Иисус Христос, а на Земле, следовательно, она и есть середка Вселенной до скончания веков.

— У-ху-ху, — засмеялся Жеводанов, — как тебя уели, Костенька! Это тебе не социалистом быть!

— Довольно странно, — завелся Костя, — слышать обвинения в социализме от человека, который, по сути, сражается в социалистической армии. Смею напомнить, товарищ Жеводанов, что Антонов — это политический эсер, террорист, как тот мальчик, от которого вы в снег бросились. Трудовой союз крестьянства, подхвативший восстание, есть эсеровская организация. Наши товарищи шли в бой под красными флагами. А народ российский был на Учредительном собрании против царя

и большевиков, но за Советы. Признайтесь себе, товарищ Жеводанов, что русский народ выбрал не коммунистов, не кадетов, не вашу кокарду и Врангеля, а революцию.

Жеводанов на ходу растопырил руки:

— Мальчик, тебе же восемнадцать годков! Тебе меньше лет, чем битв, в которых я участвовал. Ты же бывший фельдшер, мальчик, как может фельдшер рассуждать о русских и революции? И русских нет... Русские на Дону были, в Крыму, среди казаков... А тут какие русские? Спроси нашего веруна — кто он? Ответит: я человек древнего благочестия. Я помню пехоту в окопах. В Галиции дело было. Был ли ты, мальчик, в Галиции? Думаю, не был. Зачем ты судишь о войне, не побывав в Галиции? Решил я узнать, кем себя пехотка числит перед смертью. Стал спрашивать, кто они и зачем, а солдатики мне и говорят: я смоленский, курский... Съехались в Галицию подосиновичи, богуславские да другие чудные племена. Что же это за кочевники? Родственники древних вятичей? А может, кривичей? Бьюсь об заклад, не читал ты о них, мальчишечка, в своих книжках. А ведь это люди что твои паревцы. Их русским человеком обзываешь, а они крестятся и говорят: господи помилуй, моршанские мы! Так что нет никаких русских. Есть тутошние, здешние, кирсановские или рассказовские. И я вас уверяю, господа, что через век понавыдумывают еще тысячу новых племен.

Отчасти Жеводанов был прав. Фельдшер видел, какая темнота живет на земле. Приходили в больничную избу крестьяне за лечебными наговорами, уверяя, что у него выхаживать скотину получается лучше, чем у местного попа. И говорили землееды на странном языке, который не мог повторить ни один из столичных поэтов. И даже сифилис, подцепленный в городе, приходили к Костеньке лечить с обидой: что же ты моему бычку помог, а с человеческим хозяйством справиться не сумел? Какое Беловодье с Китеж-градом? Какая Белая Индия в деревянном окладе? Разве в Беловодье, неудачно повернувшись во сне, дают грудничков? А рожают ли китежане в поле? Гадят около своего же плетня? И это еще богатая, зажиточная Паревка, тогда как в бедняцких селениях на севере, где разверзлись болота Моршанска, крыши светом покрывают и даже в урожайный год расходятся по губернии нищие.

Вспомнился Косте случай, когда Паревка уже не была под коммунистами, но и антоновской еще не стала. По телеграфу выстучали на станцию сообщение, что в уезд пришла холера. Хлытин, приехавший на подложное фельдшерское место, решил, что нужно сообщить мужикам. На народном сходе он, волнуясь, объяснил паревцам про важность кипячения и опасность сырой воды из колодцев. На удивление, мужики выслушали ученое мнение всерьез: хоть и не доверяли чужаку — за умные слова уважали. Сход, поблагодарив фельдшера, решил выставить вокруг Паревки вооруженные заставы, которые должны были стрелять в Холеру, если бы та вдруг заявила. Сочли мужики, что Холера — это жуткая старуха с клюкой, которая ходит от деревни к деревне и губит питьевую

воду. Сколько ни переубеждал Хлытин паревцев, ничего не помогало. К счастью, мужики вскоре ушли к Антонову, отчего ни одна старуха богомольница от лекарственной дробы не пострадала.

— Да, народ темен, — согласился Хлытин, — однако кто его таким оставил? Царь, большевики.

— Не в ентом корень, — возразил Елисей Сильч. — Социализм, цари — моему роду все одно. Важно в Бога верить, молиться Ему, ибо все есть в Нем и ничего нет, кроме Него. Социализм умножается отпадением от Бога, ибо человек по дуркованию своему начинает считать, что может обустроить жизнь земную быстрее, чем за шесть дней.

— Значит, не очень-то Бог Россию любил, раз дозволил сотворить с ней такое? — все еще обиженно спросил Хлытин.

— Енто ты просто благо понимаешь как вещество. Чтобы куры неслись и телочки приплод давали. Благо не в том, чтобы чай с сахаринном пить, а чтобы игу Антихриста сопротивляться. А он не токмо в большевиках, а повсюду — в царе тоже был, от поганейшего Алексея Михайловича то пошло, в церкви был — от собаки Никона, а далее, знамо дело, в большевиках ентот тлетворный дух более всех выразился. Согласно Писанию, зловонючий Антихрист будет царствовать три с половиной года. Если считать от октября семнадцатого, то как раз выпадает освобождение от сатанинского ига на лето двадцать первого года. Ну, это по-вашему — двадцать первого. По-нашему — семь тыщ четыреста двадцать девятого.

— Эй, счетовод козий, — съехидничал Жеводанов, — а в заводах твоих духа Антихристова не было?

— То не мои фабрики, а тятины. И я, недостойный человеке, всегда понимал: нет в них радости. Тятя не понимал, потому и убили.

Жеводанов подмигнул Косте:

— Смотри, со святым человеком шлепаем, не иначе по воде пойдет!

Вместо ответа Елисей Сильч перекрестился. Если остальные антоновцы пытались преодолеть лес разговором, то старовер все больше осознавал значимость своей миссии. Он чаще открывал Псалтырь, чтобы удостоверить в нем свои думы. А думы его были под стать смутному времени. В глубине души Елисей Сильч верил, что Бог рукоположил его на роль Еноха или Илии — двух пророков, которые будут обличать власть Антихриста и падут под его когтями, чтобы приблизить приход Мессии. Елисей Сильч принимал это как должное, потому позволял себе нравучения, призванные подкрепить дух бойцов. Сначала в армии Антонова, затем в маленьком лесном отряде и вот теперь здесь, в равновеликой тропице, спускающейся в овраг.

Отец — это, конечно, он, Елисей Сильч. Сын — сомневающийся в тамбовских садах Жеводанов. А духом был голубок Костенька, милое нежное существо, скроенное из гимназической тетради и подросткового пушка над губой. После вечернего правила хотелось староверу неслышно подползти к Костеньке, склониться над его дыханием и сгрести мальчика

в косматые объятия. Не ради содомии, а чтобы сжать сокочущий дух, переломать от любви юные косточки, выжать Костеньку досуха и умыться безгрешной росой. Тогда будет очищение. И Вите Жеводанову оно будет, алчет ведь солдафон чуда, надо ему намекнуть, что чудо — вот оно, рядом, бьется под Костиным сердечком. Разве это не Божий промысел, что с нами голубок идет? Голубок, да на войне. Чудо! Ей-богу, чудо!

— Комарик, а ты откуда залетел сюда? — ласково спросил Елисей Сильч у Хлытина.

— Я вам не комарик. Меня зовут Константин.

— Комарик! — Жеводанов клацнул зубами. — Нравится... Молодец, Елисейка, хорошо быть комариком! Пищишь-пищишь, а потом хлоп, — Жеводанов сплющил ладони, — капля чужой крови остается. А как будто о чем-то важном зудел...

Сквозь бороду старовера проклюнулась желтенькая улыбка. Пусть позудит комарик-голубок, пусть подвигает крыльшками и поведет носиком — какой хороший комарик, какой хороший голубок! Бог неслучайно доверил Елисею Сильчу эсерика, чья обнаженная грудка так хорошо будет смотреться на широком и плоском камне. Ах какой хороший мальчишоночка! Худенький, ладненький, глазки светленькие! Из него на загляденье спасеньице можно выкроить. Да-с, он, Елисей Сильч Гервасий, последний отпрыск древнего благочестивого рода, обязательно будет помилован. Только сперва тяготу надо принять. Без тяготы никуда. Тягота — это как хороший адвокат на Божьем суде. Елисей Сильч, прорубаясь через заросли рябины, верил, что продерется сквозь терния прямо к Божьему престолу — нужно только напрямч заработанные в Рассказове силы.

Там с успехом существовал питейный дом. Рабочие потянулись гурьбой — погудеть без жен и недовольных односельчан. Кто чай с блюда тянул, кто нелегальную водочку сполюбил. Можно на вынос, можно и в себя. Цыркин не подвел, исправно поставлял отменное вино — заведение всем было в радость. Осторожный тятя не раз посылал Елисея Сильча разведать обстановку — как и о чем гуторят люди, не зачинается ли пьяный бунт? Но Рассказово было тихим промышленным селом, вчерашние крестьяне не помышляли о политике. Они и слова такого не знали.

С началом германской войны положение круто изменилось. Был объявлен сухой закон. Гервасий-старший хотел лавку прикрыть, однако вкрадчивый, обходительный Елисей Сильч исправил положение:

— Тятя, что же с людьми начнется, коли им отказать в удовольствии? Война дело портит — видите, как производство хиреет? Так мы винные капиталы в добро не обратим. А мы молеальный дом еще один хотели открыть. Как его достроить? Доходы падают, торговля идет не шибко... Остается положиться лишь на винную торговлю.

— Грешно это, сын. Ой грешно, — морщился дряхлеющий патриарх. — Неужто ты не помнишь притчу Соломонову: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид?»

— Ах, любезный тятя, жало у аспида мы давно вырвали. Нечего больше революции в нашем селе делать.

Со временем Семен Абрамович продал все сигнатуры Елисею Силычу, а тот замаскировал кабак под чайную. Кому надо — получал посыпные калачи и самовар, а кто знал тайну, тот мог полное ведро в квартиру снести. Ревизоров, если таковые были, умасливали жидкой монетой. Чем больше разорялось текстильное производство, не получившее жирных армейских заказов, тем больше денег приносила торговля водкой.

— Тятя, даже наставники наши, собравшиеся на собор, обозначали вино не грехом, а проступком. Что мы против воли собора? За винокурение отомолиться — и будешь прощен. Вот у нас рабочие напьются, а потом здесь же, в Рассказове, отмолятся. Что же мы, единоверцев в беде бросим? Тем более мы сами не пьем, на нас проступка нет. Господь свидетель, мы души чужие спасаем. В остальных уездах волнения, люди помещиков и заводских мастеров трясут, а у нас порядок... Почему? Потому что бутылка для революции первая преграда: захмелеет работник и дурных речей не слышит. А вся его пьяная сила — фонарь на улице разбить. Фонарь мы заменим, а вот разломанных костей обратно не вставить.

Старик хмурил брови. С одной стороны, сын, конечно, якшался с миром, жаловал и пестрое платье, с другой — нельзя было не отметить крепнущую день ото дня хватку, благодаря которой, глядишь, и соберут Гервасии весь Кирсановский уезд под властью одной династии. А тогда и все грехи отмолим, и даже на покаяние в монастырь можно уйти — поставим его на свои же деньги, вымоченные в вине. Внимательно посмотрел Сила Степанович на сына. Тот был широк в плечах, поплыл животом, но это ничего: крепкий последыш вышел, такому можно заводы без боязни передать. И все-таки Елисей Силыч изменился: еще укоротилась борода, а в дружках нет-нет да мелькнет скобленое рыло. Сын оправдывался, что иначе дело вести невозможно.

— Любезный тятя, думаете, мне приятно с никонианами за одним столом сидеть? Да и Цыркин рода иудейского, даром что в новообрядной ереси пребывает. Однако коммерция контакта требует. Не подумайте, что я вам перечу, но мы же не еретики из Спасова согласия, мы не глупые бегуны и не морильню в тайге строим*. Они-то, можно сказать, гордецы — решили, что сами себя спасут, да и ладно. А Гервасии пошли голгофской тропой Господа нашего Иисуса Христа. Мы в миру трудимся, чтобы общественное благо сохранить. Енто хорошо нас со стороны осуждать: барины, капиталисты! Мы не капиталисты. Мы хозяева. Мы для ентого деньги зарабатываем, чтобы их на людей пустить. Потому, когда по улице идешь, народ шапки снимает — благодарит за больничку, за школу, за пенсион по увечью кормильца. Господь заповедовал ближнему помогать. А пещерники только Богу помогают. Зато в их глазах мы пло-

* Старообрядчество делилось на множество толков, среди которых духовным радикализмом (даже по меркам старообрядцев) выделялись бегуны и спасовцы.

хия люди, потому в мире пребываем. А кто согласен выслушать правду честного торговца? Уж простите, тятенька, Бог в нашу сторону рассудит. В государстве волнения, а у нас тишь да гладь. Люди не гибнут. В городах детишкам есть нечего, а мы получку в срок выдаем. И вот ответьте, тятя, по совести, кто к спасению ближе — тот, кто себя единоличным постом в скиту изнуряет, или тот, кто от голода и болезней сотни людей спас? Неужто енту заслугу на ангельских весах перевесит чарка с водкой?

Отец слушал внимательно. Сын говорил разумные вещи. Тятя Силы Степановича перешел в поповскую веру еще при Александре II. Старообрядцы, из тех, что с попами, решили примириться с царской властью: мы вас за Антихриста больше не считаем, а вы нам не мешаете купеческими делами заниматься. Вот Гервасии и решили, что, пока конца света не видно, нужно на земле обустроиться. И ничего, Бог понял — наградил род Гервасиев. Так чего уж теперь из-за водки переживать?

— Эх, Елисеюшка, кровинка, будь по-твоему! Только помни, что русскому человеку много наливать нельзя: он тогда поверх забора смотрит.

Может, пересидели бы войну текстильные фабриканты без особых для себя убытков, но однажды на имя младшего Гервасия пришло анонимное письмо. Он не стал сообщать отцу, хотя не письмо то было, а настоящий ультиматум: «Елисею Силевичу Гервасию от вольного анархического отряда села Рассказова. Постановляем пожертвовать на дело революции тысячу рублей. Если таковая сумма не будет представлена нам в эту пятницу, мы кинем бомбу в ваш питейный салон. Если же вы обратитесь в полицию, то наши агитаторы устроят бунт на принадлежащих народу фабриках. Деньги нужно передать в полночь пятницы на субботу человеку на указанном пустыре».

От письма Гервасий-младший пришел в ярость. Елисей Силыч Гервасий, сын известных в округе фабрикантов, должен передать свои кровные деньги проходимцам! Вольному анархическому отряду! Бандитам! Чтобы в тихом селе расплодилась еврейская зараза? Чтобы отобрали нажитые кровью и потом фабрики, чтобы разворотили созданные с таким трудом кабаки? Не будет в Рассказове власти дармоедов! Рассерженный Елисей Силыч немедленно отправился в чайную, где столкнулся со знакомыми рабочими. Пообещав вознаграждение, он приказал прихватить крепкие дубинки.

С собой на пустырь Елисей Силыч принес браунинг. Ночь выдалась лунная, почти сахарная, каждый куст и бугорок был очерчен тенью. Выдай себя анархистская засада — сразу бы выпустил купеческую пулю. В полночь, когда луна подобрала юбки и сверкала тучным задом, на пустыре появилась невысокая фигура. То ли недоедал вымогатель и собирался пустить деньги на усиленное питание, то ли какой влюбчивый юноша назначил свидание барышне — не понять. Елисей Силыч выжидал, прижимаясь к влажной земле. Он даже вложился в почву двуперстием — просил у Бога защиты. Фигура явно никуда не торопилась, и старовер с бугаями выскочили из укрытия. Они сбили незнакомца с ног и

поставили его под лунный свет. Затравленно глянул юноша, плохо скроенный даже для своей поры — темный, чахлый, вогнуто-выгнутый, не парень, а коряга. Только на ощупь он был твердый. Чувствовалась в подростке нехорошая тяжесть.

— Ты, сукин сын, деньги вымогал?

— Ну что, принесли? — не стал запирается пойманный.

Мужики испуганно переглянулись — вдруг из схрона выскочат подельники и просунут меж ребер ножички? Время наступало лихое, тамбовская земля понемножку наполнялась революционерами и дезертирами, а также теми, кто себя за них выдавал, — опасаться нужно было всякого. В том числе хилых подростков.

— Ты еще смеешься, щенок?! Кто таков, отвечай!

— Я человек вольный, сам себе хозяин. Хожу по тамбовскому краю, себя людям показываю. Паспорта у меня нету, слепой* я. А вот ты, гнида, наверняка при документе, чтобы с полицией и чинарями сношаться. Да? Где ж твоя вера, борода? В сундуки ее заложил? В чулане держишь? Что ж у вас за вера такая, что непременно богатым нужно быть? Отчисли-ка поскорей мою тыщонку. Я, может, так тебе душу спасаю. Ну, где мое жалованье?

— Тебе, падаль, какое дело до моих капиталов? Какое ты на них право имеешь?

— Я философию разводить не намерен, хоть и маракую по-ученому... Земля общая, ветер на ней — тоже... Свет от звезд что, тебе принадлежит? Так и с деньгами. Что людское — то все общее. А значит, и мне часть того положена. Что тебе тысяча? У тебя их много. Меня же деньги с кривой дорожки выведут.

— Во наглец, — немного уважительно протянул Елисей Сильч. — Мы его изловили, скрутили, а он еще дело в свою пользу гнет! Хорош пес! Воробьиный пуп тебе, а не капиталы Гервасия.

Парень усмехнулся:

— Значит, ассигнаций не видать? Жаль. В полицию меня теперь поведешь?

— Енто после. — И Елисей Сильч ударил его под дых.

Вымогателя били палками по ребрам, по спине, рукам. Били, несмотря на то что перед ними стонал никакой не анархист, а беспризорная душа лет семнадцати. Елисей Сильч норовил попасть носком сапога по лицу — выбить негодяю все зубы. Пусть носит отметину аж до Страшного суда.

Когда сапог, расталкивая зубы, все-таки пролез в рот, Елисей Сильч поднял к луне окровавленного подлеца:

— Имя твое как? Ты скажи, я свечку за здоровье поставлю. Ну же, мил человек, имечко свое поведай.

Паренек отхаркнул зубную крошку и не без гордости прошепелявил:

— Гриска я. Селянский. Слыхали?

* Слепыми называли людей без паспорта.

— Тю-ю, насекомое! Кто ж о тебе слышал? Гришенька, глупая твоя голова, ты бы дружков каких лесных нашел или ружжо взял, прежде чем меня пужать. Я только Бога боюсь, а таких мокриц, как ты, — нет. Захочу — сапогом на тебя наступлю! А потом половина Рассказова переделается, чтобы мои сапоги вычистить. Не хочешь грех искупить и сапоги наваксить? Сверх всякой меры рублем одарю. А? Да бог с ней, получишь свою тысячу! Только сапоги мне почисти.

— Не имею на то призвания.

— Ух до чего наглая нынче вошь пошла! Слова городские выучила!

— Ничего... ничего... Вы обо мне есё узнаете, — через боль усмехнулся бандит.

— Узнаем, непременно узнаем! Трави его, ребята! Тумаки на всем белом свете тоже общие!

Гришку били не то чтобы неумело, но просто ударили с размаху черного человечка, а ноги или руки сами собой отскочили. Точно по каучуковой чурке колотишь. Не его бьешь, а себя. Только и удалось, что передние зубы выбить. Чувствовал Елисей Сильч, что на Гришке все заживет как на собаке. Отползет он в воровской притон, зализжет раны и дождетя своего года. Еще обязательно узнает фабрикант о беспризорном парне, устроившем глупое, подсмотренное на стороне преступление. Оттого еще больше ярился Елисей Сильч, и гуще светила луна.

XXIII.

Кикин долго полз по земле. По пути он разговаривал с ужами и гадюками. Те знали: ползет кровник, холодно в Тимофее Павловиче. Змеи шипели и вились вокруг мужичка, вилявшего средь травы острым задом. Кикин полз в Паревку искать жеребенка: хотелось антоновцу пощупать собственное мясо.

— Ползу, жеребчик, ползу, копытенький! Будешь у меня за пазухой греться. Повыгоню оттуда лишних людей. По нынешним временам копытце важнее пятки будет.

Окольными путями разведчик проник в село и заюлил огородами. Паревка подкармливалась подсобным хозяйством, и Кикин с удовольствием ссасывал с капусты жирных слизняков. Потом Тимофей Павлович залег в крапиве, где трогал языком мохнатые стебли. Жегучка колола кикинское жало, язык ломило от яда, отчего во рту разбухало ноющее слюнявое щупальце. Его тоже сосал Кикин. Щупальце спускалось вниз, прямо в пищевод, скользило по желудку, где выискивало завалившееся зерно. В канавной крапиве вспоминал он о днях, когда был половине Паревки хозяин, как батраки шапки снимали. Ныне ничего не осталось. Чем больше распухал язык, тем сильнее распаялась кулацкая злоба. Точно не язык, а насекомий уд копошился во рту. Хотелось Кикину заползти за солдатский шиворот, вонзиться жвалами в потную шею, чтобы пить и пить, пить и пить.

Из темноты Кикин опознал оранжевого человека, прохромавшего по селу. Вместо ноги — винтовка, да и говор не местный. Коренастый Верикайте не заметил Кикина, и тот перевел взгляд. В углу молоденький комсомолец миловался с курносою девкой. По избам материлась солдатня. Брехал не съеденный прошлым летом пес. Поломанным ухом Кикин искал новорожденное ржание. Очень уж хотелось приласкать родного стригунка. Скотина нашлась в большом амбаре. Жеребенок испуганно заржал, но затих от кобылей колыбельной. Снаружи Тимофей Павлович с удовольствием шоркался об углы, тер спину о теплое дерево и мурлыкал что-то свое, кикинское, а фасеточные глаза стреляли по сторонам — не идет ли случайный большевик?

— Тише, жеребенчик, тише. Скоро будешь моим, кикинским конем. Ты же белой антоновской породы, помнишь? Ты для большого дела на свет пришел. Будешь меня в Кирсанов возить на ярмарку.

Жеребенок затих. Кикин тихонько уполз за речку Ворону. Там его ждал Тырышка. Атаман не приказал Кикину подняться, оставив стрекотать в траве, доклад же выслушал подробно. Задумал Тырышка присвоить славу Антонова — резким наскоком взять Паревку, наполненную большевистским гарнизоном, а оттуда, как заведено в любом повстанье, всю Русь освободить.

— В гарнизоне сотни две сабель, столько ж винтовок, — с блаженством докладывал Кикин, — есть отряд броневиков. Курсанты совсем молодые, совсем тепленькие, такие хорошенькие. Ждут нападения, боятся. В воздухе страха много, хоть на хлеб намазывай.

— Ну а командует кто?

— Командование в лес ушло, откуда мы вышли. Это они зря, да, товарищ атаман? Село под властью военного машиниста Верикайте. Вы его поезд еще под откос пустили, помните? Ножку Верикайте повредил, подволакивает. За голову держится. Все ходит, оглядывается. Тоже боится. Нас, видать. Позвольте утечь?

— Ну, теперича все мне ясно, кроме одного. Друг мой Кикин, отчего ты все время ползаешь?

Тимофей Павлович застрекотал из высокой травы:

— Так и хочется брюхом о коряги поелозить, ничего с собой поделать не могу! Ищу торчащий сук, о который зацеплюсь срамным удом и тем земную ось потревожу. Как большевики с рыволюцией пришли, так мы с держаний наших сразу в овраг слетели. Потрясло тогда мир до основания. Все перемешалось! Своим умом дошел, что нужно закособочиться о комелек, чтобы землю вновь трянуло. Тогда все взад вернется. Оттого и ползаю.

— Ну что же, дело хорошее. Ищи, Тимофей Павлович, свой сук.

Работая руками, Кикин уполз в кустарную тьму.

Тырышка напряг белый лоб, рассеченный глазной повязкой. Хотел сказать что-нибудь важное, анархическое, про свободу и револьвер, но скошенный ум не позволял говорить умно. Он и Кикина хотел напутство-

вать не суком, а священной чашей, о поисках которой слышал от умных людей, однако вовремя перепутал Грааль с граблями. Страстно хотелось Тырышке отметиться подвигом. Желал атаман, чтобы запомнили люди не его малый рост, а то, докуда он смог дотянуться.

— Ну, козье воинство, пойдём на Паревку?

Люди хмурились большой единой бровью. Бандиты сжимали обрезы, длинные пики и топоры. Прикажи атаман — пойдут на Москву, колоть брюхо большевистской буржуазии. Сказывают, что защиты там большие сокровища: ириски да ладанки.

— Ну что, сдюжим?

Обращался Тырышка не к воинам, а к бледной бабе, сделанной из свечного огарка. Потоньшела она с тех пор, как вынула из живота дитя. Теперь ребенок мял ручками высохшую желтую грудь. Требовалась крохе хотя бы капля Млечного Пути. Но молока не было. Знал о том Кикин, разлегшийся в кустарнике. По ночам он иногда подползал к бабе и жевал сморщенный сосок — нет, не обманывала потаскуха. За правду Кикин уважал ее еще больше.

— Молока возьмите, — глухо сказала женщина. — Общее дитя есть хочет.

— Возьмем, — загудели мужики, — мы нашего сына богатырем вскормим. Или жирную бабу для дойки притащить? Так оно даже лучше будет.

Отряд заспорил, что лучше — молоко или баба с выменем. Сошлись на том, что баба выгоднее. Был среди бандитов и Купин. Он тоже побелел, втянул живот и не глазел, как раньше, по сторонам. Присмирел Купин без брата. Жизнь без симметрии казалась невыносимой, раньше любая шутка надвое умножалась. На привале Купин случайно посмотрел в лужу, увидел там только лес да небо и навсегда расстроился. Рядом сиротел Вершинин. Великан, душивший по оврагам мешочников, раскачивался из стороны в сторону. Хотел задеть крутым плечом родственную душу, однако натыкался то на людей, то на толстую ветку. С полудня представлял Вершинин, что хорошо бы залезть целиком в разодранное кобылье брюхо и притвориться жеребенком. Тогда бы лошадь порадовалась.

— Ну, мать, напутствуй, — попросил Тырышка женщину, — без твоего наказа шаг у нас счастьем меченная.

От бабы исходило холодное сияние. Посмотришь издали — так за серафима сойдет. А вблизи страшно. Не женщина, а дочь болота. Светлые-светлые волосы и слюдяной взгляд — вперится в плотяного человечка, а тот в камень обратится. От прилива луны роженица истончилась, просвечивала лучинкой.

Не отпуская ребенка, кликуша начала раскачиваться и причитать:

— Ой вернитесь, братцы, да не с пустыми руками, а со смертушкой в кармане. Коров ведите и быков, чтобы хватило кушанья на сто веков. Набивайте богачами котомки, вырывайте у них с сундуков защелки.

Тащите сюда сырых да убогих, милых да кривоногих. Каждый сгодится, где наша земляца. Колите животы, вынимайте оттуда булки и баранки, сыпьте соль на ранки. Догоняйте кто побежит, а отнимайте больше всего у тех, кто жизнью дорожит. Убивайте бедняка и коммуниста, вдову и городского пропагандиста. Жгите избы, риги и нивы, чтобы всем было обидно. Кто загублен не напрасно, тот жизнь прожил ужасно. Мы пострадали, испили чашу, пора и им в нашу чашу.

Тырышка перекрестился:

— Ну, с богом.

Кикин радостно застрекотал из травы:

— Мой жеребенок, мой!

Отряд загудел и выполз на берег Вороны. Белая начетница осталась ждать в лесу. Она угрюмо качала обескровленное дитя. Молоко ему бы уже не помогло. Разве что соловья подоить. Говорят, птичье лакомство от всего помогает. Но расстраивать мужиков не хотелось: каждый из них очень старался, когда делал бабе ребятенка.

Реку войско переплыло без шума. Не ржала даже кикинская кобыла, на которой восседал Тырышка. В руке он сжимал совхозные счета, чтобы не отходя от кассы добычу пересчитать. Змеиные луга бандиты тоже пересекли тайно. Отряд осторожно забрался на холм, где спала барская усадьба. Тепло шумел дичающий яблоневый сад, под которым сгрудилась чумная ватага. Вкусное село лежало внизу. Оттуда парило крестьянским духом, и в крайних избах колебались огоньки. Запоздало долетал до усадьбы караульный окрик. Отребье с жадностью пожирало любые человеческие звуки, только никто даже не попробовал редкие недозревшие яблочки. Они недовольно свисали с веток и жаловались, что через несколько поколений превратятся в кислую дичку. И скормят их тогда козам да коровам. Увы, их грусть так и осталась без ответа — кого в Гражданскую волнует, о чем думают яблочки?

Тырышка принялся, махнул рукой, и бандиты ринулись вниз.

Нога Евгения Витальевича Верикайте заживала хорошо. Голова тоже прояснилась. Комполка больше не бредил дворянской тайной. Да и Паревка под военным руководством преобразилась. Контрибуция, наложенная на село, была выполнена в полном объеме: оказывается, был припрятан хлеб у кулаков. Значит, не зря посекали народ. Нашлось за что. Мертвые мужики, которых Мезенцев приказал расстрелять, покоились в коллективной яме. Молчащую еврейку, вслед за выловленными из болота антоновцами, отослали в концентрационный лагерь. Там за колючкой хорошая логопедическая школа: дефекты речи лечат кулаком в зубы и прикладом под дых. Любая бука заново заговорит.

Паревка потихоньку замиралась. По вечерам село лилось к реке разгульными песнями, а днем нет-нет да перекидывалось улыбкой с красноармейцами, гнувшими спину на полях. Антоновцы, известное дело, никому не кланялись — ни господам, ни земляце, вольные ведь люди, а

эти, мучители, глядишь ты, сначала розгами высекали, зато потом вместо обещанных тракторов в поле вышли. Чудно было крестьянам видеть, как вчерашние угнетатели пахали вместо убитых мужиков — неужто это и была красная справедливость? Хекая в бороды, понемногу загордились паревцы. Ишь как уважают их коммунисты. И воюют с ними, и трудятся. Такого от барина не дожدهшься.

Девки тоже оттаяли. Убитые отцы да братья — чего ж, за них замуж не выйти. Вот и прицепятся девки, мать не слушая, к солдатику и ненавроком интересуются: по уставу ли чужие юбки задирать? Евгений Витальевич с удовлетворением наблюдал, как девки ходили на вечерку даже с парнями из продотряда. Некому больше зерновиков за углом поджидать. Покорилась Паревка, отдав своих женщин победителям. Поняли крестьяне, что бесполезно с городской силой биться. Это человеку перед человеком сложно склониться, а перед стихией упасть не зазорно.

Комполка дожидался возвращения непутевого Мезенцева. Мальчик он, что ли, по оврагам лазить? Мог бы послать кого другого комаров кормить. Что, мало командиров? Комвзвода, максимум — комроты. Хватило бы за глаза. Еще и Рошке с ним увязался. Теперь Верикайте формально не имел права на переселение людей в Могилевскую губернию. А вдруг Паревка вновь забунтует? Что тогда делать? И что Рошке с Мезенцевым замыслили там, в лесу? Кого ищут? Разведка с воздуха не принесла результата. Конные разъезды тоже никого не заметили. Отряд, все-таки посланный на поиски, быстро прошел лес насквозь и с облегчением вернулся назад.

Тайно ловил себя Верикайте на мысли, что не очень-то хочет возвращения Мезенцева с Рошке. Казалось командиру, что его давно разоблачили и по прибытии отправят прямо в Сампурский концлагерь. Мало ли на чем он мог проколотся! Сели на привале обсуждать его, Верикайте, странную фамилию, и вдруг вспомнил дотошный Рошке, что по его подвальному ведомству проскальзывала разнарядка на активного февралиста, врага революции и дворянина с похожими прибалтийскими корнями...

Была у Евгения Верикайте версия, почему пропал Мезенцев. Он не слушал суеверных крестьян, шепчущихся, что по ночам из-за Вороны доносится зловеший гул. Волновало Верикайте другое. Еще на доукомплектовании ЧОНа в Тамбове губернское начальство поручило командира чекисту Рошке.

— В революционной тройке, которой вверены исключительные полномочия, — сказал Вальтер, — вы, товарищ Верикайте, должны играть ведущую роль. Я буду на втором плане, все-таки человек не военный. Мое дело — приглядывать за революцией. А вы внимательнее приглядывайте за Олегом Романовичем. Безусловно, товарищ Мезенцев — храбрый партиз, но...

— Что? — спросил Верикайте.

Вальтер Рошке безразлично посмотрел на кресты бывшей веры. В несмываемых с лица очках отразился шпиль колокольни. Чрезвычай-

ная комиссия в Тамбове обосновалась в Казанском монастыре. Близость к Богу нисколько не смущала чекиста. Он считал любые религиозные чувства всего лишь желудочным предрассудком. Грустно человеку в одиночестве пищу переваривать — вот и верует в Бога. Простейшая физиология, как знал Вальтер из курса естествознания. Рошке жестом пригласил Верикайте прогуляться вдоль монастырской ограды.

— Как мне сообщили, в последнее время у Олега Романовича возникли некоторые странности. Некие... помутнения. Вы ведь в курсе, товарищ, что не так давно колчаковцы на фронте у Волги пленили Мезенцева и, соответственно, расстреляли?

— Расстреляли? Да ведь он живет всех живых!

— Торопитесь, товарищ Верикайте, торопитесь с выводами! К слову, не считите за бестактность, но я имел сношения с латышскими большевиками — и по всем правилам ваша фамилия должна быть Верикайтис, не так ли? Вы ведь в партии давно?

Евгений Витальевич, затянутый в скрипучую оранжевую кожу, по привычке выдал заученную легенду. Верикайте не было стыдно за обман. Он и не думал навредить социалистическому делу. Он лишь хотел, чтобы социалистическое дело не навредило ему. Революция подарила Евгению Витальевичу возможность выбиться из нижних чинов в большие командиры, большего же он от нее не хотел.

— Расстреляли-то расстреляли... — Рошке, казалось, вполне удовлетворился ответом. — Пуля попала Мезенцеву прямо в голову, чуть выше брови, однако не убила. Он так и переплыл Волгу с пулей в голове и вышел к своим. Об этом даже в газетах написали. Удивительный для науки случай.

— Понимаю. Он повредился рассудком?

Вальтер поправил очки. Больше пыток боялась тамбовская контра-зарешеченного взгляда Рошке. За оправой мерцало серое пламя, будто горел неведомый науке реактив. О чем думал молодой немец, работая в монастыре вместо Бога? Любой юноша увидел бы здесь магический символизм, но Рошке не интересовался мистическими штудиями. Богу он бы предпочел отлаженный механизм, работающий вместо ядра Земли. Чем точнее бьется жизнь на планете, тем глубже объясняет ее всемогущий марксизм.

— Понимаете? А что вы понимаете?

— Понимаю, что он тронулся головой, — соврал Верикайте.

Вдруг Рошке все знает не только про Мезенцева, но осведомлен и о прошлом командира бронепоезда? Ведь он спрашивал про фамилию! И вот прямо сейчас Рошке заговорит не о Мезенцеве, а со смешком упомянет о его, Верикайте, отце, который ныне промышляет контр-революционными спекуляциями где-то в Берлине. Не для того упомянет, чтобы забрать с собой в подвал — просто напомнить, что дело не в отце и дворянском укладе, а в том, что бесполезно что-либо скрывать от ЧК.

— Он в здравом уме, — задумчиво протянул Рошке, — однако вполне вероятно, что Мезенцев перевербован колчаковцами, а расстрел с показным ранением был постановкой.

— И пуля в голове?

— Она сидела неглубоко над бровью. По своему опыту скажу, что так никого не стреляют. В затылок бьют или в спину. А что касается инсценировки, то мы тоже так делали, когда выходили на логово Тырышки. Вам этот бандит неизвестен. Мелкая сошка из местных. То разъезд перебьет, то скот крестьянский угонит — и все мечтал десятком человек Тамбов взять. Постоянно засылал сюда своих лазутчиков. Вот разведка и донесла, что в зарослях у Цны, это местная река, сидят люди Тырышки. Мы изобразили расстрел нашего сотрудника, который в последний момент оттолкнул конвоиров и прыгнул в воду. Бандиты, наблюдавшие со стороны, приняли агента с распростертыми объятиями, а мы приняли их спящими уже через недельку.

— И что же этот ваш Тырышка?

— Да ничего, — пожал плечами Рошке. — Живым даваться не захотел. Моя пуля вошла ему прямо в глаз.

У Верикайте отлегло от сердца. Разговор был не по его душу.

— То есть вы утверждаете, что известный на весь фронт комиссар Олег Романович Мезенцев оказался завербован белобандитами? Зачем же он тогда придан ЧОНу? Почему им не займется ЧК?

— Дело в том, товарищ Верикайте, что Мезенцев способствовал освобождению одной старой противницы советской власти, самарской эсерки Ганны Губченко. Ее должны были расстрелять за подготовку нескольких террористических атак. Вы знаете это вечное эсерское нытье, мол, социализм у нас ненастоящий, рабочая власть иначе выглядит, вот прочитайте-ка декларацию Чернова, а как склонись над ней, так в спину еще и бомбу бросят. Партия крестьяшек — что с них взять? В общем, благодаря своему имени Мезенцев любовницу освободил. Удалось ликвидировать только Аркадия Губченко, идеолога группы. Есть достоверные сведения, что Ганна Аркадьевна перебралась в Тамбовскую губернию и напрямую стоит за кулацким восстанием. Вы же понимаете, что им командуют не народные самородки, а офицерье с эсерами? Да о чем говорить! Наши полки треплет не сброд, а такая же армия, да еще при погонах и штабах. Что, крестьяшка с хутора Абрашка додумался до полкового деления? Конечно нет! И не кажется ли вам странным, что в Тамбовскую губернию вслед за Губченко-младшей отправился сам Мезенцев? По всей видимости, между ними имеется сговор. Вы в курсе, товарищ Верикайте, что на стоянках антоновских банд мы находим копии приказов, которые отпечатываются здесь, в Тамбове? Вы знаете, что бандиты прекрасно осведомлены обо всех наших шагах? Стоит только разработать план по окружению зобандитских сел, как на следующий день антоновцев в них и след простыл! Это не дело рук крестьяшек. Они читать не умеют. Это означает только одно: существует хорошо отлажен-

ная агентурная сеть, которую, возможно, возглавляет Олег Романович Мезенцев.

Верикайте даже улыбнулся, а потом осек губы — не выдал ли своего волнения? Получается, они с чекистом будут присматривать за комиссаром, а не наоборот? А что, если Рошке сообщил то же самое Мезенцеву, только уже о том, что предателем является Верикайте?

— И что требуется предпринять?

— Наша с вами прямая обязанность — следить за Мезенцевым, не отступать от него ни на шаг и попытаться разоблачить провокаторскую сеть. Возможно, она тянется до самого верха, вплоть до контрреволюционеров в тамбовском штабе. Скорее всего, на месте Мезенцев попытается связаться с бандитами или предпримет попытку перейти на их сторону. Если же мы ошиблись, Олег Романович ничего не должен узнать. Незачем расстраивать героя ложными подозрениями. Такое вот нехитрое уравнение. Вам есть чем дополнить сказанное? Быть может, вы знаете что-то еще?

Верикайте непринужденно ответил:

— Откуда? Я ведь только что введен в курс дела.

— Действительно. Это я так. На всякий случай. Осторожность — очень точное чувство. — И Рошке подозрительно сощурился. — Еще хотел спросить, а почему ваш бронепоезд называется «Красный варяг»?

— Так мы же с балтийских берегов прикатили. Много латышей, литовцев, русских, немцы есть... Считай, варяжский интернационал. Сейчас, правда, почти все из русских. Война.

Рошке повернулся лицом к монастырю и рассеянно заговорил:

— Жаль. Великая сила большевизма в том, что он не замечает народов и их гордости. Он дает ответ всему человечеству сразу, не вдаваясь в историю королей. Да что там! Мы масштабней, чем Бог. Нет ничего удивительного в том, что ЧК заседает в монастыре. Тем более большевизм выше национализма. Он хочет его перешагнуть, оставить позади. Указать подлинно миссию, которая шире Туркестана или Украины. Однако с каждым днем ход революции замедляется. Она спотыкается о красных варягов, о буденовки, о военспецов, о патриотизм... Красный бронепоезд пытаются загнать в черносотенное стойло. Каждый день мы вынуждены работать в подвалах. Не сочтите за пафос, но мы там прошлое останавливаем. Ликвидируем энтропию. Это когда Вселенная остывает. Революция проиграет тогда, когда начнет говорить о национальной гордости, великих народах, о русских, когда вместо товарищей вновь появятся братья и сестры.

Мы не хотим возвращения назад. А чего хотим? В салонах читают про ананасы в шампанском. В деревнях поют о светлоокой красавице и тарантасе. А о чем поем мы? О том, что разрушим целый мир и построим новый. Чувствуете разницу? Поэтому, право слово, нелепо стрелять по старому миру из «Красного варяга» — будто дореволюционный крейсер какой. Там и до Александра Невского недалеко, и до царских генералов, до Суворова и героев империалистической. Энтропия разрастется, и мы

угаснем. Все вернется на круги своя. Деньги, целование флага. Война Родины номер один против Родины номер два. Не правда ли, дурновкусие? Назовите лучше бронепоезд именем Розы Люксембург. Забавно ведь: имя женщины — на борту смертоносной машины. Не находите?

...Евгений Верикайте вспоминал разговор у монастыря, сидя в штабной избе. Пожалел комполка, что не обматерил чекиста, посоветовавшего переименовать любимого друга в честь иностранной бабы. Это ж надо так не разбираться в паровозах! Но неужто комиссар и вправду ушел в лес, чтобы перейти в повстанье? Может, почуял комиссар партийное недоверие и решил переметнуться к эсеровскому подполью? Да только кто его там примет? Особенно после того, как Олег Романович расстрелял половину Паревки. Хотя если Мезенцев не вернется из леса, то вопросы могут возникнуть уже к самому Верикайте.

С окраины Паревки долетели выстрелы. Зачихал пулемет, и по улице с улюлюканьем проскакали. Штаб подскочил и принялся спешно опоясываться. Верикайте схватил шашку и, еще опираясь на винтовку, первым выбрался из избы, чтобы увидеть, как мимо промчалось что-то жуткое и темное, то ли на коне, то ли на четырех лапах. Жуть, как при джигитовке, свесилась с коня, страшно, почти сладострастно протянулась своей шеей к шее Верикайте и клацнула возле уха черными зубами. Верикайте поднял костыль и разрядил мосинку в конника. Тот сжал коленями лошадь и сиганул через плетень. Из коня в прыжке выпали то ли кишки, то ли испуганная лепеха: наверное, выстрел разнес животному круп.

Всадник, отвесив назад клокастую голову, понесся через огороды:

— Догоняй, начальник! Знаем твою тайну! — и чем-то щелкнул.

Комполка вело щелканье, которое скорее раздражало, нежели пугало. Верикайте метался по улочкам, пытаясь выковылять на затихающие крики. Щелк! Щелк-щелк! Почему, черт возьми, в гуще боя слышится это мерзкое щелканье?! Да и кто напал? Неужто Антонов пожаловал? Он же разбит вот уже как несколько дней! Или это Мезенцев навел партизанский отряд на спящую Паревку? Ведь он, только он мог догадаться о тайне Верикайте! Ах, этот Мезенцев! Ах, негодяй! Почему же Рошке его не застрелил? Да где же этот чертов бой? Почему мы не отвечаем?

— Начальник! Слышишь нас? — Щелк-щелк!

Солдаты попятились, когда с холма ринулись люди с косами и шестоперами. Как же так — у тебя в руках винтовочка, только успевай к плечу прикладывать и щелкать человечков, а им хоть бы хны, подбираются к пузу, где перловая каша и щавелевая похлебка еще не переварились. Подбегали согбенные фигуры к солдатам и рвали зубами тугое мясо. Нападавшие и не думали вышибать красноармейцев из села, а, смяв передовые заслоны, набросились на уцелевший скарб. Вскоре из села потянулись подводы, набитые дважды реквизируемым зерном.

— Ну, начальник, твоя тайна у нас! Мы ее в лес везем!

В неразберихе боя Верикайте увидел, как кто-то ползает по крышам. Как будто человеческая многоножка ворошит солому и с интересом за-

глядывает внутрь. Полакомится людскими криками и на другую крышу перетекает. Там тоже солому разгребет, точно ищет кого-то. Верикайте дважды выпалил по паукообразному бандиту, пока тот, ослабившись, не соскочил во тьму, где что-то непонятное колыхалось над головами.

Еще ни разу не видел Верикайте, как несут на шестопере красноармейца. Причем торжественно, словно на демонстрации несут! Тоже, что ли, своего Ленина хотят? Вокруг знаменосца плясали тени, щекочущие еще живого солдатика то штыком, то гвоздиком. Плеснули украденного керосина — бунчук вспыхнул, и заиграла музыка: страшно заверещал горящий человек. Командир схватился за шашку, и вовремя: из кустов пахнуло водкой. Он тут же рубанул через спиртовой и кислый капустный душок. Сталь попала в рот, который закривился, заурчал в зарослях клена, попытался прожевать шашку. Отшатнулся краском, и черкесская шашка, взятая трофеем у разбитых бронепоездом казаков, исчезла во мраке. Траур подполз к Верикайте, уцепился за сапоги и попытался придушить человека. Сразу вспомнился штабной вагон и спасительный циркуль. Евгений Витальевич попятился к горящему дому, и свет загнал шипящую тьму обратно в канаву.

Не слышалось больше стрельбы, лишь изредка хлопала далекая винтовочка. Или это сходились друг с другом лакированные деревянныешки — будто играли на народном инструменте? Щелк! Еще раз — щелк! Раненые старались не стонать — вдруг еще не все нападавшие желудки набили? К горящим избам, держа круговую оборону, прижались испуганные красноармейцы. Путем проб и ошибок выяснилось, что к яркому свету бандиты выходить не любят, предпочитая жить в темноте. Верикайте перевел дух. В голове вновь зажегся боевой азарт. Неужто он, в прошлом офицер, а теперь красный командир, вот так вот отступит? Многожды он бросал бронепоезд в горячку боя. Так почему теперь струхнул? Как смотреть в глаза товарищам по ЧОНу? Сначала бронепоезд потерял, а теперь честь? Нет, врешь! Нельзя бояться! Ляжет на командира подозрение, отчего-де пулемет мужикам с рогатинами проиграл? Как так возможно, что пуля крестьянскую шкурку не берет? Подозрительная у вас, товарищ, диалектика. А там и до Казанского монастыря недалеко. Того и гляди, уйдет Евгений Витальевич послушником в чекистский подвал.

— Не трусь, братва! — закричал чистым русским голосом Верикайте. — Заводи броневики! Против техники никакие люди не устоят!

Красноармейцы приободрились, вспомнив об оставшихся без дела бронев автомобилях. Весело заурчала техника, раскатывая по паревскому большаку. Рассекли тьму круглые фары. Однако на выезде из села бандиты устроили завалы. Остановились машины, осатанело посылая в темноту пулеметные очереди. Рядом сгрудился гарнизон, ворошащий отступившую тьму винтовочками.

— Вперед, братцы! За мной!

В воздухе разлилось всепобеждающее русское «ура». Преследовала бандитов гуща красноармейская, готовая идти за командиром хоть в

пекло, хоть за речку Ворону. Видел Верикайте, как красные всадники, отведя назад руки с шашками, готовятся рубить лесную ботву. Вот-вот восторжествует в Паревке порядок. Не откроется никому фамильная тайна. И эту чертову погремушку — или чем там они щелкать придумали? — Верикайте тоже ломает.

Но вдруг остановился храбрый командир. Оглянулся и увидел, что вместо войска колышутся вокруг высокие травы Змеиных лугов. Не было рядом ни обещанной бронелетучки, ни верных солдат. Только ночная трава зло била по грязным сапогам и довольно урчал чернозем. Впереди текла речка Ворона, за которой услышал Верикайте победный гул. Рассвет высветил пожженную и разграбленную Паревку. Увидел Евгений Витальевич, как стекается к Вороне злодейская банда.

Кикин ликовал, радуясь, что вел под узду с Вершининым общего жеребенка. Бесцветно смотрел вперед обобществленный Купин. В новой семье он все равно скучал по закончившемуся братцу. Впереди на кобыле с разодранным брюхом важно ехал Тырышка и перестукивал деревянными счетами. Принюхался атаман и повернул голову, заголив от черной повязки отсутствующий глаз.

Все это увидел Евгений Верикайте. А все это вдруг увидело его.

XXIV.

Серафиму Цыркину отправили по этапу. Не в Москву, даже не в Тамбов, а ближе — на железнодорожную станцию Сампур. Там расположился Сампурский концлагерь, куда интернировали противников общественного счастья. Концлагеря появились на Тамбовщине в мае двадцать первого года. От греха подальше семьи партизан конфисковывались в собственность. Захочет мужичок вновь побунтовать, а заложники-то вот они! Поди-ка выкуси их у приказа за номером сто тридцать. Что ни говори, мудро распорядился солнечный Кампанелла — собрал вместе подозрительных жен и мужей. Правда, жили люди не в утопии, а в концентрационных лагерях. Их так и называли, ничуть не стесняясь всяких бурых англичан.

Сампурский — считался одним из самых злых лагерей. Много народу там кончилось от тифа и часовой пули. Но еще больше признало свою вину. Да и как не признать? Если покался да пришел с повинной в прощеную неделю, то тебя тут же домой отпустят. Справку только выдадут, что большевики открыли новый чистосердечный элемент. Упорствуешь — посиди-ка еще месяцок на голодной земле. Вот и тянулись в Сампур со всей губернии подводы. Везли на перевоспитание несознательный элемент.

Немало конвоев ушло в Сампур, после того как Мезенцев разгромил повстанье у острова Кипец. Босые мужики пылили по дороге, а баб с ребятишками погрузили на телеги. На подводе вместе с Симой сидел вооруженный охранник. По виду совсем еще мальчик. В соломе лежало несколько ребят с вытянутыми, большими головами и высохшими,

тростниковыми ручками. Скорее всего, они спали. Рядом ехали всадники. От копыт поднималась пыль. Села, через которые тянулся караван, подходили на пустыню: некому больше окинуть взором высь и вспомнить, что полста лет назад было лучше. Избы смотрели пустыми глазницами, и редко-редко в окне всплывал бледный зрачок: чудом уцелевшее дитя, бедное и голодное, запоминало жизнь.

Комполка Верикайте отрядил для конвоя полроты солдат с целым эскадроном всадников. Дороги еще лихорадило от злых людей, да и добрые люди в те времена были опаснее тех, кого в Европах зовут хулиганьем и апашами. Впрочем, Сима знала, что даже если напали бы бандиты, то не освободили бы — изнасиловали разве что. Внизу живота зажглось неприятное, совсем несвоевременное желание, от которого девушка вспомнила папашу с ненавистным хутором. Вспомнила всех зеленых, красных, белых, оборванных и грязных, бесцветных и почти черных, которых пришлось ублажать, лишь бы они ничего не сделали дорогому тятю. А тот не нашел ничего умнее, как отплатить дочке своей смертью. И никуда Сима больше не дойдет: ее уже везут, да не в Москву, а в место ей под стать, в лагерь под открытым небом, к тому же не так далеко от ненавистного Рассказова, где отец открыл с купцами питейную лавку. Жизнью на нее потратился, верил, что его тоже в миллионах считать начнут. В итоге всю свою мечту на водку спустил.

Песчаное марево заслоняло солнце. Всадники и не думали сойти на обочину, отчего пыль, сшибаясь с топотом, обволакивала все вокруг. Мальчик, который охранял девушку, не выглядел злобным. Был у него патронташ, винтовочка, обмотки на толстых, чуть опухших ножках, а злости в пареньке не было. Впрочем, не было и доброты. Если не бесцветным был солдатик, то серым, самым обычным, не то чтобы нашим, однако и не их. Такие люди чаще всего переходят линию фронта, а потом еще раз, покорно увязавшись за новым знакомым.

— Солдатик, а солдатик...

Федька Канюков посмотрел на еврейку. Когда его определили в конвоиры, комсомолец не переживал. Все равно вернется к скуластой Арине через денек-другой. Глядишь, не найдет девка нового хахала, да и Гришка Селянский ожить не успеет.

— Солдатик... Дай попить!

— Нет у меня попить. Сиди давай, не положено разговаривать.

— А кто услышит?

На телеге их мог подслушать только возница, но он был очень стар и, наверное, думал, что везет праведников к апостолу Петру. Возница чихал от пыли. Красноармейцы подняли воротники, прищурили глаза и не смотрели на подводы.

— Чего тебе? — подумав, спросил Федька.

— Мне? — Сима осторожно подвинулась к парню. — Тебя.

— Ась?

— Понравился ты мне. Хочешь, поваляемся?

— Ты это чего?

— А ничего. Тошно мне. Жизнь кончается, любви хочу.

Федька поудобней перехватил винтовку. Так, на всякий случай, чтоб было сподручно пальнуть девке между ног — пусть ублажает свинцовую пулю. Пахло от пленницы хмелем и крепким крестьянским потом. Язык трогал щелку в треснувшей губе. Тонкими руками, по которым густо пробежал темный волос, арестованная чуть-чуть приподняла юбки. Из-под замызанной одежды посмотрел на Федьку первобытный грех.

— Что, солдатик, совсем не хочется? Ты посмотри на меня, разве не хочется тебе женщины? Парной, теплой? Я ведь на бражку похожа: один раз попробуешь — сразу захмелеешь. Очень хочется любви. Как в книжках хочется. Ты читал, солдатик, книжки?

— Ну, понимаю немного. Показывали в Пролеткульте брошюры...

— Значит, поймешь, — шептала Сима, и пыль скрипела на зубах. — Ведь в любви главное, когда не тебя выбирают, а ты. Я хочу выбрать, сама хочу. Понимаешь, солдатик? Того хочу выбрать, кто мне нравится. Вот ты мне приглянулся — тебя и хочется. Ночь будет длинная, ты приходи, приляжем в солому.

— Ну тебя! Поди, сбежать хочешь? Наговоришь с три короба, а того, кто уши развесил, потом и дерут.

Сильнее приоткрылась Сима, откровенней заскрипела на зубах дорожная пыль.

— Солдатик, так я тебе не нравлюсь?

— Не солдатик я! Рабочий с текстиля в Рассказове. В продотряд от предприятия попал.

— Так нравлюсь?

— Нравишься, да не положено, — неохотно признался Федька. — Вдруг я на тебя, а ты сбежишь?

— Не сбегу, милый, не сбегу!

Мелькнула в голове шальная мысль: а что, если взять девку прямо здесь, на подводе? Зарыть арестованную в солому и поупражняться перед житьем-бытьем с Ариной? Ее Гришка, поди, как следует воспитал. Истомленные мальчишки и не проснулись бы. Тем более узница была ладная, стройная, без голодной полноты. В рассказовском кабаке Федька не раз слышал от рабочих, что еврейки с виду тихие, но в постельных делах слаще жидовочек никого нет.

— Да что это я в самом деле! Точно торгуюсь. — Федька замялся. — Поклянись, что не сбежишь!

— Чем же мне клясться?

— Не знаю. Я никогда не клялся.

— Бестолковый у нас разговор, — вздохнула Сима.

— Почему?

— Да вот так всю жизнь проговоришь в дороге, и кажется, что ехать еще далеко-далеко, а не успеешь оглянуться, как пора вылезать. Я вот с кем в своей жизни только не говорила... Думаешь, я потаскуха? Да

хоть бы и так. Не нравилось бы — не давала бы передок щупать. Всегда ведь можно было сбежать... По телу мне мое ремесло. И ты нравишься. С тобой я тоже хочу. Но... это ведь как шажок, как испытание. Предбанник темный. Входишь в него грязненький, а потом в парилке облупиваешься, как яичко. Чисто-чисто сияешь. Вот я так же хочу. С большой тайной столкнуться, большие города увидеть.

— До Сампура часок остался, — рассеянно сказал Федыка. Он не любил непонятных слов. — К ночи доедем.

Подвода подпрыгнула на колдобине, и в соломе застонали очнувшиеся мальки. Значит, и вправду спали. Девушка ушла в себя. Каныкову лицо Симы показалось знакомым. Огромные черные глаза, распухшие от пыли. Нос правильный, прямой, совсем не загнутый, не восточный. Худющий рот, точно не хотела девушка отпускать в мир лишнее слово. Все в пленнице было узнаваемо, кроме совокупного телосложения. Вроде бы Федыка видел ее, еще когда был мальчиком. Только вот где — никак не приходило на ум. Может, в рассказовском кабаке?

Даже во время германской в питейном доме можно было купить вино. За ним Федыку частенько посылали старшие рабочие. С каждым военным годом их ряды истончались: кого отправили в пехоту, добывать славу генералу Брусилову, кто уходил на натуральное хозяйство в деревню. Федыка Каныков постепенно возмужал и уже в годину Октября сидел вместе с остальными тружениками за кабацким столом. В Рассказово тогда прибыл большевик из Тамбова, некий Вальтер Рошке, уполномоченный организовать в рабочем поселке восстание. Выглядел социал-демократ бледно. Огонь в Рошке горел совсем зеленый, почти как в Федыке, отчего парень немножко завидовал молодому коммунисту. Тот был старше-то лет на пять или шесть.

— Товарищи, не надоело вам батрачить? Не надоело, что хозяева деньги пускают не на школы и больницы, а на моленные дома?

— А чего предлагайти? — лукаво слышалось в ответ.

— Революцию. Петроградские рабочие, тамбовские, рабочие всей России уже добились свободы. Мы поможем вам оружием, организуем Советы. Свергнете фабрикантов и заживете по справедливости.

— Так есть тут Советы. Там толкуют против революции.

— Это неправильные Советы, эсеровские и меньшевистские, стоящие на контрреволюционном пути.

— Чего?

— Они хотят, чтобы вы навечно остались в рабстве у фабрикантов. Что, штрафы они с вас не драли? Не калечились на производстве товарищи ваши? Рабочая буржуазия вас не угнетала?

— Господа Гервасии всегда нам помогали. Пенсии, выплаты, вспоможений было немало. Детишек в школу прибрали. Больничку выстроили. Грешно на них плохо думать. Дай бог им здоровья. Особливо Силе Степановичу, благодетелю. Вы лучше, товарищ немец, скажите, в чем нам выгода, если мы хозяина вскрыем?

— Да как же! Он перестанет из вас кровь сосать, а мастеровые по шапке бить.

— Так он и не сосет, вот те крест, товарищ немец. Да и мастеровые с нами как с братом обращаются. Ну... прикрикнут порой, но и в семье без наказа никуда.

Долго спорили рабочие. Они слушали агитатора напряженно, понимая его умственное превосходство, от неуверенности пили, со временем же осмелели, переглянулись победно, мол, можем и мы, мужичье, городского прижать, да стали наседать на юного большевика со всех сторон. Живем неплохо, получше других, обеспечение имеем и пенсион, а если переходим тайком в древлеправославную веру, то и совсем живем на широкую ногу. Смеялись рабочие: «Какой же нам, текстильщикам, интерес к революции? Что она нам, красные портки сошьет?»

— А земля? Земля у кого? У помещиков-февралистов! А эсеры не дают ее перераспределить по совести.

— Чего нам земля? Мы люди рабочие. Не поле пашем. Или ты хочешь, чтобы после станка мы еще грядку с редисом пололи? Не, брат немец. Работы нам и так хватает.

Рошке убеждал, что при большевиках будет раздолье — свобода собраний, совести, личности, за что он ручается головой.

— А чаво, — спросил охмелевший рабочий, — если мы станем при новой власти бунтовать, скажем не понравится нам чужая рожа, вы нас казачьими нагайками не отхлещете?

— Казаков не будет. Вместе с нагайками. Фабрика перейдет в рабочие руки. Станки должны принадлежать тем, кто на них работает.

— Да на кой эта фабрика? На кой ляд станки? Они что нам, жрать приготовят? И так все хорошо.

— Товарищи...

— Да какой ты нам товарищ? Ты же говоришь точно свечу задули. Ни бельмеса не понимаем. Кота за хвост тянешь. Тебя русским языком спрашивают — как нам лучше будет? А ответить не можешь. Вот и весь сказ.

— Товарищи, сам Ленин говорил...

— Что нам твой Ленин? На нем волки срать уехали.

К столу подошла невысокая фигура. Волос темный, глаза тоже темные. Про душу сделайте выводы сами. Улыбнулся человек выбитыми зубами. Спросил: «Можно?» — и тут же присел. Мужики зло поглядели на гостя, но ничего не сказали.

— Меня, тась коммунист, Григорий зовут. Селянский. Может, слышали? Нет?.. Меня давно местный буржуй обидел. Вис, зубьев нет? Это он мне прямо на рабочем месте пообломал. Говорит, работать не хочес, сукин сын? Дай я тебя научу! Теперь я его хочу научить по справедливости.

При виде пострадавшего рабочего класса Рошке воодушевился. Заговорил, замахал руками, в порыве энтузиазма попытался даже обнять Гришку, однако тот элегантно отстранился.

— А потом он меня в тюрьму упек. Я по царевым темницам поскитался, жизнь повидал. Мужичье не понимает, сто попадес в кандальную — свах, морду в касу превратят, а потом в парасу опустят — это у стражников забавы такие. Мне сей режим терпеть резона нет. Так сто, тась коммунист, отомстить я им всем хочу.

— Правильно, правильно, товарищ!

— Позвольте, тась коммунист, давайте для начала выпьем, а то на нас стукачи смотрят.

Сначала выпили по чуть-чуть. Потом больше. Затем больше или равно. Наконец, очень и очень много. Разговорились. Больше подсело к столу мужиков. Послали еще за ведром и теми, у кого смена кончилась. Рошке тоже выпил, хотя и брезгливо смотрели в водку круглые очки. Вино выбило из Рошке обиду, что послали его, блестяще образованного человека, в поселок, стоящий далеко от путешествия из Петербурга в Москву. Дело коммунизма вершилось вдоль железной колеи, в депо и в топке локомотива. А здесь? Здесь кабак и красные рожи рабочих. И ладно бы красные от революции — так нет, пьют мужики сектантскую самогонку и в ус не дуют.

— Товарищи... послушайте... Необходимо выдрать эсеровский чертополох из тела нашей революции, иначе Антанта и германец дудшат!..

— Пей! Чаво ты орешь? Пей давай! Царька и так нет, чаво ж недоулен?

Через час Рошке напился вдрызг. Кабак пел удалую разинскую песню, которой с трудом подвывал молодой коммунист. Он слабо разбирался в происходящем, но помнил, что еще в трезвом уме сошелся с каким-то шепелявющим пареньком. У него был очень простой план. Рошке доставляет в Рассказово оружие, а дальше дело за Гришкой. Хватило бы десятка револьверов и нескольких винтовок. Требовалось также немножко денег из партийной кассы.

В условленный день в питейном доме собрались рабочие. Заперли двери, чтобы стражники не вломились. Вальтер Рошке говорил, потел, боялся и снова говорил, хотя его слушали невнимательно. Рассказово — село богатое, промышленное, имеет от роду больше двух веков. Тут рядом Емелька Пугачев хоронился; рассказовских жителей всемирной историей не напугаешь. Стыдно было молодому немцу за прошлую свою резолюцию — пунцевели круглые очки. Старался Рошке говорить ярче, громче, и все больше брала его злость: рабочие напомнили ему поволжских родных. Вместо того чтобы внимать учению Маркса и Ленина, они предпочитали власть календаря и капиталиста. С понятным распорядком угнетения, годовщину которого можно обмыть в кабаке. Как же решительно и жестоко должна действовать революция, чтобы искоренить раболепие! И как быть, если рабочие плюют в ладонь, которая протягивается к ним на помощь? Рука Рошке сама собой сжималась в кулак. Что же, если народ смеется над революцией, то, видимо, перестанет зубоскалить только

тогда, когда она обернется к нему со всей строгостью. Только так можно воздвигнуть дом народного счастья помимо его же, народного, упрямства. А если не хочешь или боишься — вставай под косую линию, которая уравнивает в правах с юнкерьем и попом-расстригой.

— Товарищи, послушайте! Я хочу вам сказать...

— Заткнись! Почешите агитатору жопку граблями — и без сы-цы-алистов жизнь на Руси есть!

— Товарищи!.. — И кулак Рошке больше не разжимался в ладонь.

Гришка Селянский действовал иначе. Наливал, без усталости таскал бутылки, чайники и ведра, подливал страждущим еще и еще, кому надо — отвешивал подзатыльники, заводил разбойные песни — и через час водка доказала учение Карла Маркса: выплеснулась из дверей кабака пьяная толпа. По стражникам выпалили из револьверов. Попали не сразу, но главное ведь не победа, а участие. В спокойном селе и охраны толковой не было. Разве что крепкие мужики на службе у Гервасиев. Однако как только раздалась на улицах Рассказова пальба, так их и след простыл. Гришке с Рошке и несколькими идейными коммунистами удалось направить толпу к богатым домам, милицейскому участку, туда, где нужно было громить и захватывать.

Под хлопанье ставней бунтари орали зеленую песенку:

Разгромили все трактиры,
Золотистый, золотой.
Мы зовемся дезертиры,
Ты в окопы, я домой...

Силы милиции вскоре были рассеяны. Меньшевицкие и эсеровские дружины оказали вялое сопротивление, а позже и сами втянулись в долгожданный грабеж. Высаживали окна и сбивали прикладами засовы: то новая власть пришла, нужно было двери отпереть для переучета общечеловеческих ценностей. Рабочий народ оставлял производство и бежал на шум. Кто качал головой, а кто, не будь дураком, присоединялся к погромщикам.

Федька Канюков остался в стороне от бунта. Он и не пил особо. Чего ему пить? Это же Федька Канюков. Если распяется в народе жажда подвига, лучше отойти в сторону, а то зашибут. На историю лучше со стороны смотреть — так оно целее выходит. Тогда и увидел Федька, как уматывают из села почтенный господин с дочкой. У девочки были черные-черные, большие испуганные глаза.

Революция вроде как социалистическая, но погром — он всегда еврейский.

(Окончание следует.)

Ольга АНИКИНА

ОБЛЕПИХОВЫЙ СВЕТ

* * *

На самом дне в глубоком котловане
я привыкала к правде забыванья.
И вот — о чудо, все произошло.
Меня забыли раньше, чем могли бы,
сквозь это тело проплывали рыбы,
как световые пятна сквозь стекло.

Поверх меня чертили локсодромы,
летали птицы и кружились дроны,
потом была проложена лыжня.
Так я сливалась с медленным повтором,
с движением и голосом, в котором
ни слова не осталось от меня,

лишь совпаденья проступали дробно.
Но помню я, как в ужасе утробном
рвала ногтями дерн и чернозем,
как, принимая черноту эвгленью,
притихшая, привыкла я к забвенью,
чтоб больше не печалиться о нем.

* * *

В промежутки между дождями,
так похожий на щель в заборе,
пролезаю, слегка пригнувшись —
попадаю на берег залива.

Среди сосен и дюн шуршащих
то и дело мелькают чайки,
и крикливые трясогузки
перламутр поддевают клювом.



Переваливаясь, старуха
возле кромки воды проходит
в темно-сером плаще, как птица,
одряхлевшая в эту осень.

Уходя, еще замечаю
кем-то брошенный желтый сверток.
Подхожу — а там хризантемы.
Значит, бросила. Нет, не любит.

По песку я бреду обратно
к той заветной дыре в заборе.
И пригоршня песчинок мокрых
мне на плечи сыплется с неба.

* * *

Я помню дом, я помню имя,
кроватки детской легкой скрип,
как в наплывающей теплыни
висел заката чайный гриб,

как в сонном прятались пробеле
ночные точки и тире,
как на огне, дрожа, кипели
картофелины в кожуре.

Я слышала о Божьем гневе,
держась за тихое житье,
и было стыдно мне, как Еве,
за это счастьеце мое,

что, словно платъице, носилось
и было правилом игры,
как незаслуженная милость,
не отнятая до поры.

Взгляд

...Еще в окно я вижу ветки.
Еще зеленый клавесин
Свою наигрывает фугу
И хроматической спиралью
Секунды желтые летят.
И мне б осыпаться вот так.



Но нет — я медлю. Это блажь,
Но я хочу дослушать коду,
Простой заученный повтор.
Я занимаю весь партер,
Поскольку старость протяженна,
А я еще внутри нее.

Но, видит бог, я не уйду,
Пока не почернел в траве
Последний плод, упавший летом,
Пока, во влаге истлевая,
На землю стебли не легли —
И эти струнные, и трубы.

Пока зеленый клавесин
Не сделался совсем невидим
И весь не превратился в звук,
Пока дыхание способно
Так незаметно разделяться
На выдох, вдох и тишину.

* * *

Над старой канавой пырея густые вихры,
мои маргаритки, мои золотые шары,
ивняк серебрится над заводью, сторблен и сед,
горячая память, глухой облепиховый свет.

О дым погребальной сирени, сиреневый дым,
скажи мне то имя, которое было моим.
О маковый ящер, ты держишь мой голос силком
на угольном шелке под алым своим языком.

Ни слова не слышу, сияет зрачков чернота,
в закопанных бочках в саду замерзает вода,
на этой земле, и никак меня здесь не зовут,
где травы бледнеют и бурые пятна текут.

Верни меня, дом мой, в свои ледяные круги,
кликни меня, звоном яблочным, громом ирги,
своим чечевичным, горелым, пустым забытьем
насильно меня накорми на пороге своем.

* * *

И человек, шагнувший внутрь стены,
и птица в ожидании испуга,
и скомканная ветوشка луны,
хранящая черты былого круга,
и трещина на косточке ключа,
что так воспалена и горяча,

и каждый страх, утробный, ножевой,
рожденный в темноте своей безликой,
в какой-то миг —
становятся травой,
укропом, водосбором, повиликой.
Фиалка, фенхель, рута, розмарин,
и каждый зыбок и неоспорим.

И страх выходит горлом ветровым
из сокровенной земляной каверны
и остается в шорохе травы,
в беспамятстве ее закономерном.
Среди стеблей заметную едва,
прости, благослови меня, трава.

* * *

Когда уходит человек
и комната гудит, немая,
ты в ней стоишь, осоловев
и ничего не понимая.

Но сразу замечаешь ты,
как всюду возникают сами
полупрозрачные следы
его нечаянных касаний:

салфетка, ручка, метроном
и чашка со следами чая.
Ты слышишь где-то за окном
ветвей неясное качанье —

их тронул человек живой.
Коснулся и ушел, уехал.
А в комнате такое эхо.
Такое эхо, боже мой.

Сергей БУРЛАЧЕНКО

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Р а с с к а з ы

Сорок на пятьдесят

Весною в городе пахло будущим летом, воздушным солнечным золотом, а звуки напоминали веселую речь иностранца. Она непонятна и потому похожа на укутанное в слова молчание.

Ливушка выходила вечером на балкон и слушала апрельскую тишину. Пальцами, как крепкие карандашики, она пощипывала мочку уха, прислушивалась и принималась. С детства у нее такая смешная привычка: морщить гладкий красивый носик и вдыхать по-собачьи запахи. Небо пахнет свежими васильками, клен у подъезда — засохшими булочками со сладкой маковой начинкой, стекла окон в доме напротив — подтаявшим снегом.

Мама смотрела на Ливушку, морщившую носик, и улыбалась: «Моя дочка идет по следу».

— Не смейся надо мной!

«Что ты! Я тебе помогаю».

— Когда найду то, что ищу, я позову тебя первую.

«Надо дожидаться. Я тебя обязательно услышу».

В день маминых похорон с утра светило солнце, а потом пошел дождь. Солнце и дождь ничем не пахли. Пахло черной сырой землей, которую жирно резали лопатами. Мамина могила представлялась Ливушке внезапной остановкой на длинном, бесконечном пути. Вот-вот стихнет траурная музыка, закончатся речи и они с мамой пойдут дальше.

Даже сейчас, восемь лет спустя, вечером на балконе она слышала запах ее шагов. словно ноздрей коснулся свежий ветерок, вылетевший из крепкого сочного леса.

В этом году Ливушке исполнилось сорок лет и в ее карих глазах появилось выражение тревоги. Об этом сказал приятель Тютрюмов, художник и неунывающий оптимист. Он писал пейзажи, и Ливушке всегда казалось, что она слышит запахи, которые источает река, лес или цветы на его молчаливых картинах.

Она долго не могла понять: ей нравится больше Тютрюмов или его пейзажи? Его спокойный голос, уверенные руки, приветливое лицо оку-

тывали ее легким облаком чувственного томления. А простые картины напоминали детские мечты, которые волнуют своей забытой наивностью. Выбор затягивался. Ливушка не могла решить: что здесь важнее? Пока однажды не поразилась маленькому открытию. Ей нравилась она сама, нравилось, как она ошеломлена этим выбором и парит благодаря ему на качелях. Вверх — Тютрюмов, вниз — нарисованные живописцем сосны. Или наоборот: вверху зимний пейзаж, а внизу художник.

И она успокоилась. Тем более что Тютрюмов написал ее портрет. Ведь это была новая высота, куда вознеслись качели. Ливушка очень ждала, как он передаст тревогу в ее глазах. И не поняла замысла художника.

Портрет был небольшой, сорок на пятьдесят сантиметров, выполненный маслом. Мастер преподнес его своей подруге в годовщину их знакомства. Ливушка была изображена весьма точно, но без эмоций на лице и без возраста. Девочка-женщина, рассматривающая что-то за рамками портрета. Выражение глаз скрывали очки, которые в жизни она надевала редко — когда хотела казаться серьезной.

— Тебе нравится? — спросил Тютрюмов.

— Господи, конечно! — Она всплеснула руками. — Только зачем очки?

Художник задумался.

— Редкое сочетание вечной наивности и женской зоркости, — наконец сформулировал он.

«Значит, у него свои качели, — подумала Ливушка. — Ну и бог с ним, он талантлив, пусть пишет как хочет».

Фраза о тревоге в глазах быстро забылась. Скорее всего, ничего такого и не было, подытожила Ливушка. Но стала реже заглядывать в зеркало.

В тот день к вечеру пошел сильный дождь. Шум падающей с неба воды источал запах крепкого мужского тела. Ливушка мелкими шажками бежала от остановки троллейбуса к дому и вздрагивала, когда мокрые капли попадали ей на лицо и руки, охлаждали и одновременно обжигали кожу.

В подъезде было темно, лампы на этажах не горели. Ливушка взлетела на свой пятый и различила у окна мужскую фигуру. Неизвестный в короткой куртке стоял спиной к ней, подтянутый, с ровными плечами, прямой осанкой и правильными, как у балетного танцора, ногами. Даже подъездный мрак не мог скрыть этого великолепия.

Ливушка замерла на последней ступеньке. А вдруг это наркоман или насильник?

Он обернулся. Лица она, само собой, не разглядела, но ей понравился скрип кожаной куртки и спокойствие неизвестного. В голове все понеслось куда-то в сторону, и Ливушка пролепетала:

— Тютрюмов? Ты чего здесь?

— Смешная фамилия. Только я Ларькин.

— Тоже смешно.

— Почему?

— Как недостроенный магазин. Ларек с низким окошком.



Ей на самом деле становилось все веселее и веселее. Мужчина был безопасен, она это почувствовала, а голос как у давнего знакомого, к которому так приятно ходить в гости или приглашать к себе на праздники. Мужчина выговаривал букву «у» как «ю», а «о» было похоже на «ё».

Надо было идти в квартиру, замерзали промокшие ступни, и сырые волосы на голове требовали немедленной сушки. Однако Ливушка сама не понимая чего ждала от стоявшего у окна Ларькина.

Он отвернулся, скрипнув курткой, и заговорил. Она слушала, немного волнуясь и в то же время заинтересовываясь происходящим с присутствующей ей наивностью.

— Шел мимо вашего дома и вдруг нырнул в открытый подъезд. Поднялся сюда, на пятый этаж.

Голос у Ларькина был спокойный, но как бы уставший. Она подумала, что у мужчины или что-то болит, или с кем-то из близких случилась беда.

— Встал здесь. Задумался... Вы не обращали внимания, что человек у окна вызывает тревогу или необъяснимую печаль?

— Нет.

— Или мысль о загадке?

— Да, наверное. Во всяком случае, силуэт у окна что-то значит.

— Но это иллюзия. Просто воображение работает и заколдовывает зрителя.

— Понятно. То есть вы хитрец, расставляющий ловушки доверчивым зрителям?

Ларькин ничего не ответил.

Темнело. Тишина лестничного пролета и слепой блеск окна пахли старыми книгами, давно забытыми на книжной полке и никем не читаемыми.

«О чем я думаю?» — удивилась Ливушка.

— Я знаю, о чем вы думаете. О прошлом, которое не находит дорогу к настоящему.

Она вздрогнула и переспросила:

— О чем?

Мужчина повернулся и вдруг начал рассказывать историю о какой-то девочке, которой было хорошо в детстве и которая больше всего на свете любила цветы и деревья в лесу. Те и другие казались девочке друзьями, тянувшимися к ее глазам и ушам, чтобы поведать красивую и добрую тайну. Подрастая, она стала замечать, насколько окружающие люди безжалостны к цветам и деревьям. Как защитить своих друзей? Как дослушать их рассказы о великой тайне? Девочка выросла, из жизни уходили близкие люди, их никто не мог заменить, а вот вместо увядших на клумбе цветов и старых деревьев в лесу вырастали новые. То есть все в жизни шло обычно и все было не так, как должно быть. Выросшей девочке хотелось, чтобы эта карусель крутилась по-другому, но подсказок от жизни не было. Она продолжала забирать самое дорогое, оставляя совсем не нужное. И стало понятно, какая это жестокая и равнодушная карусель. Смертельная механическая игрушка.

И девочка в конце концов почувствовала серое одиночество, к которому всякого человека приводят загадки без отгадок.

«Скоро, очевидно, начнут исчезать и звуки, полные никому не ведомых запахов».

— О чем вы говорите? — воскликнула она, осознав, что последнюю фразу незнакомец произнес вслух. Это была ее мысль, откуда-то известная непонятному Ларькину.

— Счастливые люди, вроде вас, по ошибке считают себя несчастными. — Он сказал это уверенно, как похожую на круг или квадрат аксиому, фиксирующую, что дважды два — четыре.

— И что делать?

Ларькин устало вздохнул:

— Почему бы однажды не поменять то, что понятно, на неизведанное?

— Как?

— Пригласите меня к себе домой.

Ливушка невольно сделала шаг назад, словно от резко полыхнувшего костра.

— Не надо думать о всяких глупостях. — Мужчина как бы scomандовал и даже не поинтересовался реакцией девушки. — У вас дома много картин вашего друга, художника?

— Вани Тютрюмова?

— Именно. Я покажу вам кое-что на одной из них.

— Где?

— На вашем портрете.

В квартире Ливушка зажгла свет и быстро скинула промокшие туфельки. Ларькин разулся, повесил кожаную куртку на плечики, вежливо ждал. Девушка рассмотрела его красивые темно-каштановые волосы с проседью и полные внутреннего жара, почти черные глаза. Вообще, лицо у гостя было как будто давно знакомое (но так ведь и сразу показалось!) и очень легкое.

Она нацупала тапки, надела их, потом стала искать на полочке что-нибудь подходящее для мужчины. Однако Ларькин ушел уже в большую комнату, тапки его не интересовали.

Ливушка поспешила за гостем, внезапно подумав: «Тишина в коридоре после него пахнет моими духами. А я ими сегодня не пользовалась. Наваждение какое-то!»

Гость стоял, сложив руки на груди и забросив голову назад, перед висящим на стене портретом. Тем самым, подаренным год назад. Ливушка опять подумала малюсенькую глупость: «Словно он стоит здесь давным-давно, лет пять или десять. Кажется, я ненормальная!»

— Идите сюда, — позвал мужчина и, дождавшись, когда она встанет рядом, продолжал: — Так я и думал. Холст, масло, сорок на пятьдесят.

— О моем портрете?

Ларькин неожиданно сказал: «Браво!» — и стал кружить по комнате. Девушке нравилось, что он так кружит, потому что портрет его взволновал, он не скрывает этого, не демонстрирует, а просто-напросто переживает искренний восторг. Но что говорить, она не знала, поскольку портрет был ее и разговор о самой себе казался ей невежливым.



— Мне пятьдесят лет. — Гость стоял напротив, очень близко, и глаза его разгорались все туманнее. — А вам?

— Мне? Сорок.

— Сорок на пятьдесят. Холст, масло. Понимаете?

— Что?

— Что вам и мне сорок и пятьдесят лет. Масло ложится на холст. Метафора, образ, иносказание. Ваш Тютрюмов — волшебник. Он все зашифровал для вас и для меня. Нам надо взломать, прочитав этот код и быть вместе.

— Вы сумасшедший?

— Я верю в художественное чудо. А вы?

— Наверное, я вас не понимаю!

Мужчина подошел к портрету и поднял к нему руку.

— Сейчас объясню. — Он торопился говорить, и Ливушка заметила, что он волнуется. — На портрете вы смотрите вправо, будто видите что-то там, за рамкой. Я гляжу на портрет и пытаюсь понять: что же привлекло ее внимание? Для зрителя естественно, когда взгляд обращен к нему. Тогда через себя зритель понимает нарисованное и, наоборот, через портрет — лицо, глаза, настроение — понимает себя.

— Как-то сложно.

— Стандартный прием. Например, портрет чаще всего рисуется с поворотом головы направо. Если художник пишет голову с разворотом влево, это тревожит зрителя. Потому что такой взгляд необычен.

Девушка тоже начинала ощущать волнение. Оно было таким странным, утробным, то есть рождающимся не в голове или груди, а почти в животе. Оно приятно растекалось от ягодиц к пояснице и разворачивалось в животе теплыми волнами. Еще ей показалось, что у нее начинает полыхать кожа на ногах и краснеют колени.

Ларькин снял портрет со стены и поднес ближе к ее лицу.

— Вы что, близорукая? Плохо видите?

— Нет.

— Тогда зачем очки?

— Ну, как бы образ романтической и зоркой природы.

— Какая чепуха! Ваш друг Тютрюмов просто отвлек ваше внимание. Вы ему нравитесь, и он не хотел, чтобы вы до конца поняли идею портрета. И поняв, тем самым изменили бы художнику.

Ливушка чувствовала, что с трудом держится на ногах и, кажется, не понимает слов своего гостя. Ее окутывал туман его черных глаз и бередил глубокий голос.

— Перестаньте, пожалуйста! — В ее голосе была неуверенность и просьба о продолжении.

Мужчина развернул портрет к себе и слегка прищурился.

— Знаете, на кого вы смотрите там, за рамкой портрета? — Он заговорил тихо, словно не желая испугать кого-то невидимого за рамкой. — На меня. Там стою я, вы видите меня — в вашем подъезде у окна, в черной кожаной куртке и внимательно вас рассматривающего. Великолепно, да? Сорок на пятьдесят. Вы смотрите на меня, а я на вас. Но вот рамки

ломаются, холст рвется, мы бросаемся навстречу друг другу и, обнявшись, замираем в тишине, пахнувшей нашим горячим дыханием.

Они целовались долго, с упоением и осторожностью. Ливушке нравились его очень аккуратные губы, неторопливые и как бы вкрадчивые. В этой вкрадчивости грозовой лиловой тучей набухала чувственность. И еще девушку волновало ее собственное дыхание, невероятно длинное, упругое и сочное, складывающееся в жаркую бесконечность из коротких, как блеск возбужденных глаз, молний.

Потом она вырвалась из его теплых и сильных рук и сбежала в ванную. Время ушло прочь и не хотело возвращаться. Плохо помня себя, Ливушка сбросила тапки, мокрую одежду, ставшее вдруг липким тонкое белье, включила воду и встала под шелестящий отчаянно душ. Голые плечи сосала, точно сказочная добрая змея, струя воды, она стекала игристым прозрачным вином по бедрам и зеркально пузырилась вокруг пальцев ног.

— Сорок на пятьдесят... Сорок на пятьдесят... Сорок на пятьдесят... — Ливушка не слышала своего голоса за хлестким водопадом душа. — Хулиган Тютрюмов... Волшебник Тютрюмов... Гений Тютрюмов!

Ей казалось, что она смеется, хотя на самом деле она плакала и давилась сладкими и горячими слезами, как пятнадцатилетняя дурочка.

...Утренний свет не отрезвил ни ее, ни гостя. Кажется, было кофе, следы укуса на плече, возможно, даже выкуренная сигарета. Звонил телефон, кипит от собственной настырности и бестолковости. Ливушка думала о том, что надо вставать и ехать на работу, но все это было так неважно, так нелепо, так глупо и так далеко.

Проснувшийся Ларькин хорошо сказал:

— Доброе утро, Ливушка!

Ну да, а потом чуть ли не до крови укусил ее в плечо! Она взвыла по-кошачьи, рысью набросилась на мужчину, и оба больше часа душили в объятьях, рвали и мяли друг друга прямо в постели. Какая могла быть после всего этого работа?

На портрете ее лицо в копне белых волос теперь смотрело прямо. Очки пропали. Это было так странно и в то же время так ясно и очевидно, что не хотелось рыться в рухляди и тряпье возможных объяснений свершившегося чуда.

По потолку, клубящемуся и словно набирающему воздуха для дыхания, мягкоплыли солнечные лучи. Она лежала у него на плече и любовалась золотым цветом обычно белого и плоского потолка.

— Поедем в воскресенье на могилу моей мамы? Я хочу, чтобы она услышала, как я счастлива.

Он кивнул. Она вдруг взволновалась:

— Слушай! Как ты вчера сказал?

— О чем?

— О понятном и непонятном.

Он обхватил ее правую бровь губами и что-то произнес.

— Что? — Она отстранилась от его губ и сверкнула глазами. — Я не расслышала.

Он стал серьезным и медленно повторил:

— Почему бы однажды не поменять то, что понятно, на неизведанное?

— Вот что! Понятное на неизведанное... — Она почти вздрогнула. — Я так счастлива, веришь?

Он вновь кивнул. Она вздохнула и опять легла к нему на плечо. Белокурая девушка на портрете, сняв ненужные очки, смотрела на них прямо и совсем равнодушно. Наверное, она устала всматриваться туда, за рамку, и теперь, дождавшись свободы, отдыхала.

По потолку продолжал плыть солнечный свет, и золота в комнате становилось все больше и больше.

От Севильи до Гренады

В августе Севилье Мокиной исполнилось двадцать два года. День рождения был хуже некуда. Месяц прошел после развода, двухлетняя Лиза подхватила в ясельках коклюш, а друг Антон Подоксёнов показал свою большую четырехкомнатную квартиру на Соколе, в которой они будут жить вместе с его бывшей женой и глухим папой.

— Зачем с женой? — расстроилась Севилья.

— Шура нам не помешает, — пояснил Подоксёнов таким тоном, который исключал дальнейшее любопытство. — Да и папеч к ней привык.

«Передайте невесте, что она подлец!» — вспомнила Мокина гоголевскую фразу. А она была как-никак в статусе невесты. Зачем же обострять, верно?

Собирать подруг на «днюху» в этом дурдоме не стоило. Но сели-таки, выпили, поплакали. Дочка ревела как сломанный трактор. Севилья носилась к ней в комнатку и обратно: кашель, температура, жар и пот в три ручья.

Бывшая жена Подоксёнова жарила на кухне рыбу. У папы орал в комнате телевизор. Гости сидели в спальне и страдали от запаха и грохота. Имениннице хотелось гнать всех вон, вывалить содержимое сковородки на голову хамке жене и разбить молотком папин телевизор.

Злость перемешалась с отчаянием. Севилья Мокина начинала подозревать, что это и есть горе.

Двоюродная сестра Регинка по кличке Большие Бигуди сказала, что у жизни нет дна, жизнь может ухудшаться до бесконечности. И теперь Севилья верила, что так и будет.

— Завидую я тебе, — внезапно почти вскрикнула тридцатилетняя Зоя, большая и белая, как булка со стола великана.

Плечи и бедра у нее росли каждый день с какой-то адской пышностью, юбки при движении оглушительно трещали, а туфли соскакивали с алых пяток и носами, будто клешнями, цеплялись за пальцы. Рядом с Зоей всегда было жарко и от ее тела пахло земляничным мылом. Одно время Севилья и Зоя работали вместе в магазине электротоваров и с тех пор продолжали дружить. Вернее, изображать заинтересованность, на самом деле наблюдая и отмечая каждая в своей голове, словно в тайном дневнике, кто из них в данную секунду несчастнее.

— Чему тут завидовать? — Мокина искренне не понимала по-дружку.

— Ты опять кому-то нужна. Для бабы это главное.

Из комнаты глухого папы раздался отчаянный и веселый вой. Старик пел с упорством и наслаждением смертника:

Гаснут дальней Альпухары
 Золотистые края.
 На призывный звон гитары
 Выйди, милая моя!

Всех, кто скажет, что другая
 Здесь сравняется с тобой,
 Всех, любовью сгорая,
 Всех зову на смертный бой!

Севилья зажмурилась и прошептала:

— Спятил старик!

— И давно? — спросила Разживайкина, бывшая одноклассница.

— Говорят, лет десять назад. Жена утонула во время отпуска.

— А он?

— Инсульт. Руки стали сохнуть. Потом оглох. Он же был музыкантом, играл в оркестре на гобое. Уволили, забыли.

— Запил?

— Говорю, оглох.

— И как ты с ним ладишь?

Именинница вытянула губы трубочкой, после чего неожиданно сказала неприличное слово. Подруги переглянулись, словно девушки на танцах. С удивлением и превосходством.

В дверь заглянула хамка жена:

— Камбалы не хотите? А то у вас праздник, а у меня три рыбины лишние.

Все промолчали. Подоксёнова пожала плечами и исчезла.

— Лично мне кажется, что жизнь ты себе окончательно испортила, — фыркнула вдруг Зоя-булка. — Когда вы жили с Эдуардом, у вас хоть что-то на что-то похоже было. Свекровь в банке работает, дачка неслабая и восемь соток под Лобней, джипок на ходу, дочь сообразили. Неужели нельзя было вот так?

— Как — вот так? — Севилья не поняла.

— Ну, не знаю. Потерпеть.

— Эд меня разлюбил. Каждый выходной где-то с друзьями. Или с какой-нибудь... Чего терпеть?

Разживайкина плотоядно улыбнулась.

— Эдик-педик. — После этих странных слов одноклассница сверкнула черными глазами и поправила лиф под платьем. — Он и ко мне клеился. «Жанетта, пора нам с вами уединиться. У меня вместо сердца вырастает голый кинг-конг. Хотите, покажу?»

— И про вас я все знала.



Черные глаза Жанки Разживайкиной округлились:

— Чего это — всё?

— Как ты с ним под Лобню на джипе каталась.

— Не было этого! Тебе наврали!

— Ну да, сам Эд и наврал.

— Когда это было?

— В июле это было, за год до Лизоньки.

— Вранье!

— Он мне селфи показывал. Как ты с ним в одних трусиках малину жрешь. Все сиськи в алых пятнах. А Эд тебя за ляжку щиплет. Пионэры!

Опять открылась дверь. Теперь в проеме стоял худой и несоразмерно своей худобе высоченный старик. Лысиной, широкой и пятнистой, как лежалая дыня, он почти упирался в притолоку, а ногами в пижамных голубых штанах и войлочных тапках защищал темнеющий сзади коридор наподобие легендарного вратаря Третьяка. Старик был задумчив, и мысль его казалась загадочной. Девицам, кроме Севильи, померещилось, что думает он о них, причем что-то нехорошее. Поэтому Регинка, Зоя и Жанка замерли в ожидании сами не зная чего. А именинница быстро вскочила из-за стола и ловко проскользнула мимо глухого в коридор. Она помнила, что надо присматривать за Лизой, и использовала паузу для этого.

Лиза в кровати не то спала, не то отключилась из-за высокой температуры. Севилья склонилась над дочкой и подумала: «Я не мать, а волчица. Потому что все в этой жизни против меня. Вот и я против всех. Что же, что же мне делать с Лизонькой?»

Больная вдруг несколько раз как-то по-комариному вздохнула и прошептала:

— Мама! Спинка бо-бо...

Севилья вздрогнула, словно увидела на стене паука. Ей одновременно было и жутко, и стыдно. Но слова тем не менее нашлись самые нужные, почти искренние.

— Хрусталик мой, капелька. — Мама неожиданно заплакала. — Ляг на бочок и поспи. А я рядом посижу. Потом врачака вызову. Он придет и тебя полечит. Спи, спи, моя изумрудинка.

В спальне зашумели. Выделялся голос Жанки. Она спорила со стариком насчет своевременности посиделок. Там упал стул, через секунду что-то ударило о стену. Все стихло. Севилья отвлеклась от дочки и прислушалась. Тишина была долгая, тревожная. Лиза что-то бормотала, однако маме было не до нее. Севилье представилось, что подружки завалили старшего Подоксёнова на пол и пинают ногами под ребра. Ей даже показалось, что она чувствует удары, точно товарки мутузят ее, а не глухого.

«Что со мной? — Севилья затрясла головой как в припадке. — Может быть, это я сама заболела, а не Лизонька? Зачем же они меня бьют?»

Тут затрепетала штукатурка, лопнула лампа в трехрожковой люстре и потолок, качаясь, поехал вниз. Севилья завизжала, прикусила нижнюю губу и склонилась над постелькой, в которой лежала больная дочка. Так

она сможет закрыть от ужасной гибели маленькое тельце, только так, решила она. Звать на помощь никого не стала. Надо как-то выкручиваться самой, спасти себя и Лизоньку, молча спасти — и все!

Пришла в себя Мокина на кухне. Здесь клейко пахло жареной рыбой, пол, на котором она растянулась, был ледяной, а табурет одной ножкой упирался в лоб. Но самое жуткое было то, что у раковины стоял глухой длинный старик и пил из-под крана. Он утробно глотал, и изо рта у него выкатывалось: «Бо... бо... бо...» Кровь пил, бьющую в стальную мойку из сверкающего хромированного излива, а не сырую воду. Ужас!

— Поднимайся. Сейчас чаю выпьем.

Над Севильей нависла Подоксёнова: она вытирала руки кухонным полотенцем. Ее зеленые глаза и розовый рот в виде маленькой галочки излучали спокойствие.

Именинница встала и почувствовала, что хочет в туалет.

— Мне бы... — Она кивнула в сторону двери с картинкой писающего мальчика в коротких штанишках и приспущенных чулках.

— Беги, беги! — Шура повесила полотенце на крючок. — Твои все ушли. Как ты в обморок грохнулась, девицы к дверям кинулись. Толстая, правда, какие-то таблетки для тебя в сумочке искала, но я ее тоже вытолкала.

Севилья долго сидела в туалете. Успокоилась, даже повеселела. И вдруг вспомнила про дочку и выскочила наружу с безумным видом.

— Опять что-то? — Бывшая жена разливала чай по чашкам и нарезала принесенный девочками торт.

— Лиза... Почему ее не слышно?

— Там с ней Назар Ефимыч. Все тик-так!

— У нее коклюш...

— Не надо только паниковать. Мы неотложку уже вызвали. Скоро приедет.

Пока пили чай, Шура что-то рассказывала, а Севилья ее не слушала, хотя все время кивала и вскидывала брови: да что вы говорите? разве такое бывает? и как после этого жить?

Неожиданно Подоксёнова спросила:

— Вы любите Антона?

— То есть как?

— Если честно?

Севилья перестала думать про свое. Лицо у нее немного вытянулось и как бы посвежело.

— Он интересный, — сказала она.

— Я это знаю. Я о вашем сердце и о вашей душе. Это ведь другое.

— Господи, конечно!

— Понятно. — Бывшая жена произнесла это как доктор, не нащупавший пульса и убедившийся, что перед ним труп. — А он-то вас любит? Или тоже пока просто интересуется?

Севилья вдруг поняла, что вот эта зеленоглазая с миниатюрными розовыми губками считает ее недоделанной или вообще идиоткой, и резко сказала:

- Не это главное!
- Само собой.
- Главное, что мы с ним не хотим мешать друг другу.
- Что не хотите — мне ясно. А чего хотите?

Мокина вытянула губы трубочкой и еле-еле сдержалась, чтобы опять не выдать ругательство.

Шура терпеливо продолжала:

- Может быть, у вас с Антоном больше физическая, чем духовная близость, и вам нужен здоровый, продолжительный секс?
- Сыта этим добром по горло. Мне нужно побыть собой некоторое время. Не женой при муже, а самой при себе. Я хочу, чтобы мы с ним пока не мешали друг другу.

Подоксёнова задумчиво пила свой чай, потом покрутила пальцем у виска и сказала:

— Я поняла. Вы сумасшедшая, но прикидываетесь здоровой. Вас надо бы гнать отсюда взашей, да пока не за что. Ненормальность одних людей не есть повод считать нормальными других.

- Что-то я не догоняю.
- Жаль.
- А вы чего здесь живете? Проблема с жилплощадью?
- Мы, к сожалению, любим друг друга и все еще не можем расстаться.

— Так. А я вам не мешаю?

— Нам никто не мешает. Даже вы, Севилья. Не тот, простите, масштаб.

По правде говоря, тут должна была начаться склока. Севилья была уже на взводе. А устраивать кипеж она умела.

Однако появился глухой старик и с высоты своего гренадерского роста объявил:

— «Скорая» приехала! Вы что, глухие?

Севилья вскочила и помчалась в прихожую. Доктор и медсестра быстро и умело осмотрели Лизоньку. Выписали рецепт, порекомендовали питание, научили, как сбивать температуру, бороться с кашлем и чем поить девочку для укрепления организма.

После отъезда «скорой» Мокина почувствовала, что больше всего на свете хочет плакать и спать. Она переодела Лизоньку в сухое, перестелила ей постельку и решила, что все хорошо. Вот только бы еще выплакаться и выспаться. Прямо тут, на коврике у кровати!

Когда она проснулась, то оказалось, что лежит уже не на полу, а в двуспальной кровати. Рядом была примятая подушка и скомканное одеяло: значит, Антон пришел с работы очень поздно, перенес ее сюда, спал с нею вместе, а теперь встал и, наверное, принимает душ или завтракает. Севилье стало хорошо от этого предположения. Секунду спустя она вспомнила про Лизоньку, ойкнула, накинула халат и понеслась в детскую.

Дочка сидела в кровати, на ней был фартучек, а Шура кормила ее с ложечки кашей. Севилья застыла в изумлении, а Лизонька замахала ручкой и пропищала:

— Я ням-ням!.. Ка-фа!.. Сю-ся!

Последнее слово означало «вкусно». Мокина растерялась. Дуэт бывшей жены Подоксёнова и дочери не уместился в воображении.

— Вот и наша мама пришла, — раздольно пропела Шура. — Сейчас покушаем и будем с мамой играть.

И тут Севилья почувствовала, что у нее кружится голова. С бывшим мужем они были хоть и рядом, но никогда не вместе. А в этой огромной квартире совершенно чужие друг другу люди, получается, заодно? Как такое могло быть?

Севилья все-таки психанула. Ей вспомнились слова Регинки Большие Бигуди, что у жизни никогда не бывает дна и падение может быть бесконечным. Возможно, вот эта благодная картинка и есть то самое падение?

Она пошла пятнами от непонимания и злости, махнула рукой и перебежала в кухню. Антон пил кофе. Увидев невесту, похожую на нервную посетительницу зубного кабинета, он отставил чашку, поднялся и обнял ее.

— Все, все, все! — сказал он. — Носик вверх, губки бантиком, слезки в сушилку!.. Скажи «чи-из»!

Севилья прижалась к нему и затихла.

А из ванной комнаты, где приводил себя в порядок глухой старик, несло:

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается стук мечей;

Много крови, много песен
Для прелестных льется дам —
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь мою отдам!

На пороге кухни появилась Подоксёнова с Лизонькой на руках. Вид у них был таинственный.

— А у нас температура упала, — похвалилась Шура. — Что мы скажем маме?

Девочка хитро улыбнулась и пропищала:

— О-сё!

Что значило на ее языке «хорошо».

Жизнь достигла дна. Чудно, но теперь начиналось движение в обратную сторону. И если бы Севилья не стояла в обнимку с Антоном, то наверняка вновь упала бы в обморок.

Владимир БЕРЯЗЕВ

**ПУТЕШЕСТВИЕ
СКВОЗЬ ПУСТЫНЮ**

* * *

Я шагаю за белой стаей
По песку ползущих газет.
Клин гусиный летит в Патайю
Вслед за чувством грядущих бед.

Надрываются волны шумом,
И валы в нахрапе идут.
Тучам реющим и угрюмым
Чайки тоже кричат беду.

Ветер рвет края покрывала,
Кем-то брошенного в песке...
Света мало и горя мало,
Дайте горя моей тоске!

По причала скрипучим плахам
Выйду в море, где свист и гром:
Пусть идет все, что было, прахом,
Все, что будет, — горит огнем!..

* * *

Снежные змеи ползут через трассу
Наискосок.
Богу забава. Забота Минтрансу...
И на часок
Мне путешествие через пустыню
Белых полей.
Вновь, поспешествуя хмари и стыни,
Слезы пролей.

Душу не выплакать даже в дороге,
 Даже зимой.
 Эх, как привычны скрипучие дроги,
 Боже ж ты мой!
 Жизнь-покатушка — пока не в кювете —
 Далью жива.
 Долгом и болью за милых в ответе,
 Ведай слова.

Ибо пустого не переиначить
 Сутью пустой...
 Ехать и вновь да чего-нибудь значить
 С новой верстой.

* * *

Александр Радашкевичу

О период нежнейший, беспамятный, море- и миротворящий,
 Говорящий на том языке, что еще не осознан,
 Не оуклился в зернах икринок — словесных и плодо- и ладотворимых,
 Что серебряным облаком взвихрили сон задремавшего бога...
 О сонорные волны и мелосы виртуального снега,
 Душу вы забелите мою, в антарктической бездне укройте,
 Чтобы заговорила, поднявшись из тысячелетья ледового плена,
 Инфузория-туфелька смысла — и весело, и лучезарно!

* * *

В незапамятный тот,
 Незабвенный,
 В неизменно изменчивый век
 Не кончались дрова во Вселенной
 Среди вечных саней и телег.
 Между книгой
 И тягою конной,
 Веры в поисках,
 Далью сыты,
 Мы ли мир в позолоте иконной
 Под лучом Вифлеемской звезды
 Представляли?..
 Но вьюга завывала,
 Поднялась суеты кутерьма,
 Было-сплыло, что отроку мило,
 Наступает погибель-зима.



Да, на русской планете жестокой
Невозможно без тяги печной.
По снегам,
Под звездой одинокой,
По забытой дороге одной
Хорошо было ехать и ехать
До трактира...
Но кончился век.
Нас,
Вослед ли за вехой-помехой,
Замело,
Затянуло под снег...

* * *

Уже телесность в тягость и в обузу...
Свинец щетины не к лицу арбузу,
А ягода поэзии сладка
И розово-мясиста. Уж увольте,
Позвольте мне забыться в Верхней Вольте,
Аллаха charterом — уже наверняка!

Но ногти все растут и тело дряхнет,
Сустав хрустит, а эпителий пахнет,
И волосы все падают на стол
И на клавиатуру... Дело к ночи.
Похмелье все смурней, а дни короче.
И воле Божьей равен валидол.

Какая-то неявная истома:
Ты у родни, брат, но... уже не дома,
Любовью грея душу — знай и честь.
И помни, покидая оболочку,
Долги отдав лишь, ты поставишь точку
И обретешь Отечество, бог весть...

Памяти Василия Костромина

Докачу до Падунских порогов
Под железных дорог анапест,
Чтоб, остывшую землю потрогав,
Убедиться в наличии мест —
И купе, и плацкартных, и общих —
В дальнем, скором, идущем уже...

— Что ж, заране — так легче и проще,
Забронируй и — не мандраже!..

Ляжем, ляжем — на нужную полку,
Всяк по рангу во время свое,
Душу живу, поди не иголку,
Сохранив, покидая былье.
Знать, не зря ты рождения-крика
Из себя ликованье исторг.

...Небо. Тишь. Одиночества книга.
И парящего слова восторг.

* * *

На бетонной тулье цирка
Выросла береза.
Избиратель мимо ЦИКа
Смотрит нетверезо.

Как гимнасточка, трепещет
Деревце на крыше —
Никаких таких трапеций
Для беглянки рыжей.

Раньше с куполами храмов
Девочка дружила,
Среди ржавчин и бедламов
Весело и мило
Над руиной выростала...
А теперь, однако,
Время новое настало
Водолея-знака.

Но покуда с неба льется
Канитель сырая
И, как на канатоходца,
Мир на нас взирает,
Буду безальтернативен,
Сколько б ни просили —
Одинок и беспартиен
Посередь России...



* * *

Судно движимо шелестом волн...
Ничего, ничего, ничего —

Лишь дождливые шорохи лета...
Ничего, кроме белого света.

Свод небес движим дыхом любви,
Не гнева, небеса не гнева,

Мы плывем, а сомненье и скука —
Не порука...

Что промолвим, ступивши на трап,
Осознав — кто владыка, кто раб?

Оглянемся ль, вспомня потери?
Свято веря,

Что, ни пяди любви врагу
Не оставив на том берегу,

Обрели это небо благое —
Сень покоя...

Ключ

Не возвращай...
Похоже,
Будет оно верней.
В сумочке матовой кожи
(В напомниманье дней,
Наших уже навеки) —
Ключ от моей норы,
Ключ от души-беспеки,
Жизни, а не игры...

Есть потайной кармашек
Даже в миру ином.
Кроме стихов-бумажек
Ведаю об одном —
Кончена dolce vita,
Все суета и ложь...
Но... моя дверь открыта,
Верую, что придешь.

Ключиком-колокольцем
Снова дверь отворя,
Скажешь: «Там за околицей
Звон и — заря, заря...»

* * *

Мне горше горя и греха — той тьмы зияние сухое,
Где влагу трепета и зноя не вместят старые меха.

Я скуп, как тот премудрый жрец, что, пламень уподобя камню,
Усердно молится богам, но — не верит в жертвенность сердец.

А ты без памяти щедра, ты без изъяна терпелива,
Смиренна, но не сиротлива — сиренью росною с утра...

Какою, Господи, ценой? Какою, не вышепчу, какою
Я заплачу за свет покоя, за пламя, ставшее виной?

Тот камень — накрепко со мной...

* * *

Клен облетел.
Чахоточно поблек
Опавший лист.
И в полудне осеннем
Его колышет слабым дуновеньем.
А над листвою — последний мотылек.

Как будто умер кто или уснул
Под кленами...
И волосы шевелят
Ему ветра.
И грозы отшумели.
И мотылек со лба его вспорхнул...

Алексей КУКСИНСКИЙ

ЮЛА

Р а с с к а з

Свет. Снова свет заполняет собой все пространство кругом: стены, пол, потолок, мою собственную бедную голову. Глазам больно, и я их закрываю, однако свет пробивается и под опущенные веки, от него не скрыться. Вокруг полная тишина, но из-за света я ощущаю внутри головы низкое гудение, будто растревоженный шершень пытается выбраться на свободу.

Свет гаснет, пытка прекращается. У меня есть несколько часов передышки. Все это время я сижу на полу своей камеры, которую врачи и санитары по недоразумению называют палатой. Стены обшиты стегаными ватными матами некогда белого цвета, а теперь за долгие годы они стали серо-желтыми. От моих предшественников на стенах остались пятна — почти все черного или серого цвета, так что непонятно, кровь ли это или что-то другое.

Раз в неделю меня на час удаляют из палаты, это время я коротаю под присмотром санитаров во внутреннем дворике, где вместо крыши над головой решетка. Несмотря на совершенное мною и то, что я считаюсь опасным, смирительную рубашку на меня не надевают, и я просто смотрю в небо, люблюсь облаками или, если идет дождь, подставляю лицо падающим каплям. Если повезет, я могу увидеть пролетающую птицу. Море недалеко, и чаще всего это чайки.

Когда меня возвращают в камеру, ее стены еще влажны после уборки и обработки дезинфицирующей жидкостью. Она не может удалить пятна, только распространяет после себя тошнотворный хлорный запах, не выветривающийся несколько дней.

Очень редко меня навещает Гектор.

Я здесь уже много лет, но ни разу не видел других пациентов. По ночам я часто их слышу — вой, крики, глухие удары о стены, иногда топот санитаров в коридоре и звуки борьбы. Я веду себя тихо, и на моих руках следов уколов почти не видно. Лишь после провалов в памяти могу очнуться замотанным в смирительную рубашку и с головной болью от действия аминазина. Провалы случаются крайне редко, так что я тут

наименее проблемный пациент. Мне уже не вводят инсулин, все реже используют электрошок, только таблетки все так же разноцветны и многочисленны.

Обычно я лежу на койке, смотрю в потолок, на два часа в день включают радио: образовательные программы и классическая музыка, никаких спортивных или развлекательных передач. На новостные выпуски я натякался считаное число раз: бдительный персонал отключает динамик по окончании разрешенной к прослушиванию передачи. Бумага и карандаши не положены, трижды в неделю меня водят в маленькую комнатку, которую называют учебным классом. Конечно, там никто ничему не учит, просто стоит стол, на котором есть альбомы для рисования, цветные карандаши, доски для лепки и пластилин. В учебном классе нет окон, и я под тусклым светом единственной лампы вожу карандашом по бумаге под наблюдением дежурного врача, который следит за мной через специальное окошко в стене.

Чаще всего я выбираю простой карандаш, самый нетронутый из всех. Другие предпочитают карандаши поярче — красный, оранжевый. Черный тоже пользуется спросом — это я вижу по оставшейся длине. С каждым сеансом они становятся короче, пока в один прекрасный день персонал не заменит сточившиеся до длины окурка карандаши на новые. Мой же простой расходуется куда меньше, и мне кажется, что, кроме меня, им никто не рисует. Судя по всему, пациенты очень сильно давят на грифель, и, несмотря на то что бумага в альбомах плотная, на нижних листах остаются борозды, которые мешают мне вести карандаш плавно, мои линии прерываются, путаются, грифель цепляется за эти невозможные противотанковые рвы. Тогда я аккуратными, легкими движениями наклоненного карандаша заштриховываю бумагу. На листе проявляется рисунок моего несчастного предшественника. Я вижу оскаленные зубы, грубые изображения половых органов, мужских и женских, ножи, топоры, крылатых и когтистых монстров, пятна крови. Эти гравюры — единственный способ общения с товарищами по несчастью.

После сеанса рисунки изымаются и изучаются лечащим врачом. Я всегда рисую угловатые абстрактные фигуры, избегаю округлых форм, а круги меня вообще пугают. Бывает, я просто закрашиваю плоскость альбомного листа, но это происходит редко. Зачастую времени на зарисовывание всей поверхности не хватает, и меня уводят, не давая закончить работу. Тогда в следующий раз начинаю заново, даже если хочется нарисовать что-то другое. Я твердо уверен, что эта работа должна быть завершена.

Мне приносят еду — чаще всего овощи, тушеные или вареные, все блюда одинаковы на вкус, картофельное пюре неотличимо от тушеной капусты или фасоли. Иногда это макароны или кукурузная каша, еще реже — рыба, совсем редко — мясо. Повара я не видел ни разу, все санитары — крупные, здоровые парни. И еще врачи.

За время моего нахождения здесь их сменилось очень много — десять или около того. Хорошо помню самого первого, пожилого бородатого



господина, больше похожего на богатого оптового торговца, чем на психиатра. Я помню, как он сидел за столом, откинувшись на спинку стула и заложив большие пальцы за проймы жилета. Его речь с отчетливым северным акцентом лилась размеренно и вальяжно, меня он вовсе не слушал, любясь модуляциями собственного голоса, как университетский профессор за чтением лекции, только аудитория его по прихоти судьбы состояла из единственного человека — убийцы, страдающего диссоциативным расстройством личности. Приятно познакомиться, это я.

Врач рьяно принялся за лечение, испробовав множество способов, от медикаментов до физиотерапии и электрошока, терзая мое тело и мой измученный разум. Это не принесло ожидаемых результатов, и он охладел к моему интересному случаю, вспоминая обо мне лишь в периоды застоя в работе. Лично я не понимал, каких именно результатов он хотел добиться, ведь приступы мои, редкие и на воле, в замкнутых стенах палаты и многочисленных кабинетов сошли на нет.

Спустя примерно полгода (в этом узилище мне непросто следить за временем, отчасти из-за воздействия препаратов, превращающих бесконечный ток секунд и минут в замороженный глицерин, а также из-за отсутствия газет, телевизора и календаря) первый врач исчез, его заменили на другого, помоложе и поживее, питавшего склонность к запонкам с крупными камнями и галстукам-боло. Также он отдавал предпочтение медикаментозным методам лечения перед всеми прочими, поэтому время нашего общения прошло в полудурмане. Меня даже не привязывали к креслу, только по просьбе врача укрывали плечи и грудь большой крахмальной салфеткой, как в парикмахерской, ведь в таком состоянии я не контролировал слюноотделение и забывал глотать, а иногда и моргать.

В течение следующих лет моего здесь пребывания прошла целая череда лечащих врачей, среди которых была даже одна женщина — еще одно веяние новых времен, текущих за стенами больницы. В пору моей юности представить женщину-медика кем-то, кроме медсестры или санитарки, было невозможно. Впрочем, терапия ни одного из врачей не оказала сильного влияния ни на состояние, ни на условия моего содержания, лишь история болезни становилась толще, поскольку каждый новый эскулап считал своим долгом отринуть выводы предшественника и переписать анамнез, предполагаемый диагноз и методы лечения.

Шаги в коридоре. Дверь открывается, в проеме я вижу стену и зарешеченный светильник на потолке. Два санитары вкатывают кресло-каталку, поднимают меня с пола и усаживают на холодное сиденье. Я смиренно откидываю голову и позволяю им пристегнуть меня широкими ремнями: руки к подлокотникам, ноги к стойкам подножки и еще один ремень поперек груди. Все происходит в полном молчании, все действия отработаны до автоматизма. Пока меня везут по пустынному коридору, я тихонько шевелю кистями рук и перебираю пальцами, словно играю на рояле. Очень давно, в детстве, я учился играть на гитаре и фортепиано и делал явные успехи.

Меня везут в санитарный блок, где совершаются необходимые гигиенические процедуры, включая бритье. Мою голову жестко фиксируют специальным зажимом, глаза прикрывают салфеткой, и невидимый человек, чей запах изо рта не перебивается мылом и лосьоном, не очень аккуратно бреет меня безопасной бритвой.

Затем путь лежит в кабинет врача на терапию. Сейчас меня лечит какой-то сморщенный гном, который, судя по его виду, начал практику еще во времена Тридцатилетней войны. Колеса каталки чуть поскрипывают, открывается дверь — и тут ожидает сюрприз. Вместо бородатого гнома за столом сидит кто-то молодой, длинноволосый и усатый. Меня вкатывают в кабинет, и я обнаруживаю, что многое здесь изменилось. Дипломов на стене стало заметно меньше, и развешаны они по-другому. Импрессионистскую мазню заменила еще более ужасная картина из комбинации разноцветных фигур, похожих на пятна Роршаха. На месте рамки с нечеткой фотографией на столе стоит статуэтка какого-то крылатого животного сантиметров тридцати в высоту, вытесанная из черного матового камня. Современность, ничего не поделаешь.

Тип за столом встает и приветливо улыбается. На нем клетчатый пиджак с узкими рукавами и персикового цвета рубашка, белый халат перекинут через спинку вращающегося кресла. Он взволнован, тербит ремешок часов на правой руке. Перед ним лежит толстая папка с бумагами, больше ничего нет. Санитар подкатывает меня к столу и, повинувшись жесту хозяина кабинета, уходит, тихо закрыв за собой дверь.

Тип садится, продолжая улыбаться, довольно естественно на мой взгляд. Обычно такие улыбки не предвещают ничего хорошего, только затуманенное сознание и боль. Я смотрю в окно и вижу кусок хмурого неба со смутными силуэтами зданий вдали.

Хозяин кабинета объявляет, что он мой новый лечащий врач, и называет типично еврейскую фамилию. Оказывается, у него уже ученая степень. Мне все это не интересно. Доктор умолкает, и в кабинете на мгновение повисает тишина.

— Ну что ж, — говорит он. — Начнем, пожалуй.

Он открывает папку, его взгляд бежит по строчкам документов. Я уверен, что врач их уже просматривал, потому что он называет мое имя слишком быстро.

— Это вы?

Я медленно киваю. Давно не слышал своего имени. В его исполнении оно звучит мелодично, будто волна набегает на речные камешки.

— Да, это я.

Он опять утыкается в папку, переворачивает несколько листов, и я думаю: неужели их хватает, чтобы вместить всю мою жизнь? Он поднимает взгляд и внимательно смотрит мне в глаза. Боковым зрением я вижу, что за окном начинается дождь. Я шевелю кистями рук и чувствую, что под ремнями они затекли.

— А кто такой... — он делает паузу и сверяется с записями: — Сарториус?



Я молчу. Это трудно, даже невозможно объяснить, но если он прочел все документы в папке, то знает ответ на этот вопрос. Вернее, это не ответ, а лишь точка зрения медицины на мою ситуацию. И все же он хочет, чтобы я сам озвучил то, что написано в бумагах у него под носом. Я опять медленно шевелю затекшими руками, раздумывая над ответом. Он смотрит на меня, и в его взгляде я читаю фальшивое, как предвыборные обещания, сочувствие. Мне некуда деваться, я должен сказать, если хочу избежать электрошока или уколов инсулина.

— Это тоже я. — Язык слушается плохо, я откашливаюсь, чтобы голос звучал увереннее. — Точнее, другая половина меня, темная, плохая половина. Когда эта половина, Сарториус, берет верх, он делает плохие вещи, а я ничего не помню. Убийца.

Под конец мой голос звучит очень тихо, и доктор переспрашивает:

— Простите, что вы сказали?

Я не хочу с ним ссориться и четко и громко повторяю последнее слово. В моем мозгу сразу же возникает картина — острые, угловатые кристаллы, от одного вида которых становится жутко. Это у меня с самого детства: любое слово в моем сознании обладает особой, собственной формой. Для некоторых людей слова окрашены в разные цвета или соотносятся с нотами или запахами, такое бывает, я читал, у поэтов или композиторов. Однако для меня любое слово превращается в фигуру, обретает форму, расплывчатую или достаточно ясную. Это происходит само собой и не доставляет никаких неудобств, за исключением того, что значение слова и фигура, возникающая в моем воображении, не совпадают. Например, «квадрат». Я закрываю глаза и вижу нечто овальное, медленно вращающееся вокруг вертикальной оси. Открываю глаза — наваждение проходит. Врач пристально смотрит на меня, терпение его не иссякло.

— Убийца, — повторяю я негромко, но тщательно артикулируя.

Он опять шелестит папкой, ищет там то ли ответ, то ли новый вопрос. Я гляжу в окно и замечаю, что дождь превратился в настоящий ливень. Капли барабанят по отливу, в этом можно уловить определенную мелодию.

Доктор поднимает голову от бумаг:

— И вы абсолютно ничего не помните?

Я мотаю головой, потому что мышцы шеи тоже затекли.

— Абсолютно, — говорю я.

Все наречия в моем сознании превращаются в фигурки, похожие на маленьких птиц. У «абсолютно», например, длинный волнистый хвост. Тяжело быть душевнобольным убийцей, страдающим раздвоением личности, но я говорю чистую правду: когда Сарториус берет верх, я абсолютно ничего не помню.

— Сколько вы у нас находитесь? — спрашивает психиатр, хотя на титульном листе папки фиолетовыми чернилами написана дата моего поступления.

— Восемь лет.

Цифра восемь для меня совершенно не похожа на свое начертание — это просто безобидный комок сахарной ваты, запутавшийся в телеграфных проводах.

— Восемь лет... Я так понимаю, терапия моих коллег не имела большого успеха?

— Вам виднее.

Насколько позволяют пристегнутые руки, пожимаю плечами. Я за эти годы не заметил никаких изменений в своем состоянии.

Врач собирает все бумаги и укладывает обратно в папку:

— Я попробую с вами другой метод лечения. Судя по записям, он еще не применялся в вашем случае. Это относительно новый метод. Гипнотерапия.

Он выжидательно смотрит на меня, но это название мне ничего не говорит. И фигура у слова такая же неопределенная, расплывчатая, как узор на замерзшем стекле. Мне все равно, как он будет меня лечить. Я никогда отсюда не выйду, даже если терапия даст положительные результаты. Единственное, чего хочу, — чтобы эта процедура была как можно менее болезненной.

Врач явно ждет от меня какой-то реакции. Странно: других мое мнение не интересовало. Я неуверенно киваю и вижу, как его губы слегка изгибаются в подобии улыбки, а глаза довольно прищуриваются.

— Ну и отлично! — говорит он, хлопая по папке рукой так, что завязки на ней подпрыгивают. — Предлагаю начать завтра же.

Я опять киваю, за моей спиной открывается дверь, и невидимый санитар увозит меня прочь из кабинета.

Больше меня не беспокоят, позволяют в одиночестве провести время в игровой комнате до обеда, а перед ужином дают две розовые таблетки. Всю ночь я сплю как младенец.

Наутро гигиенические процедуры повторяются и я предстаю перед врачом чистеньким и пахнущим хвойным лосьоном. Никогда не любил этот запах.

На этот раз доктор в белом халате, на груди приколота табличка с его именем, но мне отсюда не разглядеть. Психиатр сосредоточен, не улыбается и выглядит старше, чем вчера, усы придают солидность его худощавому лицу. Он отпускает санитаря, подкатывает кресло к столу боком и откидывает спинку назад — я оказываюсь в полулежачем положении. На столе стоит портативный магнитофон и еще какая-то смутно знакомая мне штукавина, названия которой я не помню.

— Вам достаточно удобно? — спрашивает он.

Другие врачи редко интересовались моим положением и самочувствием. Не кроется ли за этой мнимой внимательностью какой-то иезуитский трюк? С психиатрами нужно держать ухо востро.

— Вас уже гипнотизировали когда-нибудь? — Врач пытается по моему лицу понять, солгу я или нет.

Я отрицательно мотаю головой. Пока ситуация не ясна, лучше поменьше открывать рот.

— Тогда приступим, — говорит он.

Он берет непонятную штуку и ставит ее на край стола, так что она оказывается у меня перед глазами. Я вспоминаю, как она называется — метроном. Смутные детские картинки выплывают из глубин подсознания, подобно дирижаблям. Я вспоминаю ощущение теплого гитарного грифа, запах деки, дребезжание струн в моих неумелых руках, этюд Каркасси на попире, голос за плечом принадлежит учителю, имя его стерлось из памяти — нечто французское, Жиль или Гийом, и щелканье метронома, за неумолимым темпом которого я пытаюсь успеть своими негнувшимися пальцами.

Пока я витаю в облаках прошлого, доктор отодвигает каменную статуэтку и трогает метроном — тот начинает стучать, глухо и ненавязчиво.

— Закройте глаза, расслабьтесь, — голос врача тих, каждое слово сопровождается ударом, — слушайте метроном.

Примерно минута проходит в молчании. Я начинаю засыпать, звуки метронома окружают меня, теперь они совсем не похожи на простой стук, я различаю полутона и нюансы. Пытаясь вслушаться в них, замечаю, что доктор что-то говорит. Я слышу слова, но не разбираю смысла, он ускользает, заглушаемый стуком. Наконец я различаю:

— ...шесть, пять, четыре...

Прекрасный солнечный день. Я в предвкушении праздника. Сегодня отец берет нас с Гектором на ярмарку. Мне недавно исполнилось десять, Гектор двумя годами младше. Мягкое, как у сытого льва, урчание «Дю-зенберга», кленовая аллея, ведущая от нашего дома на сельскую дорогу, на крыльце машущая рукой мама. Брат улыбается, лицо отца серьезно, хотя я вижу, что его глаза тоже смеются.

Дорога идет мимо засаженных могоаром полей, небольших роцц, холмов, среди которых мелькают фермы с грибами водонапорных башен. В этих краях телеграфные столбы еще старые, двухопорные, пропитанные креозотом. Когда мы проезжаем нависающий над дорогой мост, по нему проносится поезд с разноцветными вагонами, везущий праздных туристов к пляжам. Отсюда до моря миль двадцать, но на развилке отец сворачивает не налево, к шезлонгам и купальщикам, а направо, к густеющим лесам, придорожным кафе и к четырехполосному шоссе.

Ярмарка начинается внезапно. Гектор первым, даром что самый маленький, замечает разбросанные на огромном пространстве шатры, и его радостный рев заглушает шум двигателя. Отец радостно хохочет, и я начинаю смеяться вместе с ними. Я вижу купол цирка-шапито, фургоны на колесах в отдалении, множество припаркованных автомобилей у обочины, толпы людей, мужчин, женщин и детей, на этом большом поле, яркие флаги у главного входа на ярмарку и возвышающееся над всем этим великолепием чертово колесо. Вчера отец рассказывал нам с братом, что когда кабинка с пассажирами поднимается на самый верх, то на западе можно увидеть море.

Отец находит место для стоянки, и мы с Гектором выпрыгиваем из салона, не дожидаясь, пока двигатель замолчит. Со всех ног бежим к касе, пыль поднимается столбом из-под наших подошв. Кругом галдеж, музыка и смех. Мы занимаем место в хвосте очереди и смотрим, как солнце сверкает на ободьях колеса обозрения. Подходит отец, он недовольно ворчит себе в усы, однако мы с братом понимаем, что это только для формы.

Я стою спокойно, а Гектор скачет на месте и задирает голову, следя за оборотами кабинок, так что его матросская шапочка с помпоном падает мне под ноги. Поднимаю ее, отряхиваю от пыли и нахлобучиваю ему на голову, но он даже этого не замечает. Очередь перед нами состоит в основном из детей с родителями, ведь ребенка до двенадцати лет в одиночку в кабинку не посадят. Отец ненадолго отлучается и возвращается с двумя огромными розовыми клубками сахарной ваты. Я стараюсь есть аккуратно, а у брата розовые клочья торчат по обеим сторонам рта.

Колесо совершает круг за кругом, очередь понемногу продвигается, и когда между нами и железной калиточкой кассира остается несколько человек, происходит что-то необычное. Я слышу громкий треск, колесо дергается и замирает. Гектор смотрит вверх, и я замечаю, что помпон на его шапочке держится на единственной ниточке. «Не забыть сказать маме», — думаю я. Раздается металлический скрежет, и колесо медленно оседает. Треугольные стойки, на которых закреплена его ось, медленно изгибаются, рвутся тросы, их освобожденные концы разлетаются в разные стороны. В толпе слышатся вопли. Люди передо мной сперва расступаются, затем бегут, их становится все больше. Чужие тела заслоняют Гектора, за спиной я слышу крик отца, зовущего меня по имени, но не могу сделать ни шагу. Людской водоворот подхватывает, я чувствую острые локти, колени и спины. Странно, что я не падаю, подчиняясь этой неодолимой силе. Люди заканчиваются, и я остаюсь один на огромной площади, залитой солнцем.

До меня доносятся крики, однако я не понимаю, что это кричат мне, и зачарованно наблюдаю, как огромное стальное колесо, ничем больше не закрепленное, освобождается наконец от развалившихся стоек и его нижний край аккуратно касается земли. Нижняя кабинка сплющивается, из следующей кабинки выпадают два человека и тоже скрываются за краем стального круга. На площадке небольшой уклон, я стою в нижней его части, поэтому колесо начинает катиться прямо на меня. Я вижу, какие глубокие борозды оставляют ободья колеса на земле, эти следы похожи на железную дорогу — две параллельные прямые, через каждые несколько метров соединенные короткими отрезками, следами от поперечных переключков, к которым крепятся кабинки; слышу, как трещат, разваливаясь под тяжестью металла, кабинки, слышу крики уцелевших пассажиров колеса. Сам я стою и не могу шевельнуться, ноги мои приросли к земле. Колесо делает еще половину оборота, и целых кабинок на нем не остается. Теперь оно нависает надо мной, хорошо видно облупившуюся зеленую



краску, которой оно выкрашено, шестигранные головки болтов, скрепляющих поперечные перекладки с наружным краем. Я закрываю глаза, не хочу ничего видеть. Слышен скрип металла и шорох земли, на закрытые веки падает тень, я сжимаю кулаки. Лицо обдает потоком воздуха, я чувствую справа и слева мощное движение чего-то массивного, мой мочевого пузырь расслабляется, влага сбегает по внутренней стороне бедра, и больше ничего не происходит. Я еще жив. Шум постепенно удаляется.

Через несколько секунд открываю глаза. Я стою прямо посередине следа укатившегося колеса. В полутора метрах перед носками моих ботинок отпечаток поперечины, у него очень четкие края. Оборачиваюсь назад: колесо удаляется от меня, с треском ломая деревянные павильоны и фургоны, распугивая лошадей, попадающих на пути. Оно оставляет ровный след, и, переводя взгляд опять к своим ногам, я вижу след от еще одной перекладки в паре метров от пяток. Я понимаю, что мне несказанно повезло: колесо прокатилось надо мной, не зацепив. В голове шумит, все громче и громче, я теряю сознание, и мое тело валится в желтую пыль.

Открываю глаза. Светлая больничная палата. Скомканная тревогой лица папы и мамы. Во рту пересохло, я пытаюсь выговорить какие-то слова, только ничего не выходит. Мама гладит меня по голове, отец громко зовет врача. Появляется человек в белом халате, похрустывающем от крахмала. Он склоняется надо мной. В его рыжей бороде застряли крошки хлеба.

Он открывает рот и начинает считать:

— Девять, восемь, семь, шесть...

С каждым словом его голос становится громче. На цифре три мне хочется заткнуть уши, но я не могу пошевелиться.

— ...два, один! — орет доктор прямо в ухо.

Я открываю глаза. Спина затекла, руки по-прежнему привязаны к подлокотникам кресла. Раздается щелчок — это психиатр выключает магнитофон. Моя одежда взмокла от пота, кулаки конвульсивно сжаты. Врач внимательно смотрит на меня, он сидит за столом, авторучка в его руке замерла над блокнотом. Я понимаю, что это его голос слышал во сне. Метроном продолжает щелкать.

— Как вы себя чувствуете?

Я хочу ответить, однако в горле сухо. Просто киваю головой. Врач встает из-за стола, у него в руках заварочный чайник. Холодный фарфор касается моих губ, и восхитительно вкусная вода орошает мое горло. Я жадно пью, пока влага не иссякает. Доктор отходит от меня, останавливает метроном и садится на место.

— Так как вы себя чувствуете? — вновь спрашивает он.

— Хорошо.

— Голова не болит? Шум в ушах? Тошнота?

Отрицательно мотаю головой. Я утолил жажду и чувствую себя уже лучше.

— Спина затекла.

— Это ничего, это нормально, — говорит врач. — Значит, гипноз вы переносите хорошо. Это прекрасно. Для первого раза отличные результаты. Вы помните что-нибудь из нашего сеанса?

Помню. Воспоминания детства о том дне, с которого все началось, никогда по-настоящему не оставляли меня. Я смотрю на носки своих больничных туфель, и мне кажется, что на них желтая пыль.

Я рассказываю все, что помню. Психиатр молча кивает, делая пометки в блокноте. День за окном клонится к закату, свет изменился, и тени в кабинете удлинились.

— Так это и было первое появление Сарториуса?

Да, именно тогда он появился в первый раз. Отец нашел мое бессознательное тело посреди чудовищной колеи, оставленной колесом обозрения, посреди хаоса, криков, крови и завывания сирен. По счастливой случайности колесо не докатилось до цирка-шапито, где в тот момент давала представление знаменитая труппа Гаэтано, но полицейские и пожарные обнаружили на месте происшествия двадцать девять трупов, большую часть которых опознать было нелегко.

Никто не обратил внимания на мужчину с безмолвным ребенком на руках и еще одним орущим и залитым слезами, цепляющимся за край пиджака. Отец уложил меня на заднее сиденье, усадив Гектора рядом. Он несся по шоссе с той скоростью, которую позволял развить форсированный мотор «Дюзенберга». До ближайшей больницы было двадцать пять миль, и вся дорога заняла не больше двадцати минут. Отец ворвался в приемный покой не разбирая очереди и почти швырнул бездыханное тело на стол перед опешившим дежурным врачом, потому что смотровая кушетка была занята пытающейся запахнуть расстегнутую блузку пожилой пациенткой.

Доктора не обнаружили на моем теле никаких повреждений. Пульс, давление, температура — все было в норме. Отцу с трудом удалось убедить врачей оставить меня в больнице хотя бы до того момента, пока я не приду в себя. Но очнулся я совсем не тем человеком, который потерял сознание в парке развлечений три часа назад.

К тому времени в больницу приехала мама. Позже она рассказывала, что поняла, что со мной не все в порядке, лишь только я открыл глаза.

Человек, вселившийся в мое тело, поднял веки, обвел взглядом комнату и увидел двух незнакомых ему людей, мужчину и женщину, которые сидели у его постели, взявшись за руки. Рядом в кресле спал, свернувшись калачиком, какой-то маленький мальчик.

— Кто вы? Где я? — спросило мое тело.

Поначалу родители испугались не сильно, ведь их ребенок очнулся. Странности его поведения они отнесли на счет перенесенного шока. Впрочем, когда он начал вырываться из их объятий, кричать и пытаться сбежать, позвали психиатра.

— Весьма любопытный феномен, — сказал тот после беседы с мальчиком, который говорил басом и называл себя Сарториусом.

Мать тихонько плакала рядом, отец сжимал кулаки. Тело зафиксировали ремнями, шприц с желтоватой жидкостью в руке врача казался смертельно опасным, как гремучая змея. Я провалялся в беспмятстве пять часов и, когда вновь открыл глаза, стал прежним собою. Мне опять повезло: Сарториус исчез, оставив после себя лишь следы удерживавших мое тело ремней.

— Это еще повторится? — спросил отец.

Врач пожал плечами и поправил очки:

— Будем надеяться, что нет.

Надежды, как это часто бывает, оказалось недостаточно.

Все это было со мной много лет назад, в каком-то другом, счастливом и защищенном мире. Сейчас я просто сижу в кресле-каталке, рассказывая свою историю врачу и незаметно пытаюсь размять руки.

— На сегодня хватит, — говорит доктор. — Вам нужно отдохнуть.

Он нажимает под столом невидимую кнопку, и санитар увозит меня. От него разит табаком самого дешевого и крепкого сорта. Когда уже в палате он освобождает меня от пут, я вижу его сосредоточенное лицо и руки, покрытые татуировками: синий парусник, русалка с обнаженной грудью среди водорослей. Видимо, бывший моряк, решивший перекалфицироваться в санитары. Освободив меня, он уходит, клацает замок, и я остаюсь один на один с воспоминаниями. Остаток дня провожу лежа на койке и глядя в потолок.

На следующее утро я вновь въезжаю в кабинет психиатра на своей колеснице, возница которой по странной прихоти расположился сзади. Тем же барским жестом врач отпускает моего колесничего, сам подкатывает кресло к столу и располагает под нужным углом.

— Начнем, пожалуй, — говорит он.

Сегодня он не спрашивает, удобно ли мне и хорошо ли я себя чувствую, он подтянут и деловит, озабоченно шуршит бумагами, морщит брови и шевелит усами. Доктор заводит метроном, его щелчки эхом отдаются в стенах кабинета.

— Закройте глаза.

Я выполняю команду, как хорошо дрессированная собачонка. Теперь щелканье звучит у меня в голове. Я думаю о слове «метроном». На внутренней поверхности век сразу возникает картинка, как на экране телевизора: маленькая серебряная башенка с флажком на крыше, хлопающим на ветру. Пока я разглядываю ее с разных сторон, врач начинает обратный отсчет, и башня улетает куда-то в темноту.

— ...четыре, три, два...

Родители перевели меня в специальный санаторий, в котором я провел две недели в компании докторов, медсестер, немногочисленных па-

циентов и зверской скуки. Врачи не находили никаких аномалий в моем состоянии, я был абсолютно здоров. Сарториус не возвращался. Меня выписали, папа и мама приехали за мной с самого утра, ветерок с легким запахом хвои трепал мои волосы. Главный врач вышел попрощаться к главному входу. Окладистая борода и внушительный нос не могли скрыть его растерянности. Все произошедшее со мной представлялось ему трагической случайностью.

Наконец руки пожатые, и я возлежу на заднем сиденье рядом с младшим братом, глядя на мелькающие за стеклом разнообразные облака. Машина выбирается на прибрежное шоссе, с одной стороны море с одиноким дымящим пароходом, с другой — низкая гряда холмов с пятью или шестью ветряными мельницами на гребне. Я неотрывно гляжу на мельницы, в величавом вращении их крыльев есть что-то притягательное. Я смотрю и смотрю и, когда авто проезжает совсем близко от них, теряю сознание.

Гектор начинает плакать, отец останавливает машину и выносит мое тело из салона. Мама поддерживает голову, пока меня укладывают на траву у подножия холма. Мельницы продолжают вращаться, издавая равномерное поскрипывание. Беспмятство длится недолго, не больше двух минут, и Сарториус возвращается. Думаю, отец был готов к подобному развитию событий, иначе он не успел бы схватить резко рванувшееся на свободу тело. Пока мама и брат заливаются слезами, отец скручивает руки моими же помочами, в то время как рот Сарториуса исторгает ужаснейшие ругательства. Семья фермеров, мирно едущая по дороге на запряженной мохнатой лошадкой телеге, останавливается и остолбенело пялится на нас четырьмя парами глаз.

Отец бросает меня орущего в машину и, едва дождавшись, когда мама и брат заберутся следом, на максимальной скорости мчится обратно в санаторий. Там, на еще не убранной за мной кровати, делают укол успокоительного. И через четыре часа я вновь просыпаюсь самим собой.

Теперь над моими приступами уже несколько дней морщат лбы четыре бородатых врача, двух из которых можно смело причислить к светилам медицинской науки. Путем подробнейшего опроса на предмет того, что могло стать толчком к превращению невинного ребенка в чудовище Сарториуса, взаимосвязь между этим процессом и моей сосредоточенностью на вращении крыльев мельницы находится очень скоро.

— Проведем эксперимент, — говорит врач с самой длинной бородой, беря с подоконника старый вентилятор. — Смотри внимательно.

Щелкает тумблер, лопасти вентилятора сливаются в сияющий круг. Он затягивает меня подобно водовороту, шея помимо воли вытягивается, и я тянусь лицом навстречу потоку воздуха.

Провал. Я открываю глаза, голова жутко болит. За окном сумерки, хотя недавно светило солнце. У моей постели родители, брат и врач с самой длинной бородой. Оказывается, в результате эксперимента с вентилятором Сарториус явился спустя полторы минуты после моего беспмятства. Было ли это следствием перенесенного в парке аттракционов потрясения

или причинно-следственные связи сознательного с бессознательным были еще более глубинны, врачам выяснить не удалось.

Я провел в санатории больше трех месяцев. Попытки излечить меня от этого странного недуга оказались безуспешны, зато экспериментально были установлены границы безопасного наблюдения вращающихся круглых предметов. В целом если смотреть вскользь, то наблюдать за любым вращением — будь то колеса автомобиля, лопасти вертолета на экране телевизора или хулахуп в руках инструктора лечебной гимнастики — было вполне безопасно. Но стоило сосредоточить взгляд на вращающемся объекте более-менее осмысленно — в мой безопасный мир врвался Сарториус и разрушал его до основания. Справиться с ним можно было лишь одним способом — уколом транквилизатора. Сарториус уходил, я возвращался.

О школе больше не могло быть и речи. Я почти безвылазно, не считая прогулок в саду, нахожусь дома. Учителя сами приходят ко мне, весь круг общения ограничивается ими да родственниками и слугами. Однако даже это не уберегло меня от неприятных инцидентов. Так, зайдя раз за какой-то надобностью на кухню, я случайно взглянул на новомодный электрический миксер, которым кухарка взбивала белки для десерта. Мало того что, потеряв сознание, я разбил голову — не замедливший явиться Сарториус до смерти напугал бедную повариху, так что она на следующий день попросила расчет. С тех пор отец стал держать шприц с успокоительным в ящике письменного стола.

Со временем количество этих случаев уменьшается, но, чем реже появлялся Сарториус, тем агрессивнее становилось его поведение. Однажды, заметив нехстати выкатившийся из шкафа мяч, я исчез на несколько часов. Меня искали по всему городу с помощью полиции и волонтеров, пока брат не обнаружил меня, окровавленного, мирно спящим в укромном уголке сада рядом с растерзанным трупом пса нашего садовника. Видимо, утомившись за своей кровавой работой, Сарториус уснул, и во сне мое сознание одолело. Стоит ли повторять, что я не помнил абсолютно ничего из произошедшего, и почему Сарториус выбрал в жертву собаку, которая недолюбливала Гектора, а меня просто обожала, совершенно непонятно.

Я мог бы припомнить несколько подобных эпизодов, касающихся кошек, голубей и еще одной собаки, впрочем, все они были достаточно однообразны, пока злоба Сарториуса не выплеснулась на человека. В течение двух лет от его проделок удавалось оберегать обитателей дома, но однажды молодая горничная, служившая недавно, была сброшена Сарториусом в пролет лестницы. Я не зафиксировал в памяти, как именно он появился тогда, помню лишь, что очнулся на полу, удерживаемый отцом и дворецким, к ногам которого жался испуганный Гектор, а снизу доносились стоны несчастной девушки.

В этот раз Сарториус явился всего на несколько секунд. Девушка выжила, отделавшись переломами, отец, чтобы замять дело, выплатил ей огромную компенсацию, и в газеты ничего не попало.

Психиатр, осматривая меня, покачал головой:

— Он становится опаснее.

Рыдающая мама, на скулах отца играют желваки, как будто он силится раскусить что-то очень твердое. Я оказываюсь в специализированной лечебнице, где на окнах одного из корпусов стальные решетки. К счастью, меня будут держать в другом здании, из окон которого открывается чудесный вид на морской берег. И там...

Щелчок магнитофонного переключателя выводит из забытья. Доктор сидит за столом и что-то пишет. Сегодня он не ведет обратного отсчета, доверяя разбудить меня звукозаписывающему устройству.

— Очень, очень хорошо, — говорит врач и встает из-за стола.

Приблизившись, ободряюще хлопает по руке. Он в хорошем настроении, улыбается, пальцы измазаны в чернилах. Когда меня увозят из кабинета, он едва сдерживается, чтобы не помахать на прощание.

В камере одолевают воспоминания, разбереженные сеансом гипнотерапии. Условия в той лечебнице ничем не напоминали теперешние. Там была одноместная палата, удобная постель, картины на стенах, большое окно; я мог беспрепятственно выходить когда мне вздумается, гулять в парке или по берегу моря. Ненавязчивый персонал, вежливые врачи, сама обстановка — все напоминало больше семейный пансион, чем психиатрическую лечебницу. В моем корпусе не держали буйных пациентов, только смиренных и безопасных, поэтому в коридорах и палатах почти всегда было тихо, как в церкви. У больных иногда случались приступы, но хорошо обученные санитары с извиняющимися улыбками на дрессированных лицах мигом усмиряли беднягу и тот исчезал в недрах лечебного корпуса. Спустя три-четыре дня, редко неделю, он вновь появлялся в палате, пряча взгляд и избегая разговоров. Методы лечения были самые гуманные, никакой лоботомии или маляриятерапии. Без электрошока, конечно, никуда, однако тут его применяли достаточно щадяще. Мне самому довелось испытать его несколько раз за время приступов, которых, к сожалению, не удалось избежать даже в этой клинике. Впрочем, их было немного, купировались они быстро и проходили без последствий для меня или персонала.

Забыл упомянуть: разрешались встречи с родственниками. Раз в неделю навещала мама, часто с Гектором, отец бывал реже: бизнес его расширялся и требовал все больше внимания. Иногда они приезжали все вместе, и мы могли часами гулять по пляжу или, с позволения главного врача взяв у смотрителя лодку, ходить вдоль берега на веслах. Тогда казалось, что все как прежде: вот сейчас лодка ткнется носом в сырой песок; отец, с покрасневшим от ветра и солнца лицом, подаст маме руку; она, придерживая рукой шляпку, будет долго высматривать место посуше, чтобы поставить ногу в изящном полуботинке; устав ждать, папа обхватит ее за талию и достанет из лодки, а мама будет другой рукой придерживать юбку, стараясь сохранить вид, достойный настоящей леди. Потом отец по очереди выхватит из качающейся на мелководье лодки меня и Гектора, мы будем смеяться и вместе поедем домой, и все будет хорошо.

Но так не будет. Плачущая мама еще долго оборачивается и машет рукой за задним стеклом автомобиля («Дюзенберг» уже давно сменился длинным «Паккардом»), а я остаюсь в одиночестве своей палаты.

Так проходит много лет. Где-то далеко отбушевала война, победный конец которой в действующей армии встретил возмужавший Гектор. Помню его счастливого, улыбающегося, с несколькими медалями, невпопад бренчащими при каждом движении, постаревшую маму и поседевшего отца, который стал носить большие очки и отпустил седую бородку, делавшую его похожим на профессора. Сам я старался пореже смотреть в зеркало: ускользающая от меня жизнь оставляла отпечатки и на моем лице, и я сам себе казался ужасно старым.

Помню свадьбу Гектора, на которую меня отпустили под присмотром врача и лишь на один вечер. К счастью, ничего страшного не произошло, а к косым взглядам гостей я быстро привык.

Следующий повод для отлучки из лечебницы был печален: похороны родителей. На крутом повороте приморского шоссе отец не справился с управлением и машина сорвалась с десятиметрового обрыва. Они возвращались из ресторана, где отмечали годовщину свадьбы.

В этот раз, во избежание возможных последствий эмоционального расстройства, больница выделила двух врачей, в одинаковых дешевых костюмах почти неотличимых друг от друга. Шел дождь, ручейки грязной земли стекали в открытые могилы, раскрытые зонты, как шляпки опять, теснились между ними. Я тоже держал зонт, стараясь смотреть вниз и не сосредоточиваться на обилии окружностей, нависающих рядом. Шлепанье капель по натянутой ткани и бормотание священника убаюкивали меня. Я хотел заплакать, но не мог, зато Гектор не сдерживал слез. Его жена, несмотря на пасмурный день, была в темных очках, их четырехлетний сын морщился, когда дождевые капли попадали ему в лицо.

Смерть не пугала меня, в этом слове не было ничего страшного, угловатого, зазубренного или тревожного, наоборот, что-то тягучее, как горячий гудрон, мягкое, нежно-лиловое. Из забытья меня вывел шум гидравлических механизмов, одновременно опускающих гробы. «Прощайте, — думал я. — Прощайте». Еще несколько минут комья земли стучали по деревянным крышкам, пока все присутствующие причудливой змейкой протекали между могил. Брат был совсем убит, рыдая на плече жены. Сейчас он не был похож на уверенного в себе бизнесмена: я видел маленького мальчика в матросской шапочке, плачущего и напуганного. Я не стал выражать ему свое сочувствие, дал усадить себя в машину, где меня незамедлительно прямо через штанину предательски укололи успокоительным.

В воспоминаниях проходит остаток дня, ночью снятся тревожные, бесследно скользящие сны. Наутро мытье и бритье занимают больше времени, поскольку мне помогает новичок. Он старается держаться от меня подальше, чтобы я не перегрыз ему горло. Даже кресло он толкает

максимально вытянутыми руками, так что я боюсь, что его локти и плечи выскочат из суставов.

Психиатр, как всегда, радушен. То ли он прекрасный актер, то ли действительно рад меня видеть, то ли в его жизни произошло что-то хорошее. Он любовно поглаживает крылатую фигурку на столе. Болтовня о моем самочувствии сегодня длительнее, чем обычно. Стараюсь отвечать развернуто и вежливо. Он щупает пульс, осматривает язык и заглядывает под веки, потом стучит по коленям резиновым молоточком. Удовлетворенно хмыкает: судя по всему, я здоров как бык. Он подтаскивает меня поудобнее и включает магнитофон. Солнце бьет в глаза, я прошу опустить шторы. Он извиняется, выполняет мою просьбу и запускает метроном.

Я закрываю глаза без команды и стараюсь расслабиться. Те воспоминания, которые интересуют врача, не из самых приятных. Он говорит о кино, воспроизводимом в обратную сторону, от конца к началу. Голос его постепенно заполняет все вокруг, я пытаюсь открыть глаза, но не могу. Метроном щелкает, как бич циркового укротителя. Неужели он хочет укротить и меня?

Опять куда-то везут на машине. По обеим сторонам сидят врачи, сопровождавшие меня на похоронах. Они в тех же костюмах и рубашках. Мы едем на открытие родительского завещания, мое присутствие специально оговорено душеприказчиком.

Присутствуют только восемь человек, врачи находятся в соседней комнате. Душеприказчика я не слушаю, не люблю непонятные слова. «Коммориенты», «модус», «кредиторы» — это вызывает в моем мозгу ощущение тревоги и беспокойства. Так бывает почти всегда, когда слышу незнакомые слова, которых сегодня слишком много. Поэтому сижу с закрытыми глазами, погруженный в собственные мысли, незаметный, как предмет мебели. Я не был дома уже почти двадцать лет. Здесь изменилась обстановка, однако запах остался прежним. Я ощущаю легкие духи мамы и трубочный табак отца, запах кожаных кресел и книг в библиотеке.

Легкий шепот проносится среди немногочисленных слушателей. Оказывается, всем бизнесом отца будет управлять не Гектор, а заместитель отца, исполнительный директор. Брат сидит передо мной, я вижу, как побелели его пальцы, впившиеся в подлокотники вольтеровского кресла. Это длится очень долго, у завещания множество пунктов, и в конце я почти засыпаю. Монотонный голос юриста убаюкивает, как колыбельная. Кто-то трогает за руку. Это Гектор тормозит меня. Все-таки я уснул.

— Перерыв, — объявляет Гектор.

Я поднимаюсь, подхожу к столу и беру графин. Воды на самом дне, стакана нет, я иду в гостиную. Вокруг приглушенный свет, все люди куда-то исчезли. Шаги за моей спиной, тихие голоса. Двое мужчин курят у камина. Взяв стакан с журнального столика, иду в столовую. В соседней комнате брат разговаривает по телефону. Потом наступает темнота.



Вспышка. Я открываю глаза. Почему-то задыхаюсь, будто проплыл километр. Меня держат какие-то люди, с трудом я узнаю больничных сопровождающих. Их лица искажены страхом и злобой, у одного щека испачкана красной краской. Чувствую на руках что-то липкое, хочу посмотреть, но меня держат крепко. Вижу Гектора, он не смотрит, прячет глаза. Он ведет за собой трех человек в полицейской форме. Меня поднимают, я успеваю взглянуть на свои руки, прежде чем их заводят за спину и защелкивают на запястьях холодные металлические браслеты. Руки мои тоже испачканы красным, вся рубашка спереди алая. Меня выводят из дома, впереди идет один из полицейских, неся какой-то предмет, завернутый в салфетку. Я ничего не понимаю.

На улице стемнело, подъездная дорожка освещена фарами и мигалками полицейских машин. Рядом стоит карета «скорой помощи», задние двери распахнуты, два человека в белых халатах пытаются загрузить туда каталку, на которой лежит что-то длинное, накрытое простыней. Голова совсем не хочет думать. Я покорно даю усадить себя в автомобиль, больно бьюсь головой о верхний край двери. Все тело болит, во рту неприятный привкус. Машина трогается с места. Сквозь решетки на окнах виден родительский дом. Перед входом группа людей смотрит мне вслед. Я тоже гляжу на них, пока дом не скрывается за поворотом.

Подвеска ни к черту, нас жутко трясет на любой неровности. Плечи болят, руки неудобно вывернуты. Водитель разгоняется, а потом резко тормозит. Меня бросает вперед, я ударяюсь лицом о стальную перегородку. Еще одна вспышка боли, из носа капает кровь. Люди на передних сиденьях хохочут. Я слышу их, несмотря на то что маленькое зарешеченное окошечко в перегородке закрыто дверцей. Через заднее стекло вижу, что везут не в больницу. Машина резко сворачивает, и я ударяюсь теперь о стенку. Впереди опять хохот.

— Эй, полегче! — ору я.

Дверца в окошке открывается, сквозь решетку виден кусок усатого лица.

— Заткнись, убийца, — говорит лицо.

Окошко закрывается. Кое-как я усаживаюсь — так, чтобы снова не упасть. Убийца, сказал он. Сказал мне. Получается, убийца — это я. Значит, я кого-то убил. Значит...

Опять щелкает магнитофон. Психиатр смотрит на меня. Теперь его лицо серьезно, он ничего не пишет. Я чувствую, что по моему лицу текут слезы.

— Вы совершенно ничего не помните о том вечере? — спрашивает психиатр.

Я хочу ответить, но ком в горле мешает. Мотаю головой. Врач дает мне напиток. Я глубоко дышу. Он открывает окно, впуская в комнату шум деревьев.

— Совсем ничего, — говорю я. — Мне очень жаль.

Врач обращает задумчивый взор в потолок, потом перебирает записи. Под шелест страниц за моей спиной открывается дверь.

— Увозить? — голос санитара.

Доктор еще некоторое время что-то читает в папке. Затем поднимает голову и говорит:

— Да-да, увозите.

Три дня меня не беспокоят. Остается лишь гадать, что это — новый элемент лечения или доктор, как и все, кто лечил меня раньше, убедился в безнадежности моего случая? Эти дни я провел в полном бездействии, развлекаемый только приемами пищи и утренними гигиеническими процедурами. Когда на четвертый день санитар после умывания свернул не в сторону камеры, а в лечебный корпус, я был удивлен. Значит, еще не все потеряно, значит, остаются какие-то неиспользованные резервы.

Доктор встречает меня широкой улыбкой. На нем новый элегантный костюм, из нагрудного кармана торчит кончик платка, длинные волосы аккуратно причесаны. Санитар неловко поворачивает коляску, и я больно стукаюсь коленом об угол стола. Доктор прогоняет санитара и сам располагает кресло так, как надо ему. С высоты своего роста он смотрит на меня, и хочется поднять руки, чтобы защититься от этого взгляда.

— Ваш случай заставил меня поломать голову, — говорит доктор.

Он садится за стол, поправляет метроном. Статуэтка сегодня развернута в мою сторону, оказывается, это не животное. У фигурки оскаленное и перекошенное злобой, но человеческое лицо в головном уборе из перьев.

— Барьер в вашем сознании непробиваем для моих методов, — продолжает он. — Хотя вчера вечером возникла одна интересная мыслишка, проблеск, игра ума, которую мы сейчас проверим.

Я ничего не понимаю, и, видимо, ему ясно это по моему взгляду.

— Сегодня я хочу подвергнуть гипнозу другого свидетеля, — говорит врач с легкой улыбкой. — Смотрите, что у меня есть.

Он достает из верхнего ящика что-то маленькое, круглое, сплюснутое и ставит на стол. Я видел такой предмет раньше, очень давно, только не помню, как он называется. Он лежит, покачиваясь, на боку, я открываю рот, чтобы назвать его, но не издаю ни звука. Я забыл. Психиатр улыбается.

— Ну же, ну, вспомнили?

Я закрываю глаза. Предмет обретает новую форму, изгибается, как змея, и его короткое, как укол, имя выплывает из глубин памяти.

— Юла! Юла! — торжествующе кричу я.

— Правильно, — говорит врач, — с помощью этой юлы мы допросим еще одного свидетеля.

Я верчу головой, однако в комнате, кроме нас двоих, никого нет.

— Не оглядывайтесь, не надо, — опять улыбается доктор. — С помощью этой штуки я хочу допросить Сарториуса.

Мной овладевает недоумение. Мысли испарились, для меня теперь существует лишь матовая столешница и маленькая игрушка на ней. Доктор протягивает руку, берет юлу и несколько раз нажимает на торчащий



сверху шпенек. Легкое шуршание — и юла становится вертикально, полоски на ее боках сливаются в сплошные кольца, от которых не отвести взгляда. И все-таки я отвожу глаза.

Доктор обходит кресло и сжимает мою голову руками, направляя на юлу.

— Смотри, смотри, — говорит он.

И я смотрю.

Я теряю сознание. Доктор бережно отпускает голову, она безвольно заваливается на плечо. Врач щупает пульс. Юла вращается все медленнее, запинаясь и наконец опрокидывается. Некоторое время она катается по столу, потом замирает. Врач смотрит на часы. Пациент дышит глубоко, ровно. Психиатр включает магнитофон.

Больной резко приходит в себя. Врач делает пометку и с интересом наблюдает. Человек в кресле затравленно озирается по сторонам, дергает руками и ногами, словно не чувствует, что они привязаны к креслу. Он совсем не похож на того пациента, который потерял сознание три минуты назад. Начиная от линии роста волос до подбородка у него другое лицо. Врач отмечает этот факт в блокноте и продолжает наблюдать.

Пациент грязно ругается.

— Где я? Где я, мать твою? — кричит он.

— Вы в больнице, — отвечает доктор. — Назовите свое имя.

Больной молчит, только тяжело дышит.

— Развяжи меня.

— Назовите свое имя, — повторяет доктор.

Пациент рывком пробует освободить руки, но делает себе больно. Он опять ругается и откидывается на спинку каталки.

— Зачем меня связали? — спрашивает он.

Врач что-то чертит на листе бумаги.

— Ты ведь Сарториус?

Больной замирает и исподлобья смотрит на психиатра. Губы его шевелятся, если приглядеться, можно разобрать ругательства.

— Ты не помнишь, что произошло? — спрашивает доктор.

Пациент молча пытается освободиться от ремней, кричит от напряжения. Врач останавливает метроном, прячет его в ящик стола.

— Совсем ничего не помнишь?

Взгляд больного полон злобы. Да, такой может убить, думает психиатр. Он замечает, что пленки на бобине осталось не очень много, нужно поторапливаться.

— Ты убил человека, — говорит доктор. — Ножом для бумаги. Нанес двенадцать ударов. Вспомнил?

Человек в кресле-каталке продолжает смотреть с ненавистью, хотя теперь его глаза слегка прищурены, словно врач сидит за пятьдесят метров. Зрачки бегают, будто ищут какой-то выход.

— Да, именно двенадцать ударов. Половина смертельных. Залил кровью всю комнату. Неужели забыл?

— Врешь! Я никого не убивал! — кричит пациент.

У него низкий, срывающийся на хрип голос. С губ слетает слюна, в остервенении он сжимает кулаки, ногти впиваются в ладони.

— Отпечатки пальцев на ноже принадлежат тебе, — не соглашается доктор. — С такими уликами не поспоришь.

— Он был мертвый! Когда я пришел, он уже умер!

Больной раскачивает кресло, впрочем, не настолько сильно, чтобы оно упало. Стены кабинета хорошо поглощают звук, тем не менее дверь тихонько приоткрывается, в щели возникает голова санитары с вопросительной миной на лице. Врач яростно машет, голова исчезает.

— Так, значит, он уже был мертв?

— Да! Да!

Голос пациента переходит в хрип, голова задрана к потолку, под полузакрытыми веками видны края белков. Он продолжает раскачивать кресло, на руках под ремнями проступают кровоподтеки.

— Он был весь в крови, весь, абсолютно, а нож был у меня в руке, но я не убивал его. Я не помню, как попал в эту комнату. Открыл глаза — и все в крови: пол, стены, моя одежда... Но я никого не убивал, никогда никого не убивал!

Пациент прикусил губу, и тонкая красная струйка сочится по подбородку.

— Там был кто-то еще, за спиной, я хотел обернуться, и тут ворвались люди, схватили, повалили меня, ударили, а потом я опять ничего не помню. Я не убийца, не убийца!

Он невероятным усилием выгибает грудь, ремни трещат, кажется, руки сейчас выскочат из суставов. Членораздельные слова заканчиваются, человек просто хрипит, брызгая смешанной с кровью слюной. Еще одна конвульсия, кресло опрокидывается назад, однако, даже ударившись затылком об пол, больной продолжает содрогаться и хрипеть.

Врач открывает ящик стола, достает шприц с бурой жидкостью и бросается к пациенту. Делать укол неудобно, приходится встать на колени. На расстегивание манжеты времени нет, поэтому доктор с размаху всаживает шприц в основание запрокинутой шеи. Через несколько секунд больной успокаивается и обмякает.

Кожа с запястий содрана до крови, пижамная куртка спереди испачкана. Врач с усилием поднимает кресло и ставит его на колеса. Голова пациента свешивается на грудь, на затылке видна огромная шишка. Доктор выключает магнитофон и нажимает кнопку под столешницей. Появляется санитар.

— В изолятор на сутки.

Еще некоторое время сидит за столом, задумчиво чертит на листе бумаги, поглаживает статуэтку и смотрит в окно. Погодя поднимает трубку телефона, жужжит номеронабиратель. Разговор не занимает много времени. Потом доктор перематывает бобину к началу записи и еще раз прослушивает.

На следующий день в кабинет входит Гектор. Ему неудобно, хотя он бывал в больнице много раз, он не знает, куда деть трость и шляпу, наконец усаживается в кресло и закидывает ногу на ногу. В молчании проходит несколько минут. Доктор увлеченно пишет, не глядя на посетителя. Тот берет со стола статуэтку, крутит ее в руках.

— Занятная штучка, — говорит он. — Такая тяжелая.

Доктор поднимает взгляд, недовольно морщит губы:

— Ей больше пятисот лет. Мой брат, археолог, привез ее из Мексики.

Гектор рассматривает фигурку с разных сторон. Видит оскаленные зубы и острые когти.

— Какое злое лицо. Это какой-то демон?

Врач смеется:

— Это ацтекская богиня врачевания Иштлильтон, в переводе означает «черное личико». В некотором роде моя коллега.

Гектор ставит фигурку на место.

— Так зачем вы просили меня приехать? С моим братом что-то случилось?

Психиатр откладывает бумагу, проводит рукой по волосам, поправляет галстук.

— Нет, с ним все в относительном порядке. Хочу поделиться с вами результатами терапии.

Психиатр щелкает переключателем на магнитофоне, звучит голос. Это запись вчерашнего сеанса. Гектор внимательно слушает, хмурится, смотрит на доктора. Тот невозмутимо продолжает писать, время от времени переворачивая листы блокнота. Голос на пленке меняется, Сарториус кричит, маломощные динамики дребезжат. Врач видит на лице гостя неподдельный ужас, смешанный с крайним изумлением. Ближе к концу записи он вскакивает с места и делает несколько нервных шагов по комнате, обхватив голову руками. Психиатр спокойно наблюдает.

Запись кончается, слышно пустое шипение пленки, и доктор выключает магнитофон. Гектор стоит спиной к нему, уперев руки в стену, плечи его дрожат. Врач достает из тумбы стола графин с водой и залапанный стакан. Булькает вода, доктор поддвигает стакан поближе.

— Выпейте, — говорит он. — Теплая, к сожалению.

Гектор поворачивается, на щеках его блестят слезы. Он долго пьет, дыхание сбивается, вода течет по подбородку. Он отставляет стакан.

— Это правда? — спрашивает он. — Это все правда?

— Вы же сами слышали.

— Значит, он никого не убивал?

Доктор задумчиво смотрит на статуэтку, передвигает ее немного вбок.

— Не знаю, — произносит он спустя некоторое время. — Не думаю. В любом случае это повод инициировать новое расследование, созвать заседание новой экспертной врачебной комиссии. Я напишу письмо в комитет здравоохранения и управление полиции. Полностью вашего брата,

конечно, не освободят, но есть неплохие шансы перевести его в учреждение санаторного типа. При наличии грамотного адвоката, естественно.

— Конечно-конечно, — быстро кивает головой Гектор.

Доктор недовольно морщится, он не любит, когда перебивают.

— Я надеюсь, — говорит психиатр. — Будет необходима поддержка в комитете. Вашего покойного отца, я думаю, там еще помнят по благотворительности. Да и вы не последний человек в попечительском совете. И еще потребуется куча денег.

Гектор молча кивает. Потом спрашивает:

— Если мой брат не убивал, то кто убийца?

Доктор пожимает плечами:

— Это меня интересует мало. Пусть полиция разбирается. Ищет, кому выгодно.

Гектор садится за стол, кладет ногу на ногу. Он уже взял себя в руки, как настоящий бизнесмен, увидел цель, к которой нужно двигаться.

— Слишком много тех, кому выгодно, — рассуждает он. — Наши конкуренты, бывшие партнеры отца. Даже я. Вы помните, наверное, какие нелепые слухи муссировались в желтых газетах после гибели родителей — намеренно испорченные тормоза и все прочее.

Доктор разводит руками:

— Меня это не интересует. Мое дело — заботиться о здоровье и безопасности пациента.

— Как быстро вы сможете его отсюда перевести?

— Подбор членов врачебной комиссии, еще несколько сеансов гипноза с участием независимых экспертов, заседание комиссии, заключение, рекомендации... В лучшем случае полгода. При условии вашей заинтересованности, конечно. И финансовой поддержки.

— Конечно, я очень заинтересован, это же мой единственный брат. Только... — Гектор опускает глаза и что-то невнятно бормочет, тербит браслет своих часов. — А не могли бы вы провести сеанс терапии прямо сейчас? — Голос его подрагивает, как у человека, который старается не заикаться. — При мне.

— Вы боитесь, что я попытаюсь вас обмануть? — Врач повышает голос и привстает со стула. — Но зачем?

Гектор продолжает смотреть в пол, тема ему неприятна.

— Нет, — говорит он, — я вам доверяю. Просто я никогда не верил, что брат мог кого-нибудь убить. Теперь появился шанс вытащить его отсюда. Я ждал этого долгие годы и не хочу обмануться.

— В чем обмануться?

— Я ждал слишком долго не для того, чтобы стать жертвой розыгрыша или чужой злонамеренности. Я доверяю вам, тем не менее прошу позволить мне увидеть и услышать все самому.

Доктор молчит, смотрит на фигурку на столе, словно спрашивает у нее совета. Богиня скалит зубы, каменные перья топорщатся у нее на затылке. Видимо, она подсказывает, что каждый психиатр — это в первую очередь исследователь и экспериментатор.



— Ладно, — наконец соглашается врач, — давайте попробуем. Это не совсем в правилах нашего учреждения, впрочем, не думаю, что это опасно. Может, ваше присутствие поможет раскрыть какие-то новые факты.

Полчаса проходят в суете. Доктор звонит по телефону, отдает распоряжения. Гость тихонько сидит и наблюдает. В комнату ввозят брата, он под воздействием лекарств, однако узнает Гектора и улыбается, слабо шепчет что-то приветственное. У него изможденный вид, нижняя губа распухла. За его спиной безмолвный санитар таращится в стену, ожидая дальнейших указаний.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает психиатр.

— Ничего, голова болит, — тихо говорит пациент.

Гектор, взглядом испросив разрешения у врача, подходит к брату и, припав на одно колено, как рыцарь перед сюзереном, обнимает его. От брата пахнет лекарствами и дешевым отбеливателем. Его руки не приязаны к креслу, правая свободно свисает.

— Я вытаску тебя отсюда, — шепчет Гектор на ухо.

Брат слабыми и плохо скоординированными, как у маленького ребенка, руками пытается обнять Гектора, но получается просто погладить его по плечу. По лицу Гектора текут слезы.

Санитар выходит, повинувшись жесту врача.

— Я включаю запись, — раздается голос.

Что-то шуршит, стучат ящики стола.

— Хватит, хватит, — нетерпеливо говорит врач, — отпускайте его.

Гектор слушается, рука брата опускается и касается пола. Глаза ничего не выражают. Щелкает переключатель, шелестит магнитофонная лента.

— Подкатите его поближе.

Гектор обходит кресло, берется за скользкие рукоятки и двигает его к столу. Сверху ему видна большая шишка на голове у брата. Доктор ремнями пристегивает его руки к подлокотникам, потом шею и торс, проверяет крепления и силу натяжения, от усердия по-детски высовывает язык.

— А теперь отойдите в сторону и не мешайте.

Гектор становится сбоку и видит, как доктор выставляет на середину маленькую, ярко раскрашенную юлу. Несколько энергичных движений — и волчок с тихим гудением плывет над поверхностью стола.

— Смотри внимательно, — говорит врач.

Гектору тяжело отвести взгляд от слившихся воедино полос на боках волчка, краем глаза он все же замечает, как брат откидывает голову, закатывает глаза и начинает трястись. Рот его полуоткрыт, хриплое дыхание срывается с губ. Доктор полностью поглощен процессом, он склоняется над креслом, ничего не замечая вокруг. Гость берет со стола статуэтку. За длинными волосами на затылке доктора, как яйцо журавля в траве, прячется беззащитная лысина. Гектор медленно заносит руку для удара, однако в последний момент останавливается.

Он видит, что брат пришел в себя. Вернее, это уже Сарториус в теле брата.

— Опять ты, — произносит Сарториус. — Я тебя знаю.

Гектор ставит статуэтку обратно и прячет руки за спину. Ему неуютно под этим тяжелым взглядом исподлобья. Доктор выпрямляется и тоже внимательно смотрит на него, поправляя очки. Стекла блестят, и выражения глаз не разобрать. Гектор неуверенно кивает. Сарториус растягивает рот в гримасе, он то ли улыбается, то ли готов плюнуть от отвращения.

— Ты был там, — говорит Сарториус. — В той комнате.

Гектор пожимает плечами, отходя подальше.

— Ты первый меня схватил! — кричит Сарториус, делая тщетную попытку встать. — Но ты был там и раньше. Я помню твой запах! Этот одеколон не спутаешь!

— Да ты сумасшедший.

Доктор обеспокоенно трогает магнитофон, ленты на бобине все меньше.

— «Легат»! Вот как называется одеколон! — Кресло раскачивается и подпрыгивает под извивающимся Сарториусом. — Я и отсюда слышу его запах! И та комната вся им провоняла!

— «Квестор», — шепчет Гектор тихо, чтобы не услышал врач.

Он ничего не может с собой поделать, бизнес приучил к точным формулировкам.

Сарториус видит его шевельнувшиеся губы и скалитяся:

— Да, вся комната пахла тобой! Я тебя почувял!

Он дергается все сильнее и сильнее, вены вздуваются на шее и лбу, с искусанных губ слетает пена. Доктор достает из верхнего ящика шприц с бурой жидкостью.

— Ты был там до меня! Это ты его убил! Убийца! Убийца! — орет Сарториус, а потом начинает хрипеть, закатывая глаза, его шея изгибается под неестественным углом.

— Сделайте же что-нибудь, доктор, — тихо говорит Гектор.

— Подержите голову, — командует врач. — Крепче, еще крепче!

Он с усилием делает укол в одну из набухших на шее Сарториуса вен. Гектор изо всех сил сжимает мокрую от пота голову, жалея, что его руки не обладают мощностью гидравлического пресса. Он чувствует, как Сарториус уходит, и вот уже баюкает голову своего брата, перебирает волосы и потом очень аккуратно опускает ее ему на грудь. Он знает, что прошло слишком много времени, что поступки его необратимы, но, глядя на мирно спящего брата, понимает: это все, что осталось от его прошлой жизни.

Доктор выглядит озадаченным. Он выключил магнитофон и сидит за столом, делая бессмысленные пометки в блокноте.

— Признаться, не такого результата я ожидал. — Он явно смущен. — Видимо, ваш вид пробудил у него некие глубинные чувства, которые... — Он проводит рукой в воздухе, подбирая слова, хотя даже лучший в мире дипломат не нашел бы правильных слов.

— Ничего, — говорит Гектор, — он же болен. Спасибо, что дали мне возможность поучаствовать в вашем эксперименте и увидеть все собственными глазами.

— Но с этими результатами... полиция... — бормочет врач.

Когда дело касается медицины, он царь и бог, ступая же на земли уголовного права — теряется.

— Наоборот, я теперь уверен, что брат невиновен. — Гектор особо нажимает на последнее слово. — Еще несколько сеансов терапии — и вам, я думаю, удастся установить полную картину. Продолжайте, я надеюсь только на вас. И моему брату тоже надеяться больше не на кого. Простите, мне нужно идти.

Он энергично пожимает руку доктору и выходит из кабинета. Врач задумчиво смотрит ему вслед. Пациент спокойно спит в своем кресле. Санитар увозит его.

Гектор покидает здание быстрым шагом. Ему надо позвонить, однако он не хочет пользоваться телефонами-автоматами в вестибюле больницы. Перейдя через улицу, он заходит в телефонную кабину у ворот пустынного парка и закрывает дверь. Сквозь мутное стекло видно, как он роется в кармане, роняя монеты, яростно срывает трубку и набирает номер. Отвечают почти мгновенно. Губы Гектора быстро шевелятся. Он уже принял решение и хочет скорее его высказать, чтобы слова освободили его из плена собственных мыслей. Слышны только отдельные слова: «пожар», «мне плевать, сколько стоит», «сегодня же», «на твое усмотрение».

Он вешает трубку не прощаясь и выходит из кабинки. Снаружи тот же пасмурный день. Гектор не узнает ни улицу, ни район. Он трясет головой, чтобы вернуть ощущение реальности, понять, как он здесь оказался.

На центральной аллее парка играют два маленьких мальчика, на вид погодки. На скамейке поблизости сидит пожилая женщина, кутаясь в старомодное драповое пальто. Искусственные цветы на ее шляпке колеблются в такт движениям головы, поверх очков с толстыми линзами она любовно наблюдает за играющими детьми. Гектору нужно спешить, сейчас каждая минута на счету, но он не двигается с места и с ужасом замечает, как младший мальчик, смеясь, гонит старшего прямо на него. Старший притворяется, что напуган, а сам не может сдержать радостной улыбки.

Гектор пересиливает себя и делает шаг в сторону. Старший мальчик неловко поворачивается, чтобы не задеть мужчину, и сбивается с шага, шаркая ногой по опавшим листьям. Младший же делает прыжок, ловит его за хлястик пальто и торжествуя кричит:

— Поймал! Поймал! Бабушка, я поймал!

Мальчики, громко дыша и хватая друг друга за рукава, начинают бороться, красные и желтые листья разлетаются из-под ног.

Гектор смотрит на них, и к горлу подкатывает комок. Он разворачивается и быстро уходит, оставляя парк и играющих детей за спиной, стараясь ни о чем не думать и ничего не чувствовать.

Владимир КОСОГОВ

РАСПИСАНИЕ НА УТРО

* * *

Вот мой дед пережил сыновей,
И поэтому жизнь его съела
До распухших артритных костей,
Но до сердца дойти не сумела.

Разве смерти спокойной просил
В 43-м и позже, когда он
У сыновних горячих могил
Предынсультно трусился, как даун?

Будешь плыть через мутный ручей
На Никольщину в дом деревянный,
Поздоровкайся с жизнью ничьей,
Поклонись головой окаянной

И отцу моему, и дядьям,
И спасительной ангельской твари
Лишь за то, что идти по пятам
Глупым внукам они не давали.

* * *

М. К.

Пойдем со мной до поворота,
Где недостроенный дворец
Стоит как памятник комфорту
И жизни смертной образец.

Вот так закончится внезапно
Отца-строителя дисконт.
Оставишь вещи — и обратно
Въезжаешь в черновой ремонт.

* * *

Опохмелиться бы неплохо
Дешевым пивом разливным,
Пока от выдоха до вдоха
В гортани жжет табачный дым.
И ничего не остается:
Смотри хмелеющим зрачком,
Старик залиvisto смеется
Над одиноким двойником.

Тебе, который верил в чудо,
Певец густых коньячных смол,
Вот расписание на утро:
Диклофенак и корвалол.
И как судьбе ни корчи рожи,
Она опять задаст вопрос:
«Готов на выход? Ну чего же?»
Не надо, мальчик, горьких слез!»

* * *

Вот жизнь осталась пребольшая,
Как школьный глобус голубой.
И участь эту предвкушая,
Я не спешу сказать: «Отбой!»

Вот лес стоит, за лесом — поле.
Банальнее не сочинить.
Что дальше: счастье или горе?
Кого спросить?
Я лишь одно понять не в силах:
Кто это выдумать помог,
Чтоб рос на папиной могиле
С ромашками чертополох?

Срываю голыми руками
Живучий каменный сорняк.
И плавится под лепестками,
И не просыплется никак
Пыльца колючая, густая,
Оставленная на потом
Вот здесь, где ада нет и рая,
А только рыхлый чернозем.

Я так учусь живых и мертвых
Распознавать по бахrome
На листьях этих распростертых,
Как руки папины — ко мне.
Живите, клейкие прожилки!
Могильный камень, костеней!
Не время собирать пожитки,
Переселяться в мир теней.

Мне так судьба преподавала,
И я в кулак сжимал ладонь.
А мама рядом заказала
Табличку: «Бронь».



Анатолий БАЙБОРОДИН

ПЕСНЯ ЖУРАВЛИНАЯ МОЯ

Р а с с к а з

Тихо отчаливал старый паром, тихо скользил по сомлевшей на солнце белесой и сонной реке. Глухо; лишь журчала вода за кормой, всплескивала, лобзая ржавые борта. Стриженные под нуль колхозные призывники протяжно и томительно глядели с парома на уплывающий берег, где белели шиферными крышами избы и амбары села Покровка, где печально замерли отцы и матери, други и подруги. Парни стояли не шелохнувшись, словно уже в боевом строю, словно приросли к дощатому настилу, боясь спугнуть ощущение последних судорожных объятий, легкий запах девичьих волос, волну дыхания на щеках.

Рядом с призывниками голубоглазая баба в цветастом полушалке, оплывающем на плечи, в цветастом сарафане, отчего похожа на васильковое и ромашковое поле. Среди парней-призывников, среди их любви и печали от недавней разлуки в далеком далеко увозил тихий паром чудную бабенку, сидящую на чемодане. Сонный покой в ее лице, щекастом, веснушчатом, в глазах, думно иль бездумно обмерших, безбрежных, безмятежных, как томное, знойное небо; и лишь колыхала пухлые губы блажная улыбка, когда косилась баба на странную парочку: призывник, сухой, долговязый, опустив голову, коромыслом изогнулся над махоней и, печально глядя на русую косу, молча сжимал девичьи ладошки. Убережет ли косу? не расплетет ли? Парень на три года во флот идет. А дева что альый цветок, на который и летит мотылек.

Паромный народ, узрев робкую парочку, утих; затаилась, задумалась и полуденная серебристая река, бережно, абы не расплескать любовь, несущая паром с парнями, что томительно глядят на девчонок, оставленных на берегу. А мне, усталому бродяге, развеявшему любовь на шальных городских ветрах, вдруг помянулась скорбная частушка: ее пели отчаянные девахи на армейских проводинах.

Милый в армию поехал,
Не оставил ничего,
Только легонький поминочек —
Ребенок от него...

Еще вспомнилось: топал хмельно и раскачисто по узкому и шаткому мосту, повисшему над закатной речкой; вижу, на мостике темнеют два силуэта, и я вкрадчиво, шепотом шел мимо чужой любви, стараясь не греметь сапогами, но вдруг и не по воле своей замер от тоски по юности, спаленной грехом: «Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать...»

На чудную бабоньку, что, теребя косу, нет-нет да и гляделась в реку, точно в зеркало, с берега тоскливо взирал мелкий взъерошенный мужичок; и я, в те дальние восьмидесятые бродячий репортер, был наслышан про их любовь и разлуку. В деревне же как: у околицы чихнул — посреди поселя «будь здоров» говорят; и еще, бывало, не успеет синичка воркнуть, а про нее уже как про соловушку поют. Так и про эту забавную супружескую пару изрядно соткалось сплетен. Аграфена Павловна, вдовуха-вековуха, бывшая школьная литераторша, приютившая меня, домысливая и довоображая, поведала. Может, как вдова, шила широки рукава, было б куда класть небывлые слова...

* * *

Клавдия Щеглова, в девках Полоротова, родилась и выросла в глухой таежной деревушке, в городе выучилась на библиотекаря и была послана в село Покровка обрацать здешний речной народец в книгочеев. Чтоб не одни школьники да служащие, но и мужики с парнями почитывали книги, грели душу не водкой, прозываемой «сучок», а повестями Пушкина, Гоголя, Лескова и Шмелева. Три зимы и три лета библиотекаря, так ее звали на селе, жила в светелке у Аграфены Павловны (та ютилась в запечной каморе), а выйдя замуж, укочевала к мужу в его родовое гнездо.

Лет уж пять отжили, правда, чада не нажили, и вдруг мужняя женка по уши втрескалась в учителя литературы. И учитель, белокурый, по-отрочески ладный, зорево алел, нервно потирал очки, когда Клавдия, широкая, словно речной паром, покачиваясь на незримых волнах, плыла по библиотеке, и ветром сносило девку к учителю, который читал толстые журналы без картинок и выписывал в амбарную книгу мудрые мысли.

Долго ли, коротко ли, стали голубки ворковать вечерами, беседовать об искусстве, и однажды учитель, когда остались с глазу на глаз, повеличал Клавдию Моной Лизой кисти художника Леонардо да Винчи. Тут Клавдия и ошалела, хотя поправила учителя: дескать, на Мону Лизу смахивает доярка Дуся Машанова, она же — толстопятая замоскворецкая купчиха, что сошла с кустодиевского холста.

И все же учительские речи сладостно встревожили Клавдию. Баба — горшок: что ни влей — все кипит. Будучи в районном селе, спросила в книжной лавке «Мону Лизу».

— Разобрали «Мону Лизу», девушка, — развела руками пожилая торговка.

— Разобрали... — печально, но понятливо вздохнула Клавдия и подумала: «“Моны Лизы” сроду не залеживаются». — А «купчихи» Кустодиева есть?»

— «Купчихи»-то есть в заначке. Только и на «купчих» нынче большой спрос, — ответила торговка, приволокла репродукцию в резной золоченой раме и пояснила: — «Красавица», Кустодиев.

Оглядела Клавдия нагую, обильную красу — русую косу, однако брать постеснялась, впрочем, пожалев продавщицу, что волокла из чулана тяжкую картину, и чтобы внести хоть малую лепту в торговую выручку, взяла картину Васнецова, где Иван-царевич, обняв царевну Елену, скачет на Сером Волке сквозь угрюмую, дремучую тайгу. Клавдии померещилось: Иван-царевич похож на школьного учителя, а ежели бы с бородкой, то смахивал бы и на красавца жениха, что перед венчанием в храме держал невесту за бледную, яко свеча, сухонькую ручку, ожидающе глядя на алтарь, откуда явится батюшка. Обручение и венчание Клавдия узрела в далеком студенчестве, когда веющим ветром занесло деваху в храм, чудом не порушенный в зловещную хрущевскую «оттепель». Ночами спала она теперь порознь с мужем, в горнице, на тахте, а ино и посередь дня блазнилось грешной: она и учитель замерли пред святым аналоем и ждут, когда батюшка нанижет золотые кольца на их персты и возложит венцы на их счастливые головушки.

Когда сосны атели в закатном зареве, покровский народец видел: чудная парочка — баран да ярочка за околицей бродят, а может, и блудят; а бобылка божилась, что Кланька по давнишней дружбе поведала о роковой страсти, мол, однажды не удержалась и поцеловала учителя в губы, а парень испуганно шатнулся: «Что вы творите, Клавдия Ивановна?! Я же вас люблю платонически...» — «Это че, через плетень?» — заржали бы деревенские мужики, словно жеребцы застоялые.

Саня Щеглов, муж Клавдии, знатный плотник, как и водится у мужей, последним узнал о том, что баба его хвостом вертит, и, когда лоб зачесался (видно, рога режутся), поинтересовался:

— Ну что, Полоротова, — в сердцах Саня обзывал бабу девичьей фамилией, — на мужиков потянуло? Романов начиталась, прекрасна — кобыла савраса?!

Клавдия в отличие от иных библиотекарей любила читать; в избе, бывало, ни убору ни прибору, мужик голодный, а баба посиживает с книгой возле окна и на Санино ворчание ухом не ведет. Махнет он рукой, напаялит фартук и самолично жарит, парит, а надо — так и бельишко постирает в машинке. Проведав о сем, Санины родичи осудили невестку: мать, жалеючи сына, плакала, отец велел чаще поколачивать Кланьку, а баба Ксюша горько пожалела, что присушила девку малиновым вареньем, над коим шептала любовный заговор. И до умопомрачения начиталась Клавдия любовных историй, коими изба-читальня кишмя кишела, и даже осилила куртуазный роман о рыцаре Тристане и принцессе Изольде, отчего легко пал на душу и роковой шекспировский роман, после которого

сельская книгочехя иногда печально и певуче шептала: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», при сем вздыхала, как вздыхают коровы, тоскливо пережевывая сухую солому, поминая летнее разноцветье-разнотравье, где кружил породистый бычок...

Канет четверть века, и, поминая сладостные страдания, Клавдия, детная баба, услышит потеху, поведенную здешним батюшкой отцом Евгением, гостившим в итальянском городе Вероне, что ославился любовью страстием Ромео Монтеки и Джульетты Капулетти. Туристы, коли без Бога и царя в пустозвонной башке, оказавшись подле статуй (собачушка, кошурка, дойная корова, скаковой жеребец), загадав желание, исподтишка ли, откровенно ли потрут где нос, где хвост; в Вероне же, пробившись к статуе Джульетты, трут ее бронзовую грудь, тьмою рук вышарканную до серебристого блеска, с пеной на губах бормочут заклинания; и благо, благо, что рядом нет Ромео, а то и Ромео бы потеряли...

Волновалась Клавдия, читая романы, а уж как дошла до блудных сказов Ивана Бунина, то и вовсе ошалела от блажных мечтаний, правда, всякий раз краснела, будто юная гимназистка, когда автор откровенно живописал темный мимоходный блуд, что походил бы на грубые звериные случки, кабы не столь нежный стиль изложения.

Блуждая в любовных историях, воображая себя Изольдой, Джульеттой, бедной Лизой, тургеневской девицей, бунинской Русей либо иной дамой сердца, воспетой любовными певцами, Клавдия пыталась представить Тристаном или иным рыцарем своего приземистого, косолапного мужа, но выходило горько и смешно. Саня — рыцарь? Кого смешить? И теперь, слушая школьного учителя — вот рыцарь сердца! — Клавдия гадала: каким шальным ветром занесло ее, высокую и широкую, с институтским «поплавком», в жены к недомерку Сане Щеглову? Вроде полюбила плотника за его любовь и думала, через год понравится.

Прознав бабьи шалости, муж решил сор из свежесрубленной избы не выносить, а под лавку копить, мыслил укрыть бабь грех, а Бог ему два простит. Да только в деревне добрая слава лежнем лежит, худая — как ветер летит. С другого края села приметелила баба Ксюша, не то молодуху осрамить, не то супругов примирить, однако Саня не пустил старуху даже в ограду. И отца, с которым плотничал, осадил, когда тот завел было речь о Клавдии.

Мужнин грех за порогом живет, а жена грех в дом несет, вот жизнь избяная и пошла кувырком: если и раньше изба не славилась красными углами и печеными пирогами, то ныне и вовсе обеспризорилась. Саня, любя как душу, решил потрясти бабу как грушу: подпив для храбрости, кинулся на Клавдию с кулаками, но, будучи на голову ниже и вполовину уже, словно башкой о скалу ударился и откатился. Тогда он в сердцах сданул стаканом по зеркалу, где маячила его злая багровая рожа.

Порешил было учителя за хохол да об стол и нагрянул, когда паренек, заломив русую головушку, обморочно запахнув глаза телячьими ресницами, токовал посреди избы, ровно тетеря в ельнике:

Я помню чудное мгновенье:
 Передо мной явилась ты,
 Как мимолетное виденье,
 Как гений чистой красоты...

В сие чудное мгновенье и явился хмельной и злой Саня.

— Воркуете, блудодеи?! — прохрипел плотник и, хотя от горшка полвершка, черной тучей пошел на учителя, но тот, не ведая страха, лишь поправил очки в тонкой золотистой оправе и возмущенно спросил:

— Блудодеи?

— А кто же вы?! Кто она, ежели при живом-то муже...

— Да как вы смеете такое говорить?!

Бесстрашие учителя смутило Саню, сбило боевой азарт, а учитель пуще наседал:

— Да как вы могли такое подумать о Клавдии Ивановне?! Как вы могли целомудренную женщину повинить в таком страшном грехе?! Нет, вы недостойны своей жены! Вы же варвар... Я на месте Клавдии Ивановны покинул бы такого самодура и уехал из вашего дикого села.

* * *

Вскоре литератор укатил из дикого села в умный город Иркутск, поступил в аспирантуру и поселился в аспирантском общежитии, а Клавдия, истосковавшись по учителю, рванула в Иркутск на поиски любви. Полетела птица синица за тридевять земель, за сине море-окиян, в тридешато царство, басурманско государство, где берега кисельны, а реки молочны. Саня, скрипя зубами, смирился, хотя стонала и плакала душа, о чем мужик и мне печалился, когда, уместившись на плешивом бревне, пили приторно-сладкий портвейн «три семерки» и глядели в потаенно-темную, мятежно-спящую реку, устало вздыхающую и бормочущую спросонья...

По-деревенски несправданный (плотницкая бригада детские ясли рубила), ершистый мужичок, словно высоко спиленный скорбный пень, долго торчал на берегу, глядя на уплывающий паром любви, и слезы туманили взгляд, и вольный речной ветер трепал полы его клетчатой рубахи навывпуск. Пять лет с женой прожили, но любовь его не полиняла, не износилась, разве что, упрятавшись поглубже, стала несуетливой и невыпяченной. Суетливой и смешной она стала потом, от слепого отчаянья.

А на тихом пароме, похрипев прокуренной глоткой, откашлявшись, запел незримый солист, потянул неожиданно ясным, распевным голосом, и над маревной рекой, над станovým левым берегом со скалистым крутояром и правым берегом с пойменными лугами и кочкастым калтусом¹ широко и вольно закружилась русская песнь:

¹ Калтус — топь, болото.



Ты лети от Волги до Урала,
Песня журавлиная моя...

Какая ж песня без баяна?
Какая ж зорька без росы?
Какая Марья без Ивана?
Какая Волга без Руси?

С улыбкой помянула Клавдия: сумерничают, бывало, на крыльце, и Саня, отмашисто играя на гармонии, оглашает двор и черемуховый палисад журавлиной песней, а допев, обнимет суженицу, отведет от уха русую прядь-завлекалочку и прошепчет: «Песня журавлиная моя...»

Воистину, счастье без ума — дырявая сума. Деревенские мужики и бабы, что постаивали на речном яру, дивились дураку, когда Саня провожал срамную жену к другому и даже чемодан волок до парома. Посмешили народ Саня с Кланей: мужики зубоскалили, сплетенные бабы мыли косточки непутевой семейке, благочестивые бабы жалостливо вздыхали, сварливые старухи плевали, глядя, как Щегловы по витой козьей тропе спускаются с крутояра, а богомольные старухи осеняли крестом их души: прости, Господи, не ведают, что творят...

Горькая тишь повисла над рекой. Это какое же странное сердце у мужика, коли провожал жену к другому, коли во имя любви, а может, неясной грешной блажи поступился своей намоленной любовью и даже мужицким чувством собственности? «Лишь бы ты, Кланя, счастлива была. Тогда и я буду счастлив...» Саня словами не облаченно — в душе убеждал лобастого учителя: хоть мы и лапотные простецы, пропахшие дегтем и потом, а тоже можем любить и нежно, и свято. Могла же Клавдия, усевшись на бережку и глядя в лениво текущую речку, блажить о чем-то, что не испробовать на вкус — не хариус же копченый, что не учуять и на ощупь — не из сельской же лавки; и любовь излучалась от блажной бабы, застывшей в улыбчивом любовании миром и ожидании «чего-то такого», неясного, но красивого...

А на пароме иссякла, испелась журавлиная песнь, и — соль на Санину рану! — довоенный певчий Вадим Козин завел отчаянно-печальное:

Веселья час и боль разлуки
Готов делить с тобой всегда.
Давай пожмем друг другу руки —
И в дальний путь на долгие года...

* * *

Скользил паром по затаенной реке, и Клавдия, уместившись на чемодане, вглядывалась в берег, где остался Саня, и томительно долгой причальной волной нахлынули воспоминания...

Клавдия в душевном укроме гордилась, что полгода дружили и лишь потом поцеловались, да разве и поцеловались? Улучил Саня момент: закат на речке провожали, и зазноба, сидя на лысом бревне, блаженно укрыла глаза пушистыми белесыми ресницами — тут он торопливо и поцеловал. И отпрянул испуганно: рука тяжелая, даст по шее — с бревна слетишь.

Полгода парень, изнывая от нежности, провожал Клаву до Аграфены Павловны, пожилой и одинокой учительницы, в избе которой приезжая библиотекарша снимала угол; полгода парень после кино и танцев отшивал деревенских ухарей, что волками рыскали, коршунами кружили вокруг нее. Как будто и не из красы — полноватая, мешковатая, конопатая, как ржаной каравай, — а влекло парней; бывало, глянет сине и ласково, смущенно улыбнется, и блазнится дуралею: однако, паря, глаз на меня положила и вроде тревожно дышит, когда я в библиотеку вхожу. Но ухари боялись Саню: метр с кепкой, щелчком зашибешь, да вот беда — коли с отроческих лет топором машет, то и по башке махнет — долго не очухаешься. Да еще пограничник, приемами владеет, на арапа да голыми руками не возьмешь — вот парни, позарившись на библиотекаршу, повздыхав, и отступились. Побавались и Клаву: пусть на обличку простоватая, а другой раз из книжки такое загнет — на кривой кобыле не объедешь. К сему Кланыя, кажись, лишь Саню и привечала, хотя и венца не обещала.

Полгода плотник вечерами торчал в библиотеке — пас Клаву. Сперва листал журналы с картинками, нет-нет да и косясь со вздохом на библиотечную деву в короткой юбке, и та однажды усмехнулась:

— Что ты, Саня, все «Мурзилку» да «Крокодил» листаешь? Взял бы книжку добрую да почитал.

— Можно и почитать, ежели добрую-то книгу, — согласился парень, — а то я читал лишь книжку про деда Фишку...

— Георгий Марков сочинил, — пояснила Клава и, ласково глянув в Санины глаза, так улыбнулась, что у парня голова пошла кругом.

С той поры Саня журналы поглядит, а как приспееет время запирать избу-читальню, возьмет книгу под запись; на другой день сдаст и другую просит. Клава пригрозила: «Буду содержание спрашивать, потом выдавать». Пореже стал ходить, лишь когда прочтет, хоть бегло, наискось, чтобы промямлить, о чем речь в книге.

Позже, когда мы посиживали с плотником на берегу, тот смехом поминал:

— У меня кореш в парикмахершу влюбился. Волосы кажно утро поливал из лейки, чтоб шибче росли. Малость отрастут — бежит стричься. Я кореша спрашиваю: а ежели бы влюбился в Люську-медсестру, кажин день бы штаны спускал, чтоб она тебе в стегно укол ставила?.. А коли влюбился бы в Аду, что самогоном из-под полы торгует, дак и спился бы на пару с Адой... И не ведал я, братка, что и сам вяпаюсь — буду книги читать. Зимой, когда работы мало, дак денно и ночью.

А меня же за литературу из школы исключали. Ага. Учительша — вредная баба! — пристала с ножом к горлу: перескажи про любовь Андрия к полячке. Помнишь «Тараса Бульбу»? Ага, буду я пересказывать, как сучка с кобелем снюхались. А училка уперлась: перескажи да перескажи, иначе на второй год оставлю. Она у нас классная была. И довела меня до белого каления: веришь, хрестоматию швырнул в лицо... Исключили бы, да мать все школьные пороги обила, ноги до колен стерла, и директоршу просила, и училку умоляла. Директорша сжалилась — на второй год оставили.

С тех пор, братка, возненавидел я литературу, глаза б на ее не глядели... А тут на тебе, читаю книжку за книжкой. В мастерских мужики, коли работы нету, в домино играют, козла забивают либо исподтишка выпивают, а я с книжкой сижу. Смеются, холеры: мол, книгочей, уж в доску зачитался, весь исчитался, да как бы не зачитался... Вот любовь до чего довела. Дак и привадился, и теперь на сон грядущий почитываю.

Шукшина Василя люблю. Читал? Ловко там Шукшин про плотника завернул. Помнишь, тот гостил у сына с невесткой, а те смотрели телевизор, а в телевизоре артист (плотника играл) топор по-дуралцки держит? Видно, сроду в руках не держал, а вроде матерый плотник. Ага. Короче, сосновый кряж чешет... Кого там чешет — измывается над бедной древесиной и над ремеслом плотницким. И вранье же выходит. А плотник шибко не любил вранье, снял сапог и зафитилил в телевизор — брызги полетели...

Да, почитывал Саня книжечки, а ночами, когда хорошие люди спят, сочинял стихи — палил по девке куплетами дуплетом. И даже избранный стих мне поведал, когда мы вечеряли на яру, замороженно следя за теплоходом, что тихо сплавлялся по реке:

Я не ждал и не гадал,
 Что, бродя полями,
 От любви безответной
 Зарыдаю с журавлями...

Упаду в траву
 У речной излуки.
 Неужели, Клава, нам
 Светит лишь разлука?

Журавли летят высоко,
 Долог их полет.
 Клава рядом — видит око,
 Ну а зуб неймет...

Я сроду не сочинял стихов возлюбленным, не вымучивал куплетов, но, ерник смолоду, скоморошничал: «О Муза моя!.. Муза Абрамовна!.. Посвящаю вам свое бессмертное творение: “Ветка сирени упала на грудь, милая Муза (Даша, Маша, Саша, Глаша), меня не забудь”».

Начитавшись до одури, беспрокло² пытаюсь овладеть крепостью (так Саня в сердцах обозвал неприступную библиотекаршу), парень бился, колотился, Покров прошел, а все не женился. И порешил отступить. Да и батя, тоже пожизненный плотник, ворчал, когда за ужином с устатку пригубили по стакану красного вина:

— Саня, запрягай дровни, ищи себе ровню. Ты, паря, на кого заришься? На кого ты заришься, аршин с шапкой? Кланька ж тебя на голову выше, а уж про ширь и говорить некого. Заспит ишо спросонья, как малого титешника. Куда тебе, куль с костями! Бегаешь, бренчишь... А вроде жорный: жор нападёт — дак и полбарана зараз уметешь. Только, видно, не в коня овес... А потом, Кланька же образованная, а у тебя, паря, грамотешки кот наплакал, семь классов да два коидора. Да и то в шарашке³. Кланька в избе-читальне заправляет, а ты же, однако, и «Муму» до конца не дочитал... Оно, конечно, не будь грамотен, а будь памятен. Но это, паря, раньше, а теперичи же без грамоты и шагу не ступи...

Тут встряла и Санина мать, нравом тихая, за малый рост прозванная махоней:

— Она же, Саня, приезжа, мы же путем не знаем, какой у девки характер.

— Во-во, — согласился отец, — может, в поле ветер, в заде дым? Деды же говоривали: не заламывай рябину невызревшу, не сватай девку не вызнавши... Вон старшой женился, а теперичи че говорит? А то говорит: лишь после женитьбы, тятя, я понял, что такое счастье, но... было уже поздно. Купил дуду на свою беду: стал дуть — слезы идут. Так что, Саня, брава Маша, да не наша. Отступись, паря.

— Не переживай, сына, — мать уже всхлипывала, обиженно поджимала губы и часто, жалобно моргала от нахлынувших слез, — не переживай, суженая и на печи найдёт.

— Найде-от... — кивнул отец и вспомнил: — Я твою мамку на печи и нашарил. За трубу, махоня, закатилась, едва клюкой выгреб.

Мать потаенно улыбнулась, вроде помолодела лицом и ласково глянула на отца.

Баба Ксюша, бойкая старуха, вместе с дедом Фомой доживающая век у сына, тоже печалилась за горького внука, что беспрокло сох на корню, сухостойно звенел на речном ветру, и однажды, когда сын с невесткой отлучились из дома, а дед возле окна чинил ветхие ичиги⁴, старуха поманила внука в запечный куток.

— Надо, внучек, присушить девку. Да... От, Шура, крынка с малиновым вареньем, счас мы ее заговорим, а ты, Шура, опосля Кланьке подсунешь: мол, гостинец от бабы Ксюши. Она чаю-то с вареньицем

² *Беспрокло* — без проку, безрезультатно.

³ *Шарашка* — ШРМ, школа рабочей молодежи.

⁴ *Ичиги* — мягкие сапоги из сыромятной кожи.



попьет, у ей душа огнем и запалится. Ага. Ладно, я буду сказывать, а ты втори за мной... — И баба Ксюша забормотала древлюю присушку: — Во имя Отца и Сына и Святого Духа... — Старуха обметнулась мелким крестом, глядя на божницу. — Ты не молчи как дундук, ты повторяй, повторяй, раз девку хошь завлечь!.. Стану я, раб Божий Александр, благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами, выйду в чистое поле; в чистом поле стоит изба, в избе из угла в угол лежит доска, на доске лежит тоска. Я той тоске, раб Божий Александр, велю: поди, тоска, навались на красную девицу, в ясные очи, в черные брови, в ретивое сердце, в кровь горячую по мне, рабе Божиим Александре... Вот, Шура, и вся присуха. А теперичи ляг опочинься, ни о чем не кручинься.

Дед Фома воткнул крючок в сыромять, перекрестился и сухо сплюнул:

— Тьфу! С ума сдурела! Погладил бы тебя мутовкой⁵ по дурной башке, дак мутовку жалко, обломишь... Ты кого, старуха, наговаривашь?! Ты какого ляда с присухой лезешь?! Крешшоная, поди, а беса тешишь. По-божески, по-русски — дак посвататься бы. Вот возьмем да и пойдем сосватам девку...

Саня представил, как воскресным летним вечером, побрившись, наодеколонившись и нарядившись, потащатся они с дедом Фомой сватать девку, как деревенские посмеются вслед, как Аграфена Павловна, у которой Клава квартировала, по-учительски сурово обзовет их пережитками феодализма и вытурит взащей. Вообразив неминуемый позор, Саня отмахнулся от старика:

— Кого-то выдумывашь, дед, курам на смех. Свататься... Кто теперь сватается? Сиди уж, без тебя обойдусь.

— Ага, обойдешься... — опять досадливо сплюнул дед Фома. — Ноги до колен сшоркашь и ниче не выходишь. Ему как доброму, а он ишо и шеперится.

— Ладно, дед, успокойся, не гони пургу.

Баба Ксюша вышла хитрее деда Фомы — завернула в избучитальню, где исподтишка и сунула избачке заговоренную малину, а Клава при встрече со старухой похвалила варенье: до чего же сладкое, язык проглотить!

Саня же справно посещал библиотеку. Возвращая очередную книгу, онемевший от любви, он твердил:

— Не-е, Клава, я не отступлюсь... А пойдешь под венец — век буду на руках таскать и пылинки сдувать, слова поперек не скажу, ничем не попрекну.

Парень видел радость супружеской жизни лишь в дарении, а какое бы счастье привалило, коли и суженая бы молилась: стану богоданному ноги мыть и омытки пить, побреду за милым хоть на край света, не

⁵ *Мутовка* — деревянная лопатка для сбивания масла, замеса теста.

посетую на холод и голод, лишь бы в жены взял. Однако Кланя ничего не обещала.

Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло... Уж и руки опустились — Клава о ту пору с улыбочкой косилась на кудрявого и бравого приезжего баяниста, — уж и собирался Саня махнуть рукой на Кланю, поискать ровню, чтоб запрячь в дровни, уж и в деревне, глядя на печального плотника, сочувственно посмеивались, дескать, прошла любовь, завяли помидоры, — только ошибались суесловы.

Излился малиновым соком месяц жатвы, взошел сентябрь, и хотя бабье лето, от Семена Летопроводца и до Воздвиженья Креста дарящее тихое остатнее тепло, выдалось погожим, осень кралась в леса и луга. Вечерами в пойме реки клубились белые туманы, утрами на белесых травах серебрилась паутина, леса укрылись лоскутным рядом — а лоскуты малиновые, желтые, бурые, алые, багровые, — и все реже в цветастых лесах слышался птичий грей. Плыли к югу гуси, лебеди, журавли и кулики. А селяне запасались на зиму лешевой закуской: грибами и ягодами.

И вот клубные, библиотечные работники и работницы, легкие на подъем и на ногу, в Семенов день, что в изножье бабьего лета, собрались по рыжики и грузди; ладились в сосновые боры, что в пяти верстах от деревни. Старухи, сторожащие село в тени черемуховых палисадов, охраняющие сельские нравы, сварливо поджимали иссохшие губы, прищуристо глядели на весело и гомонливо топающих посреди улицы грибников: двух парней с заплечными берестяными горбовиками и девок наряженных, накрашенных, с тальниковыми корзинами.

Бравый парень (клубный гармонист, признали бабки), проходя мимо, манерно, с отмахом руки, поклонился старухам:

— Здравствуйте, девушки!

«Девушки» опешили, а старуха побойчее рассудила:

— Однако, ихни домочадцы уже и кадушки замочили грузди-рыжики солить. А погляжу на их, дак, однако, не грибы, а ползуниху-ягоду пошли сшибать.

Ползуниху братъ, сшибать — по-деревенски означало: миловаться, целоваться. Ежели в супружестве — ладно, а ежели круг ракитова куста венчались — блудят. Старухи утихли, задумались: в грибной ватаге четыре безмужние девки и два парня холостых; ладно, Саня — смирный до девок, по Кланьке сохнет, а вот приезжий баянист — прости, Господи! — этому волю дай — всех подряд огулят, сатана!

Шли грибники проселочной дорогой сквозь несжатые ржаные поля, сквозь березовые гривы и пели, горланили, вышучивая друг друга; и лишь Саня, приبلудный среди культурного люда, мрачно помалкивал, зло косясь на баяниста, что увивался возле Клавы. Источивши, истомивши душу, Саня рванул вперед. Грибники же, миновав покосные луга, дошли до пустующей займки, с невольной грустью осмотрели кондово рубленные, обветшавшие стайки, баню, само зимовье, завозню с телегой, санями, вилами, граблями и прочим инвентарем, со сгнившими пряслами скотного двора.

От займки в пологую сопку вздымался матерый сосняк, куда, закусив домашней стряпней, и кинулись заядлые грибники. Уговорились о времени встречи и разбрелись во сосновом бору, переключаясь, изредка сходясь, и коли в грибную страду время катится с крутой горки, то и не заметили, как усталое солнышко склонило голову к закатной сопке.

Саня, набивая рыжиками и сырыми груздями заплечную берестяную котомку, сперва пасса близости от Клавы, помня, что вокруг девы коршун кружит. Вспомнил, что однажды баянист с сударушкой бродили по сопкам, и Саня, что о ту пору тоже промышлял лесные харчи, своими одичавшими глазами видел: где гармонист с зазной прошел — сплошные лежки и покров до сырой земли изрыт, словно дикий кабан бороздил рылом. Липучий парень, наглый, уж и стыдили-совестили бабы и девки, а тому хоть плюй в глаза — все божья роса.

Так что, решил Саня, за баянистом глаз да глаз нужен и ухо остро — у кобеля вечный гон, — а перво-наперво, Клаву из виду не выпускать. Вскоре одолел парня грибной азарт, и если поначалу высматривал рыжие семейки под кряжистыми соснами, на усеянных хвоей лысых взгорках, то потом оказалось, что рыжики, старые и малые, хоть литовкой коси, высыпали по краю густого соснового подростка, выбегая на овсяное поле и проселочную дорогу. Когда напластал грибов в короб по самое горло, когда уже спустился с хребта на песчаный проселок, чтобы брести к займке, вдруг услышал далекий-далекий, казалось плачущий, Клавин голос: «Са-а-а-ша-а!.. Са-а-а-ша-а!.. Са-а-а-ша-а-а!..» Кинув грибную котому, парень бросился в хребет, а через малое время высмотрел: неподалеку катится с горки баянист, буром прет, напролом через заросли багульника, будто озверевший, и тревожно заныла Санина душа в лихом предчувствии. Хотел было кинуться за баянистом, но, поразмыслив, махнул рукой.

Отчаянно откликаясь, кружил Саня, метался и вправо и влево. Клавин голос слабел, терялся, потом вновь оживал в бору, и наконец по вялой, рваной нити голоса парень вышел на горемычную... Откинулась на забородатевшую сизо-голубым мхом сухую валежину, подвернула гачу зеленых штанов, стянула походный башмак и, болезненно морщась и жмурясь, растирала вспухшую багрово-лиловую стопу.

Со слов девушки — говорила Клава сбивчиво, сквозь слезы — Саня доспел: гармонист напугал. По первости, видя, что наглый баянист пасет ее, и помня его алчные взгляды, от коих холодела душа, Клава держалась возле подружки и корила себя, дуреху, что улыбалась шалому парню. Но страда увлекла, Клава забыла о подружке, а когда очнулась, оцепенела: явившись словно из грибной хвои и мха, надвигался баянист, ласково ворковал с блуждающей улыбкой на пухлых губах и вот уже ухватил за плечи и, жарко бормоча в шею, стиснул... Клава смутно помнила, как забилась, точно глухарка в силках, как вдруг яростно вцепилась когтями в багровое лицо, а потом, когда тот с криком отступил, бросилась бежать сломя голову. И блазило: загнанное сердце, готовое вырваться из

груди, столь громко стучало, что эхо вторило в затаенном сосняке; и чудилось: позади трещат сучки, слышится одышливое дыхание, хотя баянист несолоно хлебавши плюнул девушке вслед, замесив плевок на забористом матюжке, и повалил с хребта.

А Клава, убегая, вскоре и подвернула ногу: угодила ступня меж вспученных сосновых корней. Упала и вольно ли, невольно ли Саню крикнула. Испуганно окликнула и после, когда, вползши на валежину и разувшись, потирала горящую полымем стопу. Тут парень и надыбал бедолажную.

Слушал ее Саня, и глаза зло узились, зубы скрипели: «Убью гада»; пав на колени перед девой, бережно взял ее жаркую стопу, оглядел опухшую лодыжку, и, когда Клава, укрыв плачущие глаза, стиснув зубы, застонала, ее боль томительно вошла в него.

А в небесной синеве, над их бедовыми головушками, плыли журавли, курлыкали, ворожа погожее бабье лето, и молодые вслушались в курлыкание, гадая, что сулит им песня журавлиная: любовь иль разлуку...

Очнувшись, Саня задумался, как лечить девку. Помочиться бы на тряпку да ногу обмотать, а сверху сухой тряпкой затянуть, но постеснялся сказать и вспомнил, что мелькали вдоль проселка листья мать-и-мачехи, от ушибов и вывихов первейшее средство.

Раз девка и ступить не могла на больную ногу, то, опершись на парня, пыталась скакать на здоровой, только куда ускачешь, коли на пути валежины, чушачий багульник и топкий мох? Взвалив на горбушку, чудом одолев нахлынувшее волнение, Саня поволок охромевшую Клаву, которая подсобляла, отталкиваясь от земли целой ногой. Мелкий перед дородной девкой, он смахивал на муравья, влекущего груз вдвое больше себя. Когда, выбившись из сил и запыхавшись, отдыхал, невольно, чтоб не упала, бережно обнимал Клаву. Те объятая высмотрела ее подруга и оповестила смехом, мол, девчи, Саньку с Кланькой можно не ждать — обнимаются.

У дороги усадил Саня деву на сухой взгорок, распластал сатиновую рубаху на ленты, облепив лодыжку листьями мать-и-мачехи, туго замотал и снова потащил деву, словно крапивный куль, набитый ох не сеном! Ну да своя ноша не в тягость.

Хвалились женки бабьим летом на Семен-день, а того бабы не ведали, что на дворе сентябрь, что весна да осень на пегой кобыле рысят, — погода переменчива: хоть и усталое, старчески вялое, светило же солнце, как вдруг из-за хребта грянули тучи серыми волками, затмили свет и заморосил, а затем полил как из ведра студеный дождь. А журавли вроде пели погожее бабье лето... И когда Саня с Кланей, одетые по-летнему в суконные куртешки, дотащились до брошенной заимки, то уже промокли до нитки и так озябли, что зуб на зуб не попадал. Чтобы переждать дождь, мало-мало обсохнуть, завернули в зимовье, рубленное в лапу наспех и на смех, с разнобойно торчащими трещиноватыми торцами. Уже который год пустует оно, обезлюдела заимка, но чудом выжили двери, окошко, а в самом зимовье, опять же чудом, сбереглись нары, лавки, стол и кирпичная печь.

Лишь вошли в избу, сквозь окошки нагретую солнечным светом, Клава, которую бил озноб, невольно прижалась к Сане — тут и закружилась у парня голова. Однако Бог миловал, не согрешили до венца, вернее до штампа в паспорте. Вскоре дождь стих, тугой верховик разметал тучи, бабье солнышко осветило заимку, сосновую хребтину, овсяное поле, и Саня опять взвалил деву на спину, поволок до села... да так под венец и приволок.

* * *

Сболтано ради красного словца — «под венец», в жизни же вышло так. Вырядился Саня в черный пиджак и нейлоновую рубашу, а Кланыя в белоснежное подвенечное платье с чужого плеча, только без фаты, и поперлись молодые в сельсовет, обходя лужи и коровьи лепехи, кланяясь любознательным старухам. Брели мимо Покровской церкви, где вместо куполов сиротливо и печально шатались на ветру чахлые березки и осинки, плакали под морозящими осенними дождями. Дед Фома со слезами поминал, как отроком пономарил в сем храме, в честь коего и повеличено село Покровка. Поминал старый пономарь, как сбредались боголюбцы-богомольцы с ближних деревень на престольный праздник — Покров Царицы Небесной и Божественная литургия вершилась громогласным и сладкопевным крестным ходом. Дед читил народную власть: «Не ломали бы церкви, не гнобили народишко крещшонный, не трогали б царя, помазанника Божиего, — цены б не было нынешней власти...»

Возле сельсовета дерзкие мальцы-огольцы осмеяли молодых:

Жених и невеста
 Поехали по тесту,
 Тесто упало —
 Невеста пропала!

Саня, присев, кышкнул ребятишек, и те, вспорхнув воробушками, полетели вдоль по улице. А в сельсовете председатель, веселый мужичок с лихими, дожелта прокуренными усами, удивленно оглядел пару — паренек по плечо рослой девахе со спелой косой — и подмигнул Сане: дескать, и как ты, малый, умудрился эдакую копну отхватить? Управишься ли? Хотя, ежели сам аршин с малахаем да жена махоня, вы кого наплодите? Котят? А так оно и порода соблюдется. Саня, ухватив лукавый мужичий взгляд, нахмурился, и председатель, не пытая рискованную судьбу, отмахисто шлепнул печатью в паспорта, кудревато расписался и поздравил новоженей.

На свадьбе, что пела и плясала в ограде подле раскидистой черемухи, Саня, широко разваливая гармонию, играл, дед Фома подыгрывал на березовых ложках, отец же лихо выводил староказачью песню:

...А ей парень отвечал:
 — Будь моей невестой.
 Верно, Богом суждено
 Жить нам с тобой вместе.

Вот как три денька пройдет,
 И рука с рукою
 В храм нас Божий поведут,
 Милая, с тобою.

В руки кольца нам дадут,
 Свечи со цветами,
 На головушку несут
 Венцы со крестами...

Невесте пало на душу песенное венчание, и Клава тайком вздыхала, что их свадьба без венчания и даже без серебряных колец, не говоря уж про золотые. Щегловы и сваты их, что прикатили из дремучей деревушки, смогли разориться лишь на свадебное застолье да тихие подарки новоженям.

* * *

Разочарованная сельсоветским бракованием, как смехом говаривали в селе, вспоминала Клава церковное венчание, кое сподобилась узреть в московское гостевание, когда чудным воскресеньем занесло ее, безбожную студентку, в белокаменный храм, дивом не закрытый властями, по синие купола утаенный сосновыми лапами и березовыми гривами от дерзких безбожников.

О Боге, что в книгах уничиженно писался с малой буквы, Клава ведала по рассказу «Медный крестик» из школьной хрестоматии и по ходовой повести «Чудотворная», где сочинитель намалевал православных черным дегтем, словно ворота сельской блудни; а из церковной жизни комсомолка знала лишь расхожие присловья: «бубнишь как пономарь», «поп, толоконный лоб», «не гонялся бы ты, поп, за дешевизною».

Казалось, и буйные ветра не заметут в храм ее, пусть не богохульную — равнодушную к вере, но Клава любила каменное и деревянное благолепие церквей, любила, любовалась — лепота! — и слышала сквозь века ангельское пение с древнего клироса, а потом — колокольный звон и лязг мечей. Позже из ветхих книг, пахнущих ладаном и пылью монашеских келий, и даже из кинокартин про ранешнюю жизнь Клава вызрела красоту церковных обрядов, и в душе пробудился пока еще чуть слышный интерес ко Христу Богу. Но в церковь ходить робела — комсомолка же! — да и богомольный народец, что, как казалось ей, воровато шмыгал с паперти в церковный притвор, был сплошь тупой и дряхлый, а коль помоложе, то калешный либо столь невзрачный, что Бабу



Ягу и Кошея Бессмертного мог бы играть без грима. Клаве думалось: эдаким тошнотворно пахнущим тленом и плесенью могильных склепов, эдаким убогим отвержам, что выплеснул мир на обочину, лишь в церквях и утешение, а она мечтала о великих комсомольских стройках, о палатках посреди сибирской тайги, песнях под гитарный звон и сполохи костра, о голубых городах, где юноши и девушки — дети Солнца, дети орлиного племени. Мечтала Клава и о возлюбленном, видела его в мятежных девичьих снах: высокий, русоволосый и голубоглазый — лирик либо физик, а случалось, являлись в сновидениях и бородачи: охотоведы, геологи, полярники и прочий бродячий люд, по уши заросший зверовой шерстью.

Гуляя по Москве, Клава обошла бы храм лишь бегло глянув — в столице столь музеев, где любознательной провинциалке хотелось побывать, а еще Красная площадь и Мавзолей Ленина, — однако у церкви случилось чудо: из сверкающей черной «Волги» вышел жених, открыл другую дверцу и подал руку невесте. Клава смекнула: молодые, судя по свадебным нарядам, прикатили венчаться — и тут странный ветер заметнул деву в храм вслед за женихом и невестой.

В дремотном мираже оплывали свечи на подсвечниках и поминальном кануне, а усталый лампадный свет мерцал на иконах, отчего святые лики теплели и оживали. Божественная литургия уже свершилась, хотя возле амвона и алтаря еще паслись прихожане, целовали иконы с молитвой на устах. Серый и сутулый паренек, похоже пономарь, выставил посередь храма аналой, напоминающий Клаве институтскую кафедру или конторку, за которой досельные писатели сочиняли авантюрные и любовные романы; от святого же аналая раскатал ковровую дорожку, по сей мягкой, вроде хвойной, тропе с минуты на минуту утицами поплывут венчаемые.

В притворе, где студентка опасливо жалась к белокаменной сводчатой стене, молодые и поджидали батюшку: жених в черном костюме с искрой, в снежной рубахе с кружевным жабо (подумалось: попович, поди, семинарист) и невеста в подвенечном платье до пят, фате и перчатках по локти (поповна, в попадьи метит). Клава удивилась: парень — девья сухота: иконоликий, синеокий и русобородый, точно Алеша Попович сошел с холста, а девка — серенькая мышь, похожая на христарядницу, что слезно канючит гроши на паперти. Ох, неровни жених и невеста; а вот она, Клава, с отрочества дебелия, браво бы гляделась подле жениха...

Изрядно лет канет в испаханную лодками и катерами усталую реку, прежде чем Клавдия доспеет: видный парень избрал невзрачную деваху для смирения, чтобы жить не из похоти, а во славу Божию, как речено у святого Игнатия Богоносца, — прежде яко брат и сестра во Христе, а потом уж супружески, да и ради заселения державы христоролюбивыми чадами. Коли ангельский чин (иноческий постриг) не вместили в душу, то решили семью строить как домовый храм, а семья — образ сокровенного союза Христа с Церковью, где муж есмь образ Христа, а жена есмь образ Церкви. О сем и проповедовал батюшка.

Рядом с молодыми с напускной степенностью постаивали свидетели Божьего венца — парень с девкой, опоясанные белыми лентами, а за свидетелями — нарядные родичи, други и подруги венчаемых. И сродники, и ближние, и жених с невестой — все сладостно томились в предчувствии чуда, едва сдерживая волнение. Но вот молодые уже шествовали по ковровой тропе ко святому аналою, где их поджидала икона Божией Матери со Христом, Евангелие и две витые восковые свечи. На исходе ковровой дорожки пономарь загодя постелил сероватый льняной рушник, где гладью цветасто и любовно вышиты листья, травы и цветы, голубь с голубицей, несущие в клювах обручальное кольцо, а по краям рушника словеса: «Господи, благослови!» и «Совет да любовь!». Пред святым аналоем — воистину, пред Царем Небесным и Царицей Небесной — дьякон ввел подвенечных на рушник, и началось обручение и венчание.

Клаву подивил священник, что явился из алтаря со крестом на престольном и Святым Писанием. В разночинных и дворянских книгах, что институтка читала запоем, попы гривастые, аки жеребцы, от чревоугодия пузатые, похожие на самовары, от возлияний багровые, а здесь у иконостаса махал дымящим кадилом священник без поповского брюха, бледный, сухой и высокий.

От венчания Клаве запомнилось чудо: когда батюшка обручал и крепил узы Божиим венцом, лица жениха и невесты на ее глазах посветлели и обратились в иконные лики, словно цветы, что после ночной тьмы раскрываются встреч утренняя зареву. Глядя на венчание отпахнутыми и обмершими глазами, дева запомнила, что она безбожница, как и вся советская молодежь, и не то что венчаться ей, комсомолке, а и в храм-то ступать зазорно: упаси бог, подружки увидят, растреплют по институту, а ежели комсорг прознает — прощай, диплом! Обо всем на свете дева забыла, дивясь обручальному, венчальному чуду, мало того — и сама возмечтала укрыть венцом русые косы.

* * *

Нынче же на своей певучей свадьбе посреди двора Щегловых Клава с потаенными слезами вспомнила величавое церковное обручение и венчание, что исподтишка подсмотрела в городском храме.

Когда свадьба отпела, отплясала, угомонилась и синеватые сумерки пали с небес на таежное село, жених и невеста, пугаясь грядущей ночи, сидели за опустевшим столом, глядя, как жарко горят звезды, как луна призрачной птицей уместилась на черемуховый куст. Клава, помянув и венчание в храме, что узрела в студенческие лета, и песню, лихо сыгранную ее женихом, прошептала:

- А может, нам, Саша, обвенчаться?
- Круг ракитова куста?
- Нет, в церкви.

Саня загорелся и на другой день, когда в застолье сидели лишь близкие родичи, спросил об обряде у бабы Ксюши, и богомольная старуха пояснила:

— Которые невенчаные — те в блуде живут.

— Ежели расписаны, дак не в блуде, — перечил сын, без венца наплодивший трех девчат, пятерых ребят, а посередь и Саню.

Старуха не слушала сына, толковала внуку святую правду:

— Вот оно бы, Шура, и ладно Божиим венцом-то укрыться... Дак надо же сперва креститься. А крестятся, ежели в Бога верят, в душу бессмертную, в рай и ад.

Дед Фома при царе-батюшке справно учился в церковно-приходской школе и пономарил в здешнем храме, а посему церковно выразился:

— В Кормчей книге речено: «Жених и невеста да умеют исповедание веры, сиречь “Верую во единого Бога”, и молитву Господню, сие есть “Отче наш”, и иже с ними “Богородице Дево” и десятословие...» Так вот, без веры венчаться не погрешь, во грех вменится. Без веры как поганные — круг купальского костра.

Однако простодушные Саня и Клания верили в безбожный рай на земле; бормотуха — так дразнили радио — с пеленок внушала, сулила малым чадушкам: «Нынешнее поколение детей будет жить при коммунизме». Оно бы и ладно пожить в земном раю, но и обвенчаться бы не худо: и красиво, со свечами так, и крепко, на всю супружескую жизнь...

* * *

Катился паром с горбатой реки и на дощатой хребтине вез Клавдию к учителю — втемяшился же в душу! — но баба, мигая от приступающих слез, глядела на родного мужика, что неприкаянно маячил на брошенном берегу, потешный, чудной, печальный, и чудилось, жалобно просит Саня: «Клава, а споем-ка нашу» — и запевает:

Ты лети от Волги до Урала,
Песня журавлиная моя...

Кажется Клавдии, тяжело Саня поет, одышливо и срывисто, сквозь плач, а как, бывало, легко и вольно пел звездными вечерами, бережно и нежно подыгрывая на гармошке, когда уходили в заокольную рощу, где на поляне жалась к березам заветная лавочка. А то усаживались на крыльце возле домашней черемухи. Что отраднее мужику, ладно и азартно откосившему на утренней и вечерней заре, в бане отпарившему, смывшему пот и дорожную пыль, если закружиться в песне, как на речных волнах! Подпевала жена, и дивилась семейному ладу обмершая над кустом черемухи румяная луна, что плыла от реки, где любовалась ликом в сверкающей черном, как деготь, призрачном зеркале.

А бывало, на пылающем закате возвращался плотник и любовался избой: дородная, под стать Клавдии, златовенцовая, глазастая, изукрашенная резными карнизами, причелинами и полотенцами, своими руками рубленная, а будто самостийно выросшая на отшибе села у закольного березняка. Если же узрит Саня в распахнутом окне читающую либо мечтающую Клаву — так с рыси в галоп и ударится...

Глядя с парома на млеющую полуденную реку, устало бредущую к морю-океану, Клавдия вдруг увидела: Саня в белой, навывпуск, посконной рубахе, уместившись на верхнем венце, вырубал гнезда для стропилин, крепил стропила и обрешетку под грядущую крышу (коли в мошне забренчит, то даже из кровельного железа), и жена, вынося мужу крынку молока и горбушку ржаного хлеба, любовалась плотником: сияло солнце за его спиной, отчего лицо иконно светилось.

Уже чалился паром к пристани, промытгой и добела выгоревшей на палящем солнце, а Клавдия, щурясь, все вглядывалась в дальний берег, где остался Саня. Вот потерял паром причал, отпустил новобранцев, гулевой люд да и наладился обратно.

Когда паром вернулся к деревенскому берегу, Саня (он так и сидел на одиноком бревне) высмотрел жену, замахал руками и весело покатился к старому причалу. Встретил, принял чемодан, и пошли милые, солнцем палимые.

Волок Саня чемодан в крутой яр, следом по тропе, словно утица по реке, плыла Клавдия, и, глядя на потешную семейку, мужики посмеивались: «Помирились Саня с Кланей», бабы глаза пучили в диве, а старухи крестились: «Дай, Боже, Сане и Клане ладом жить, детей плодить...»

Вилась тропа в песчанике, среди сухих трав и сиреневых цветочков чабреца, голосили чайки над речной отмелью, и Саня без устали молотил языком, поминая книгу, что всколыхнула его душу. Клавдия с улыбкой отвечала книгочею. И вдруг он кинул чемодан прямо в заросли чабреца:

— Нет, ты, Клава, погоди! Ты погоди! При чем здесь Онегин?! Шатун же, бич, в поле ветер, сзади дым. Нынче бы ему за тунеядство статью впаяли. Лодырь же и без профессии, болтается как навоз в проруби. Не-е-е, будь моя воля, я бы Пушкину сказал: «Александр Сергеевич, ты хошь и великий лирик, а насчет заголовка маху дал, обмишурился. Какой “Евгений Онегин”? “Татьяна Ларина” — вот как надо было роман назвать!»

— Тебя рядом не было, — засмеялась Клавдия, — подсказал бы Пушкину.

— А что, и подсказал бы. Я из народа, а Пушкин хоть не из народа, а любил народ. Оттого и великим-то стал, что народ полюбил, в мужика, поди, хотел обратиться, вроде Толстого. Вот и послушал бы. Слушал же Арину Родионовну, бабу деревенскую, в стихах воспевал... Помнишь, Клава, писатель в клубе выступал?

— Махонький, вроде тебя.

— Клава... — Саня обижался, когда ему напоминали, что он мал. — Клава, запомни, ум от роста не зависит. Ты вот большая выросла.

— Не обижайся, Саня, я же любя.

— Я не обижаюсь, я даже горжусь: все великие были приземисты вроде меня — Пушкин, Лермонтов. И на лицо невзрачные... Ладно, сбила меня с толку. О чем я говорил?

— Про писателя...

— Во-во, про писателя. Писатель в клубе говорил: ежели бы певичка Сукачева, — Саня помянул имя лохматой и бесноватой эстрадной дивы, что не вылазила из телевизора, ревела денно и ночью, тряся рыжими патлами, — ежели бы у Пушкина вместо Арины Родионовны в няньках жила Алла Сукачева, то из Пушкина вырос бы Дантес. О как! Но я не о том, я говорю, что Пушкину бы роман назвать «Татьяна Ларина»: Татьяна — главный герой. А что Онегин? Баламут. Еще и Ленского завалил. И для народа — иностранец... А Татьяна хошь и барыня, а будто из крестьян.

— «Но я другому отдана и буду век ему верна», — вспомнила Клавдия со вздохом.

— Во-во...

— А давай, Саня, обвенчаемся?

Саня поставил чемодан: дело серьезное, на ходу не обмозгуешь, надо постоять либо присесть, коли в ногах правды нету. Он и присел на чемодан, задумался.

— А что, махнем в город и обвенчаемся. Только сперва же креститься надо, — вспомнил он слова бабы Ксюши и добавил в уме: «А это ж надо в Бога верить, в рай и ад».

Саня же верил топору, с коего кормился, и безмолвно молился матери сырой земле, небесам, огню и реке... Вдруг ни к селу ни к городу пришла на ум потешная история, давнишняя, когда еще в коротеньких портках, босиком по селу носился. В клубе городской грамотей толковал народу, что Бога нет, что космонавт в занебесье летал и Христа не видал. Дед Фома встал из народа и спрашивает ученого безбожника: «А скажи-ка мне, мил человек, почему конь ходит яблоками, корова лепешками, а коза горохом?» — «Не знаю», — пожал плечами грамотей. «Дак ежели ты в навозе не разбираешься, какого лешего к Богу-то лезешь?»

* * *

На вьюжном перевале веков Саня с Кланей наплодили пятерых чад мал мала меньше, сплошной горох, погребли дедичей и отичей, бабок и матерей и, затепля свечи у поминального кануна, молились, чтобы Господь упокоил души усопших. Молились и о своем житье-бытье, что осело на мель: ржаво тосковал без заделья Санин бриткий плотницкий топор, а Кланя в библиотеке уже год не видела зарплаты, открывая читальню изредка, по привычке, и семья о пяти душ спасалась от голода и холода тем,

что держала двух дойных коров, трех бычков да трех коней, что вольно паслись в заокольной степи. Клавдия, крестьянского кореня, но в учении и библиотечной жизни раскрестьянившись, снова приноравливалась к скотному двору и даже коров доить училась на пару с мужем. От зари до зари, не разгибая поясницы чертомелила семья Щегловых: косили сено, садили картоху, растили скот, продавали молоко да мясо попутно с картошкой и на выручку со скрипом выживали. Хотя и, грех жаловаться, не голодали: мясо, масло, молоко — свое, в подполье картошка под половицы, в погребе бочка квашеной капусты и бочонок с брусницей и лешевой едой — груздями и рыжиками. Но мало же накормить чад, их треба одеть, обуть и выучить...

С едкими бабьими слезами, с мужичьими стонами, хохотом желтого дьявола рухнула народная власть, что ладилась по Божиим заповедям, пусть и без Бога, и супостаты, ошалевшие от алчности, ограбили страну до нитки. Россия-христарадница из толчеи, томящей дух, ушла в храм, ибо голодным, холодным простецам дана была лишь одна утеха — вера, что по любви к Вышнему и ближнему, по скорбям Христа ради одарит Господь покаянных спасением и вечным блаженством. В церкви паслась и вся многочадивая семья Щегловых, там и Саня с Кланей обвенчались. Оно вроде и запоздало, но все же лучше, чем никогда.

Махнули бы в губернский город Иркутск, и возложили бы им брачные венцы аж в Знаменском соборе, где владыка служит, только ехать далеко, да и автобусные билеты кусаются. Обручились и обвенчались Щегловы в сосновой Никольской церквушке, кою молодой батюшка и Саня с напарником срубили за два лета, а владыка освятил в честь Николы-угодника. Батюшка же уговорил Саню послужить алтарником, а позже и пономарем. Задумывая стройку, сперва оглядели старый храм, где вместо купола слезливо жались друг к другу тощие березки, где кирпичные стены уже дышали на ладан, и поняли: не осилить. Тогда решили рубить деревянную церковь на скалистом речном берегу, для чего и пошли по миру с протянутой рукой. Слава богу, подвернулся купец из здешних уроженцев, который пожертвовал изрядные деньги на храм — в память о сыне, боевом офицере, погибшем на Кавказе.

В девьи лета созерцая венчание, Клава смутно, в подсознании догадывалась лишь об избранных смыслах таинства, очевидных и ясных, а уж что из божественных книг звучало под куполом, студентка слыхом не слыхивала, ведом не ведала, редкие слова угадывая в церковнославянской вязи. Но таинство даже не запомнилось — втемяшилась в память, ибо еще не случалось в Клавиной заплечной жизни впечатления ярче — ярче лишь солнце! — и пала на душу блажь повенчаться с грядущим мужем, только бы походил на высокого русобородого жениха, главу коего на ее глазах Господь украсил золотым венцом.

Увы, не надыбал Клаву на печи русобородый, высокий, синеокий; судьба свела и свила с плотником Щегловым, похожим на ершистого подростка; и метельным закатом столетия, будучи уже чадородливой бабой, Клавдия обвенчалась в сельской церкви, а затем, посильно воцерковленная, осмыслила чин.

Жених и невеста — так смеха ради Саня с Кланей величали себя — накануне исповедались и причастились на Божественной литургии, а после полудня ласково завернули в рушник, расшитый алыми райскими птицами, икону Божией Матери со Спасом, что досталась Щегловым от бабы Ксюши, царствие ей небесное. А потом стеснительно наряжались для обручения и венчания.

Клавдия, лебедь-птица, вывела детей вереницу, пятерых погодок, и нынче те дивились, глядя, как родители, нарядившись, надушившись, встали перед шифоньерным зеркалом: отец в черном пиджаке поверх белой сорочки с коробисто торчащим, накрахмаленным воротничком, невеста в светло-зеленом платье с алой косынкой на шее, а с белой — поверх кос, уложенных старомодным венком. Клавдия, оглядев в зеркале себя, похожую на копну свежескошенного сена, и богоданного Саню, ростом ей по плечи, засмеялась: привиделась ей старинная картина, где Пушкин с Гончаровой вздымаются по ковровой лестнице и так же отражаются в зеркале. Хотя против Гончаровой Клавдия — баба бабой, да и Саня на Пушкина мало похож: Пушкин — барин, а Саня смахивал на малорослого, заполошного, худородного мужичка.

У церкви, золотисто сияющей среди сосен и лиственей, жениха и невесту поджидали други, подруги и дьякон — худенький вихрастый паренек, который принял от молодых икону бабы Ксюши и прямо на паперти бойко растолковал обручальный и венчальный чин, а затем и ввел во храм Божий. Тут же явился отец Евгений — медвежалый, смуглый мужик в черной скуфейке, напоминающей богатырский шелом, в черном подряснике, на чреслах широкий ремень с медной бляхой; шел, смачно скрипя башмаками, шел раскачисто, словно борец по коврику, — воистину воин Христов, духовник воителей, окормлявший горемычных русских солдат на Кавказе. Батюшка и возглашал при богослужении как полковой священник на плацу: от гласа иерейского лампадный огонек колыбался, яко от страха божия.

И вот батюшка, облачившись в епитрахиль и фелонь, явился из алтаря чрез Царские врата, возложил на святой аналой золоченый крест и Евангелие в кожаном переплете с золочеными застежками. Позже богомольная подружка растолмачивала Клавдии: ежели в чине крест с распятием Спаса и Благая Весть, сиречь Евангелие, стало быть, обручает вовсе и не батюшка, а сам... (тут подружка обмирала, округлив глаза) Царь Небесный, незримый плотскими очами; батюшка же глаголет то,



что Царь вложил в души святых отцов, что грамотеи и запечатлели с их бледных иссохших уст.

Коли Саня с Кланей в сельсовете расписаны, коли изрядно отжили и чад нажили, то и обвенчаться бы им без обручения, но Саня, церковный пономарь и плотник, срубивший храм с батюшкой и прихожанами, возжелал, чтобы полным чином.

Абы в душах жарко и ярко светилась любовь к Вышнему и ближнему, батюшка, крестообразно трижды благословив, вручил Сане и Клане горящие свечи, а дьякон зычно молвил:

— Благослови, владыко!

Батюшка сотворил молитвенный зачин:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...

И взмолился дьякон в мирной ектенье:

— Миром Господу помолимся... О рабе Божиим Александре и рабе Божией Клавдии, ныне обручающихся друг другу, и о спасении их Господу помолимся...

Возглашал дьякон — и незримый хор всякий раз голосил с клироса, устроенного на балконе, словно воспевали ангелы под куполом:

— Господи, помилуй!

— О еже податися им чадом в приятие рода, и всем яже ко спасению прошением, Господу помолимся...

«Оно, может, с чадами и погодить?» — думала Клавдия, глядя на лик Матери Божией. — Этих бы пятерых одеть и обувь, выучить да в люди вывести... — Невеста и себе боялась сознаться, что и полгода не канет, как шестой попросится в мир. — Время-то какое: не живем, а со слезами выживаем. Хотя и грех плакаться. Опять же, ребятишки в радость...» Легки на помине, тут же и привиделись детишки: белобрысые, стриженные под горшок, молятся возле алтаря, склонив головушки, будто подсолнушки; а неподалеку, бывало, крестят лбы и пятеро иерейских чад, на обличку, правда, смуглые, вроде здешних гуранов⁶.

Когда батюшка пел о чадородии, Саня вздохнул. Бывшие напарники, плотники и столяры, при встрече посмеивались: «Эдак ты, паря, и колхоз настрогаешь». И тут же, некстати разулыбавшись, он помянул байку, что поведал как-то батюшка. Некий сельский житель пришел к приходскому священнику и плачется: «Отче, сколь лет с женой живу — и ни плода ни живота». — «Не унывай, чадо, ибо унынье есмь грех, — утешил батюшка. — А поезжай-ка в город да в храме святого Сергия Радонежского поставь самую большую свечу перед образом святых Кирилла и Марии Радонежских, да и помолись им о даровании чад». И так случилось, что батюшку перевели в другой приход, и, вернувшись через десять лет, он услышал, что у того мужа уже девять детей. Заинтересовался батюшка, и когда пришел в дом, где обитала многочисленная семья, то старший сын известил: «Папки и мамки дома нету». — «И где же они?» — «Мамка

⁶ Гураны — русские забайкальцы и прибайкальцы, помешанные с бурятами либо эвенками.

в больнице, десятого рождает, а отец поехал в городскую церковь свечу задувать...»

А дьякон и дальше пел ектенью и после всякого прошения взывал к Богу: «Господу помолимся», и венчаемые в душе вторили ему: «Господу помолимся...»

После дьякона и батюшка возгласил молитву:

— Боже вечный... благословивый... Сам благослови и рабы Твоя сия, Александра и Клавдию, наставляя на всякое дело благое!

Меж тем дьякон взошел в алтарь и на серебрястом блюде принес обручальные кольца, что досель обретали Божию благодать на святом престоле. По чину жениху бы кольцо солнечно-золотое: муж для жены — солнце, а невесте кольцо серебристо-лунное: жена для мужа — луна, только золотые и серебряные кольца Щегловым не по карману. Посему в ход пошли кольца самодельные, вырезанные из меди, но мелом и голяшкой от валенка так надраенные Саней, что от золотых не отличишь. Дружок его, что смастерил кольца, внутри исхитрился выгравировать имена: в согласии с древним благочестием на кольце, что нежнее, для Клавдии, выскреб «Саня», а на том, что матерее, для Сани, начертал «Кланя».

Батюшка кольцом трижды запечатлел крест на Санином лбу и огласил:

— Обручается раб Божий Александр рабе Божией Клавдии, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! — После чего окольцевал жениха, а затем кольцом трижды начертал крест и на лбу побледневшей невесты: — Обручается раба Божия Клавдия рабу Божию Александру...

Возложив перстни на десницы обручающихся, трижды их поменяв с руки жениха на руку невесты и наоборот, священник напомнил реченное в Святом Писании:

— ...Перстнем дадесе власть Иосифу во Египте; перстнем прославися Даниил во стране Вавилонстей; перстнем явися истина Фамары; перстнем Отец наш Небесный щедр быст на Сына Своего: дадите бо, глаголет, перстень на десницу Его, и заклавше тельца упитанного, ядше возвеселимся...

Саня и Кланя враз, словно единой головой, вспомнили о том, что сосед (у жениха рука не подымалась на доморощенную овцу) заколол «тельца упитанного» и сейчас свеженина, сваренная в чугунном казане, томится в русской печи — всем гостям хватит, когда под черемухой накроют стол, когда зарыдает и заликует Санина гармонь.

А пока дьякон возглашал ектенью: молился за святейшего патриарха Алексия II, за богохранимую страну российскую, за властей и воинство ее, за всех христиан.

— Еще молимся о рабах Божиих Александре и Клавдии, обручающихся друг другу...

На клиросе трижды поклонно отголосили:

— Господи, помилуй...

Мирной ектеньей скрепилось обручение, и грянуло венчание: с горящими свечами замерли жених и невеста у святого аналая, где батюшка, брядая кадильницей, откуда дымом клубился сладчайший ладан, пел псалом царя Давида, а клирошане, припеваючи, славили Бога:

- Блажени вси боящиися Господа...
- Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе...

Из Давидова псалма в разум невесты, а по жизни уже детной бабы запали царские словеса: «Жена твоя яко лоза плодovита во странах дому твоего... Сынове твои яко новосаждения маслична окрест трапезы твоя...» Душу былой книгочеи и книгохранительницы до нервной дрожи потрясала горняя мудрость божественных творений. Мало того, Клавдию умиляли до слез даже вычитанные или услышанные на литургии церковнославянские местоимения и союзные слова, вроде аз, есмь, паче, паки, иже, еси, аще, се, несть, зело, лепо, мя. И в речи бывшего советского библиотекаря рухнула словесная дамба, и вольно влились туда ходовые библейские обороты: притча во языцех, за други своя, ничтоже сумняшеся, глас вопиющего в пустыне, устами младенца глаголет истина... Клавдию дивило, что у Сани (хотя, случилось, и прислуживал батюшке в алтаре) речь как была деревенской, так деревенской и осталась, и ее иногда потешало, как муж сельским поговором толковал про любовь Онегина к Татьяне, а ныне толкует Библию...

Сотрясением души и рассудка стало для Сани Святое Благовествование от Марка, где евангелист глаголил: «Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?» Возликовал пожизненный плотник, когда уяснил, что и сам Иисус Христос в земном житии тоже был плотником, и возомнил мужик: дескать, и ремесло плотницкое свято, святей хлебоборобного. Ведала Клавдия: жена да убьют мужа, но перечила Сане: мол, свято не ремесло, свята любовь к Всевышнему и ближнему.

Клавдия по юности, подвывая, читала Пушкина и Тютчева, Ахматову и Цветаеву, теперь привадилась вслух, с былым подвывом читать псалмы, восхищаясь живописными образами; а иногда, слыша незримые звончатые гусли, пела, услаждаясь царской речью: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь...»

Из женщины с вузовским дипломом обратившись в деревенскую бабу — нет худа без добра! — Клавдия и Христа в Его земном житии причисляла к сословию крестьян. Правда, Саня горделиво уточнял: ремесленных крестьян, плотников. А крестьяне, как она вычитала у сельского писателя, будучи от «креста» и «Христа», выражали земные и небесные мысли не мертвецки ученым языком, но образным и притчевым, а образы, как Иисус



Христос в поучениях и заповедях, брали из крестьянской и природной жизни: «Уже бо и секира при корени древа лежит: всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и в огонь вметаемо...»

Вдохновенно, прихватывая ночи, отрывая очередное чадо от молочных сосцов, Клавдия лет за пять осилила Псалтырь, а ранее Святое Писание, и в их горнем сиянии помещичья литература, которой служила верно и азартно, вдруг показалась пустобайной, а то и порочной, воспевающей страсти земные, что даны князем тьмы на погибель душ. Уныло оглядывая книжные полки в родной библиотеке, Клавдия ныне жалела лес, что нещадно пластали на книжную бумагу, но для души все же оставила книги избранных писателей, про кои могла воскликнуть по-пушкински: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» К сему книгочейная страсть, а с нею и былые туманные мечтания сгнули в истовой материнской жалости к чадам, ибо жалью жив человек.

Когда две глухие двери, сшитые из гладкоструганых сосновых досок, утаивали детские голоса, когда ночной тишь опускались с небес сокровенные вечера, когда слетала с души пыль, скопленная за день, и душа посвечивала ласково и тихо, Саня с Кланей сумерничали в горнице. Посиживали рядом, говорили ладом, судили-рядили о семейных заботах-хлопотах, и все впереди виделось ясно и заманчиво.

Раз, уgomонив и уложив архаровцев, так Саня обзывал старших ребят, что вольничали, сморив меньших сказками про Ванюшу-дурачка и заунывными песнями, Клавдия погасила свет в одной и другой ребячьей каморе и на цыпочках прошла в горницу. Муж с книжкой посиживал за круглым столом, крытым серой льняной скатертью, над книгочеем низко нависал розовый абажур с кистями; но лишь появилась Клавдия, он, бросив книжку, обнял жену, тесня ее к обширной супружеской койке с резными спинками.

— Успокойся, Саня. Давай почитаем.

С нарочитой печалью вздохнув, он упал на стул и опять открыл книгу, а читал мужик книгу не простую — Ветхий Завет, — чтобы вызнать про христиан, что праведно жили и до Христа. Клавдия принесла из кухни творожные и брусничные шаньги и курильский чай. И под чай слово за слово размечтались: вроде махнут в озерное село к родителям Клавдии, сдадут ребятишек на руки деду с бабкой, отпихнут легкую кедровую лодку от мостков, с которых бабы воду берут, утребут на другой берег озера, потом через камышовый пролив войдут в соседнее озеро, пересекут на гребях и разобьют табор на диком берегу, где под таежным хребтом пряталась родная деревушка Полоротовых, где нынче лишь бугорки, заросшие дикой малиной. И, словно новожени в медовый месяц, порыбачат с тремя ночевыми, а перво-наперво Саня из ливневых жердей срубит поклонный крест, вкопает на крутом и голом яру, обложив валунами, чтобы издали зрели рыбаки: се жили люди крещение, жили по-божески, по-русски и улеглись навечно — упокой, Господи, души усопших раб Твоих и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Раньше Саня с Кланей стеснялись вслух бормотать Боговы слова, молились молча, наособицу, и повинными взглядами каялись друг перед другом, и прощали, и потаенными вздохами благодарили Спаса, что не развел их памятным утром, когда плыл паром по реке миражным облаком и «журавлиная песнь» кружилась над речными серебристыми струями.

...А венчание меж тем продолжалось, и батюшка, семинарский отличник, помнящий назубок изрядно из Писания и Предания, любомудрый и краснопевный, ведая, что Клавдия начитанна, а Саня, пономарь, уже вдосталь наслушался иерейских проповедей, поучал не столь жениха и невесту, сколь свидетелей таинства, дабы благодать излилась елеем и на всех боголюбцев, а их собралось изрядно — в кои-то веки в селе венчание!

— Венчание есмь христианское таинство, в коем жених и невеста пред Богом дают посул о супружеской верности, и венец их Богом благословляется. Дабы ваш союз был достойным отображением таинственного союза Иисуса Христа с Церковью, вы, Александр и Клавдия, ныне обретающие венец, должны плоть подчинить духу... Нынешняя популярная культура — литература, кино, телешоу, что воистину от князя тьмы и смерти, — до поганого блуда опустила понятие любви, а Любовь — имя Бога.

Божественно воспел любовь святой апостол Павел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и гору переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится... Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».

У православных, принявших Божий венец, любовь в брачных отношениях — любовь и небесная и земная, и брак был стойким и счастливым, если полюбовно уживались три начала: православно-христианское, домостроительное и чувственное. Се значит, что для жены богоданный муж есть и возлюбленный брат во Христе, и отец семейства, а уж потом мужчина во плоти. Для мужа богоданная жена есть и возлюбленная сестра во Христе, и мать семейства, а уж потом женщина во плоти. Божественный брак в православной семье не шатался и без чувственного начала, и даже без отцовско-материнского, но крепко держался на одной лишь братско-сестринской любви во Христе. И супруги, поминая свои отношения, не говорили — любил и любила, а — жалел и жалела. Русские понимали любовь в смысле — любовь к Богу и ближнему, а у супругов друг для друга была припасена жаль — вопреки жестоковейным романтикам, изъеденным мирской гордыней,



полагающим, что жалость унижительна. После любви к Богу жалость к ближнему превыше всех иных душевных свойств!

Изреча эти поучения, иерей, прищуристо глядя в Санину душу, спросил:

— Имаши ли, Александр, произволение благое и непринужденное и крепкую мысль пояти себе в жену сию Клавдию, юже zde пред тобою видиши?

Саня, хотя кое-что и смекал в Божественной литургии и таинствах, вдруг замешкался и лишь кивнул головой. И тут же услышал грозное повеление отца Евгения:

— Глаголь, Саня: «Имам, честный отче!»

— Имам, имам, честный отче.

— Не обещаюся ли еси иной невесте?.. Реки, Саня: «Не обещаюся, честный отче».

— Не обещаюся, честный отче...

Какие обещания? Помнится, Саня горбатился на клятого буржуя, пахал — прости, Господи! — на воровском лесоповале и, бывало, уже на третий день так затоскует по Клавдии, что бензопила из рук валится, кус хлеба, точно корёный либо краденый, поперек горла топорщится. Хотя, что уж греха таить, случалось, и любовался на бравых девок, и даже блудные помыслы, случалось, палили грешную душу, но Саня сразу воображал Клавдию, что в бабах пуще расцвела, — тем и спасался. Ежели же и Клавдия не выручала из беды, настойчиво шептал: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — и шептал так плотно, что меж словами и малого зазора не оставалось, куда бы скользнул помысел, и завершал мольбу лишь тогда, когда гасло любовственное пламя и молитвенный ветер развеивал жаркий пепел. Однако другой раз прибежит с лесоповала, стиснет Клавдию в объятьях: мол, так истосковался по тебе, любимая, что и белый свет не мил, а жена возьми да и спроси: «Ты, Саня, по мне истосковался или... Ты кого любишь-то, скажи, меня или мои бока?» Он охолонется, отпрянет, почешет в затылке: «Я, Клания, люблю твою ласковую душу...» Жена благодарно улыбнется, а Саня хитро добавит: «С боками вместе...» — «Тьфу на тебя, срамец, — проворчит, бывало, Клавдия. — Остынь, ребятишки кругом».

Воззрившись на невесту, отец Евгений спросил и ее:

— Имаши ли произволение благое и непринужденное и твердую мысль пояти себе в мужа сего Александра, его же пред тобою zde видиши?

Клавдия с улыбкой глянула на Саню — словно знойным полуднем прохладный дождь сквозь солнце окатил созревшего мужика — и кивнула:

— Имам, честный отче.

— Не обещаюся ли еси иному мужу?

— Не обещаюся, честный отче.

В ектење великой, что последовала, дьякон помолился за венчаемых:

— О рабах Божиих Александре и Клавдии, ныне сочетавающихся друг другу в брака общение, и о спасении их Господу помолимся.

— Господи, помилуй! — воспели ангелы трубящие.

— О еже благословитися браку сему, якоже в Кане Галилейстей, Господу помолимся...

На брачном пиру в Кане Галилейской, помянулось Сане читаное, кончилось веселящее душу питье, и жениха с невестой ожидал позор; тогда Иисус Христос обратил в дивное вино шесть каменных водоносов, полных воды, и гость удивленно сказал жениху: «Всяк человек прежде доброе вино полагает, а когда упьются — тогда худшее; ты же соблюл доброе вино доселе...» Пир в Кане явился Сане в память потому, что венчанных ожидало свадебное застолье, а самогона он всего литр выгнал. Пивший редко, но метко (случалось, и лежа покачивало), пивший и с ненавистью к поёлу, а во хмелю дурной, дал он церковный обет — зарекся (пока на год) в рот спиртное не брать и дружков подбивал к зароку. «В Кане-то, поди, пили вино виноградное — сок, едва забродивший, — прикинул жених, — а у нас, бывает, самогона ужрутся и как собаки раздерутся». К церковному обету Саню толкнул стыд: совестно было — убил бы себя, гада! — когда пьяненький видел испуганные ребячьи глаза, слезный взгляд Клавдии и скорбные очи иконных ликов...

А батюшка тем временем усердно молился за венчаемых; Клавдия, коя от церковнославянских глаголов могла умиленно прослезиться, слушала молитву, от услады опушая глаза ковыльными ресницами. Ей польстило, что брак ее с рабом Божиим Саней в молитвословии сопоставили со святыми браками Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иоакима и Анны — родителей Царицы Небесной, Захария и Елисаветы, родивших Иоанна Предтечу. Если не по грехам людским милостив Господь, загадала Клавдия, если она сподобится Царствия Небесного, то, может, среди вечнозеленых райских садов, среди радужных райских цветов и сладкозвучных райских птиц встретится она со святыми женами, поговорит, и особо хотелось свидеться с Елисаветой и Анной...

Позади мирная ектеня и молитвы иерейские о даровании Сане и Клане целомудренной любви, чадородия, земного плодородия, пшеницы, вина и елея. О пшенице и вине понятно, а для чего в хозяйстве елей, венчаемые не доспели. А уж батюшка, приняв от дьякона золоченые венцы, поочередно крестообразно осеняя ими жениха и невесту, дал поцеловать венцы и возложил их на главы. Саня с Кланей, украшенные сияющими коронами, почуяли себя царем и царицей, что перебиваются с хлеба на квас.

— Венчается раб Божий Александр рабе Божией Клавдии во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!.. Венчается раба Божия Клавдия рабу Божию Александру во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!.. Господи Боже наш, славою и честью венчай я...

Позже, когда Саня сложил руки для благословения, батюшка пояснил:

— Возложением царских венцов возгласил я вам, чада, честь и славу человеку, яко царю творения; и вы, брат и сестра, отныне и довеку царь и царица. Но венцы сии могут быть и мученическими венцами, а перво-

наперво се венцы Царствия Божиего, а узкую и тернистую тропу в рай откроет вам ваша богоугодная и благочестивая семейная жизнь...

Дьякон принес из алтаря медную чашу с церковным кагором. В память о чуде в Кане Галилейской, когда Господь обратил воду в вино, и во имя общей судьбы трижды пригубили Саня с Кланей из общей чаши. После сего батюшка соединил правые руки жениха и невесты, укрыл сцепленные персты епитрахилью и под тропари, ангельски ликующие под куполом, а словно в поднебесье, трижды обвел новобрачных вокруг аналая.

Сняв венцы с мужа и жены, отец Евгений поочередно обнял венчанных:

— Вы, Саня и Кланы, уж десять лет пьете из единой чаши, полной радостей и горестей, отныне же Царь Небесный и Царица Небесная стали попечителями вашего супружества, и по любви вашей к Вышнему и ближнему, по смирению и молитвенному покаянию, по упованию на Бога, на Матерь Божию и всех святых ниспошлются вам блага земные и небесные!

Батюшка подвел новобрачных к Царским вратам, где супруг поцеловал икону Спасителя, а супруга — образ Божьей Матери; затем по древлеотческому свычаю они приложились к иконам святых Космы и Дамиана и мучеников Гурия, Самона и Авива. А напоследок облобызали иконы небесных покровителей и молитвенников об их душах: Саня — благоверного князя Александра Невского, а Кланы — святой Клавдии Римской.

Поначалу Щегловы стеснялись прилюдно целовать иконы, падать ниц пред святыми ликами — батюшка углядел и в проповеди попенял:

— Если мы будем стесняться любви к Богу, то и Бог постесняется нас любить.

...От соснового Никольского храма до избы рукой подать, и Саня с Кланей шествовали, как и десять лет назад в сельсовет, родной приречной улицей; шли мимо изветшавших изб, сгинувших в черемуховой чащобе, мимо новодельных теремов, где за железными заборами таились здешние торгаши, где гремели цепями и хрипло лаяли псы; шли, обходя лужи и свежо парящий коровий навоз; шли, чинно кланясь старикам и старухам, что на лавочках грели зябнущие кости, копили тепло на зиму и прищуристо всматривались в бабье лето, журавлиным клином уплывающее вдаль.

Саня вспомнил: и десять лет назад мело растекалось по земле томное бабье лето, прощались с Русью журавли, а он подволакивал охромевшую Клаву, обмирая от счастья. Так добрались тогда до сельсовета, где председатель с чапаевскими пламенными усами между шутками-прибаутками бракосочетал их, а теперь вот добрались и до храма Божия, обрели венцы Господни. Нынче, после заутрени, после бракосочетания и венчания, журавлиная песнь для Сани и Кланы — песнь херувимская, что ласково и властно влекла их души в ясно синие осенние небеса.

Ольга ДОМРАЧЕВА

ЧЕЙ-ЙА

время глухих снегов

время глухих снегов зыбучих ночей
зря воробей-беспризорник пытается чья ты
ты чей

мимо плывут человеки плотва плотвой
носят по силе боль и по слуху вой
под чешуей холодны случайны

зреет на черной ветке
кромешный день
плачет по-детски
взбалмошный воробей
чей-йа чей-чей
чей-чей-йа

падает
тонет тихо созревший плод
только плывет куда-то
сумрачный город-плот
где поджимая лапки
под крышей глухой зимы
птаха канючит чьи мы
чьи мы чьи мы

ДОЖДЛИВОЕ

1.

ангелы ли вчера на небе играли
или в реке плескались два карася
вода сегодня цвета дюралья
а в ней река и небо
и улица вся

2.

дождь долговязый громкий
чинно читал псалтырь
день уходил сторонкой
каяться в монастырь

ты рисовал горгулью
пальцем давил стекло
били секунды-пули
в ноги под дых и в лоб

3.

вечер с дырой в кармане
топает налегке
крылья полощет ангел
в черной большой реке

майское

май идет бычком по бревнышку.
несмотря на ветробой,
что ни ива, то Аленушка,
тополь в поле — граф Толстой.

вперепев дождю весеннему,
чуть нескладно, но вразмах
шелестит стихом Есенина
близлежащий березняк.

и не высмотреть исконную —
хоть застойся на яру —
глубину тоски, с которою
чайки звонкие орут.

Нина МАКАРОВА

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

Из дневника редактора

Макарова (по мужу Малюкова) Нина Владимировна (1924—2011) родилась в г. Тайге Томской области. Отец — Владимир Макаров, певец, диктор Новосибирского радио. Мать — Анна Ивановна Герман, сотрудница Новосибирского радиокomiteта, писательница, автор книг «На отшибе», «Возвращение» и др., ряда публикаций в «Сибирских огнях» в 1930—1951 гг. Муж Нины Владимировны, Игорь Михайлович Малюков, художник, в Новосибирске заведовал художественным отделом газеты «Советская Сибирь». Сестра ее Инна Владимировна Макарова — известная актриса, народная артистка СССР.

Окончила редакторский факультет Московского полиграфического института. Работала в Новосибирском радиокomiteте, литературным редактором в Новосибирском издательстве, в журнале «Сибирские огни» (1959—1971), старшим редактором журнала «Новый мир» (1971—1981). Печаталась в журнале «Сибирские огни». Автор книг «Я верю в тебя, Женька» (1964), «Лыжня среди сосен» (1967), «Смелый человек» (1967), «В каком времени прошлое?» (1969), «Июль высокосного года» (1970), «В зоне поражения» (1973), «Жду подвига от вас» (1976), «Неуловимая» (1985).

Редакция благодарит заведующую Городским Центром истории Новосибирской книги Наталью Ивановну Левченко за предоставленную для публикации рукопись.

Март 1963 г. В нашем отделе появился еще один редактор — поэт Александр Кухно¹. Сидим нос к носу: в журнале не принято поворачивать столы к стене, отгораживаться от всех. Редакция для авторов, для разговоров. А редактировать дома — не зря же собираемся к двум часам.

Виктор Владимирович² вызвал к себе:

— Помните И.? С тем романом он не справился, прислал повесть. И я искренне порадовался за автора. Может, у меня затмение? Прочтите!

¹ Кухно Александр Антонович (1932—1978) — новосибирский поэт. Сотрудник редакции «Сибирских огней» в 1956—1966 гг.

² Лаврентьев Виктор Владимирович (1914—1986) — прозаик. Главный редактор «Сибирских огней» в 1958—1964 гг.



Читаю: ситуация вроде бы остросовременная, председатель колхоза берет высокие обязательства и выгребает из амбаров все подчистую... чтобы прославиться, «прогреметь»! Какое уж там «прогреметь» в наши годы? Наверное, более серьезные обстоятельства заставляют все замечать? Но ведь тогда и характер другой. А у этого председателя какие-то фальшивые, по авторскому произволу, поступки.

Почему же В. В. не увидел облегченности, неправды?

Рукопись возвратили. Лаврентьев бывает резок, но бывает и демократичен. Когда такие отношения, работать хорошо.

Март 1964 г. Вечером пришла в «Сибирские огни» Е. К. Стюарт³. Она была в добром настроении. В нашу с Сашей Кухно комнату зашли Б. К. Рясенцев⁴ и А. А. Романов⁵. Дружно попросили Елизавету Константиновну почитать стихи. И она сразу согласилась, но при условии, что Саша Кухно тоже почитает.

Тот, обычно бледный, побледнел еще сильнее, но обещал.

«Будет все нежней и все железней новый надвигающийся век, — начала задумчиво Е. К. — Навсегда забудет о болезнях новый, сверхздоровый человек... К высшим тайнам он откроет дверцу — грусть прогонит, счастьем даст простор. Впрочем, этим будет ведасть сердце — тоже сверхчувствительный прибор».

Она закончила, посмотрела на нас испытующе весело и сразу же потребовала:

— Теперь вы, Кухно, читайте!

Саша долго не решался: начинал, замолкал, снова начинал. «Я тону, я кричу: помоги! Не соломинку — руку подай. Не гадай — ты мне руку подай. Помоги, помоги, помоги!»

И тут я поняла, что Елизавета Константиновна пришла и начала читать стихи ради того, чтобы ободрить Сашу, как-то помочь ему. У него было трудное время: вторая книжка — через шесть лет после первой — очень медленно двигалась в издательстве.

* * *

Сколько вечеров я обогрелась в доме Стюарт! Приходила зажатая, задавленная работой и жизнью. А тут отступало.

Сколько светлых минут пережила, читая стихи Стюарт:

...И если ты уловишь отзвук смеха
Иль отзвук боли в лиственной глуши,
То жизнь моя откликнулась, как эхо,
На зов простой, но пристальной души.

³ Стюарт Елизавета Константиновна (1906—1984) — поэтесса. Родилась в Томске. С 1932 г. жила и работала в Новосибирске. Автор 16 поэтических сборников и нескольких десятков детских книг.

⁴ Рясенцев Борис Константинович (1909—1999) — заведующий отделом прозы «Сибирских огней» в 1948—1970 гг.

⁵ Романов Александр Александрович (1930—2006) — поэт, прозаик, переводчик. Много лет возглавлял поэтический отдел «Сибирских огней», был ответственным секретарем и заместителем главного редактора журнала.



Когда я уехала из Новосибирска, пошли письма. Я писала раз, а то и два раза в месяц и всегда получала ответ. Переписка длилась двенадцать лет. Для меня письма Елизаветы Константиновны были самой прочной связью с родной Сибирью, с молодостью, с той жизнью, которая миновала, а я все хотела ее удержать.

Отвечать Е. К. заставляла ее душевная щедрость.

Любимым местом на земле для нее стал Юрт-Акбалык — татарский поселок на берегу Уени. Как любовно она рассказывала в письмах о своем домике, о ближнем лесе, о тихой речке. Все стихи последних десятилетий родом оттуда.

<...>

И в жизни и в письмах она была требовательной к себе и другим.

«1 октября 1979 г. “Поэтическую тетрадь” я слышала: после стольких хвалебных слов (по-моему, преувеличенных) надо же было прочитать старые, проходные, нелюбимые стихи, абсолютно для меня нехарактерные! Читала актриса взволнованно, хорошо, но слишком театрално, что мне тоже совершенно чуждо...»

18 января 1983 г., когда Елизавета Константиновна уже тяжело болела, ее стихи в «Поэтической тетради» читала Инна Макарова. Елизавета Константиновна написала мягче:

«Я натыкалась на некоторые иные, чем у меня, интонации, но потом, приняв Иннины “правила игры”, я слушала ее чтение очень внимательно и до конца поняла, как хорошо она читает, взволнованно, и голос очень красивый.

...Простите за почерк — пишу лежа, вставать не велят. <...> Чудесные соседи приносят хлеб и молоко. Коля Самохин⁶, сам больной, попутно с хождением на процедуры заказывает и приносит нам лекарства, а на днях бывшая соседка (еще по Октябрьской, 33) вдруг принесла пирог с картошкой и уху! От одного этого можно поправиться».

Изредка приходили письма со страничкой, отпечатанной на машинке: «А вот вам и еще стишки! Вам, не редакции!»

16 октября 1964 г. Сообщение о Пленуме ЦК партии и Совета Министров. Хрущев Н. С. освобожден «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья» от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров. Первый секретарь — Л. И. Брежнев, Председатель Совета Министров — Н. А. Косыгин.

Только бы к лучшему, а не к худшему, только бы не было войны.

⁶ Самохин Николай Яковлевич (1934—1989) — прозаик, журналист. В 1965—1974 гг. — ответственный секретарь журнала «Сибирские огни».

Декабрь 1964 г. Идет семинар молодых. Обсуждали Константиновского⁷ и Коньякова⁸ — хвалили очень. Сегодня — стихи Саши Кухно. Как всегда, о его стихах противоречивые суждения. Точно, заботливо, интересно говорил А. В. Никульков⁹.

В «Красном факеле» премьера — «Чти отца своего». Пьеса В. В. Лаврентьева. Б. К. <Рясенцев> говорит: «Красный факел» давно не слышал таких аплодисментов. Автор в Москве.

28 августа 1965 г. Лектор ЦК рассказывал о заседании идеологической комиссии. Критика в адрес «Нового мира» и «Юности»...

После октябрьского 64 года Пленума ЦК появились читательские письма в центральной прессе, остро критикующие некоторые публикации в «Новом мире»...

В этой напряженной литературной обстановке редакция «Нового мира» приезжает в Новосибирск.

1 сентября 1965 г. Сеет дождь, прохладно... В Доме офицеров читательская конференция «Нового мира». Приехали: А. Т. Твардовский, В. Я. Лакшин, А. И. Кондратович, И. Б. Брайнин...

Я сидела близко от сцены, хорошо видела лицо Александра Трифоновича: серьезное, голубые глаза будто сверлят зал...

Первое читательское выступление: всем известный автор очернил наших солдат, много очернительского в журнале.

Зал зашикал, но это разогрело атмосферу, потом все шло на аплодисментах.

Твардовский говорил, что настоящее художественное произведение всегда правдиво. Есть одна правда; большой и маленькой быть не может...

После выступления Твардовского какой-то эрудированный читатель сказал: говорят, что по «Новому миру» скоро будет постановление ЦК.

Твардовский ответил:

— Я — член ЦК. Скоро вы все прочтете интересные документы, много разъясняющие.

В одной из записок спрашивали: правда ли, что автор «Одного дня...» был в плену?

Твардовский категорично:

— Неправда.

Александр Трифонович готов был всех прикрыть своей спиной.

Сентябрь 1965 г. В «Огни» приходил Сергей Павлович Залыгин. Говорит, что в «Новом мире» обстановка сложная. Постепенно заговорил о своей работе:

⁷ Константиновский Давид Львович (р. 1937) — прозаик, очеркист.

⁸ Коньяков Василий Михайлович (1927—1998) — сибирский поэт и прозаик.

⁹ Никульков Анатолий Васильевич (1922—2001) — новосибирский прозаик, публицист. Главный редактор «Сибирских огней» с 1975 по 1987 г.



— Две замечательные женщины встретились на моем пути: Мария Павловна Чехова и академик Пелагея Яковлевна Кочина. Старая интеллигенция. Закаленное спокойствие. Когда был в Ялте, увидел на столе у Марии Павловны свою книжку «Тропы Алтая». «Раз уж мы теперь знакомы, я должна прочитать», — объяснила она.

Открытое партийное собрание. Первый секретарь горкома партии докладывал о событиях внутренней жизни страны, о ликвидации совнархозов.

Некоторые выступления писателей поразительны: ошибок у нас не было, были нормальные требования, «изменения роста». Кто говорит об ошибках — злопыхатель.

«Неприсоединившийся» беспартийный Яновский¹⁰ возражал: наверное, нельзя все относить за счет роста. Наверное, были у нас ошибки.

Секретарь горкома поддержал Яновского: мы говорим об ошибках, в этом и сила наша. Около тысячи человек из совнархоза надо трудоустраивать.

А. С. Иванов¹¹ принес такую рецензию на «Лыжню»¹²: «Очень и очень хороший рассказ. В некоторых местах его просто нельзя читать без волнения... Поздравляю автора с удачей!»

И вот человеческая психика: маленькое невезение повергает в глубокие уныние. А после таких рецензий — будто так и надо. Хотя настроение бодрое!

«Лыжню» взял читать А. И. Смердов¹³.

Октябрь 1965 г. Саша Кухно говорит, что люди — психика, характер — меняются в течение семи лет: «Я стал хуже, злее. Мы тратим нервы, а общения с людьми мало...» Он наговаривал на себя.

В пустом троллейбусе возвращались с читательской конференции в заводском клубе. С левого берега Оби — почти через весь город.

Конференция прошла хорошо, контактная оказалась аудитория. Я рассказывала о планах отдела прозы. Саша прекрасно читал стихи. Я думала, Кухно доволен, а он поскреб пальцем куржак на окне троллейбуса и сказал совсем о другом:

— У моих мальчишек никудышные одежки. Мерзнут, бедолаги, в такой мороз.

Он любил сыновей горькой, саднящей любовью: может быть, предчувствовал, что рано оставит их.

<...>

¹⁰ Яновский Николай Николаевич (1914—1990) — литературовед, критик, историк литературы. В 1964—1972 гг. — заместитель главного редактора «Сибирских огней».

¹¹ Иванов Анатолий Степанович (1928—1999) — писатель, один из крупнейших представителей «деревенской прозы». В 1958—1964 гг. был заместителем главного редактора «Сибирских огней».

¹² Опубликовано: Макарова Н. Лыжня среди сосен // «Сибирские огни», 1966, № 3.

¹³ Смердов Александр Иванович (1910—1986) — поэт. Главный редактор «Сибирских огней» с 1964 по 1975 г.

Преподаватель Московского университета, автор критических статей под псевдонимом печатал за границей пасквили против социалистического реализма, против советской литературы, о «молодой оппозиции» в советской литературе. Значит, в университете под своей фамилией что-то хвалил, а потом под псевдонимом это же ругал? Плевал в чашку, из которой ел?!

Объяснение с А. И. Смердовым по поводу моей «Лыжни». Начал с поздравления, а выяснилось, что все не нравится: хотелось бы больше психологической оправданности, герой — распущенный и запущенный парень, плохо относится к матери, нет внутреннего развития и т. д. Я чуть не разревелась во время этого объяснения.

Б. К. уговаривает поработать и сдать снова...

Декабрь 1965 г. Саша Кухно чаще улыбается — вышла книга, хвалят! Собирает рекомендации в Союз, появились деньги, надеется на второй тираж! Полон доброжелательности, пожелал мне на Новый год: «Чтобы жизнь шла полным ходом!»

Во время войны (декабрь 42 года) письмо Миши Пушкарева, сына писателя Глеба Пушкарева: «Желаю Вам удач в вашей жизни. Желаю быть дружными и жизнерадостными. Передайте от меня всем, всем ребятам и учителям искренний привет. Обо всех я сейчас думаю только хорошее. И изредка вам желаю вспоминать о моем существовании. И если есть возможность, ободрить моих родителей...» Больше писем от него не было. Погиб и похоронен в Прибалтике.

После войны Дом писателей изменился (на ул. Челюскинцев, 39). Осиротели семьи Пушкаревых и Коптеловых (погибли сыновья на фронте). Погиб поэт Евгений Березницкий.

Новые люди поселились в доме. Приехал из Красноярска Казимир Лисовский¹⁴. Невысокий, широкоплечий. Первое лето он ходил по двору отчужденно, независимо поднимая голову. Потом привел Дашу. И зажили они весело и громко. Весь дом ходил к нему слушать пластинки Вертинского. Однажды, по дороге на Дальний Восток, знаменитый певец пришел к Казимиру в гости. На другой день возбужденный Казимир радостно вспоминал: — Подумайте, моя Дашка понравилась Александру Николаевичу. Пока мы снимали пальто, она поставила пластинку «Медленно движутся дроги». Вертинского встретил сам Вертинский. Сообразила!

Двор Дома писателей опять был полон детей: сыновья Смердова и Павлова, внуки Ершова — Юра и Валерка. Оба они станут большими математиками в новорожденном Академгородке, а вскоре членкорами Академии наук.

Недавно прочла в книге Афанасия Коптелова «Минувшее и близкое», что, когда строился на улице Челюскинцев новый жилой массив,

¹⁴ Лисовский Казимир Леонидович (1919—1980) — поэт.



Дом писателей разобрали по бревнышку и перевезли в село. В нем будет сельская больница.

<...>

Илья Михайлович Лавров¹⁵ напоминает мне героя старого плутовского романа: невысокого роста, плотный, с озорными глазами за стеклами очков, толстые губы кривятся в хитрой улыбке... Его плутовство заключается в умении видеть то, чего другие не замечают. Это свойство души впервые раскрылось пять лет назад в рассказе «Ночные сторожа».

<...>

В Переделкине рассказывают: Н. С. Хрущев вызвал к себе Твардовского, спрашивает:

— Скажите, Пастернак — хороший поэт или нет?

— А вы меня считаете поэтом?

— Вы хороший поэт.

— По сравнению с Пастернаком я ничто (он применил другое слово).

Март 1966 г.

Саша Кухно:

— Стало меньше друзей. К весне опять один останусь, все разъедутся по дачам. Денег нет. Мне говорят, что нескромно надеяться на второй тираж. Надо работать, а я не могу.

Г. Н. Падерин предложил срочно написать очерк о Е. В. Бердниковой¹⁶. Повел к Смердову.

— Это надо рассматривать как партийное поручение, — сказал Александр Иванович.

Елена Васильевна — очень скромная, худенькая пожилая женщина в очках, ходит с палкой, когда-то я редактировала сборник «Женщины нашей Родины», составителем которого она была. Почему-то на учете в партийной организации Союза писателей. Вот и все, что я о ней знаю.

— Для начала расспросите о ней у Высоцкого¹⁷, — посоветовал Смердов.

С поэтессой Нелей Созиновой¹⁸ ездили в физико-математическую школу Академгородка. Здание школы огромное, красивое, но полупустое.

¹⁵ Лавров Илья Михайлович (1917—1983) — прозаик, литературовед, актер.

¹⁶ Падерин Геннадий Никитович (1921—2012) — сибирский прозаик, публицист. Заведовал отделом очерка и публицистики в «Сибирских огнях», руководил Новосибирской писательской организацией. Бердникова Августа (Елена) Васильевна (1897—1974) — одна из организаторов и руководителей большевистского подполья в Новониколаевске.

¹⁷ Высоцкий Анатолий Васильевич (1897—1970) — литературный критик, главный редактор «Сибирских огней» в 1930—1932, 1935—1937 и 1953—1958 гг.

¹⁸ Созинова Нинель Ильинична (1931—2006) — новосибирская поэтесса.



27 марта 1966 г. Боятся большого паводка. Саперные части в боевой готовности. Эвакуируют жителей маленьких домишек по берегам Каменки.

Нашелся Кокышев¹⁹ Устраивал большой «той» в областной партийной школе, где учатся его друзья.

Н. Н. Яновский исчеркал весь его роман после редакции.

А. И. Смердов мне:

— Вы, говорят, сердитесь на правку Кокышева? Придется вам с ней согласиться. Что же делать? Обещаю и впредь такую же правку! Мы тоже литераторы!

Я сказала, что это не правка. А нивелировка произведений, высушивание их...

Несколько сцен удалось отстоять. А. И. Смердов восстановил то, что сокращал Яновский, а Н. Н. то, что правил Смердов.

В конце концов Смердов сказал Абраму²⁰:

— Вы хорошо поработали, интересно!!!

Апрель 1966 г. Была у Елены Васильевны Бердниковой. Жалею, что у меня нет магнитофона. Сидит целый день над бумагами. Без обеда. Пьет чай. Последнюю десятку куда-то засунула. Поглочена чужими судьбами.

Петя Воронин рассказывал, что после первой операции она подошла к нему: «Товарищ Петя! У вас сейчас трудное время. Болезнь. Двое детей. Я получаю большую пенсию (сто рублей!). Мне столько не надо. Разрешите, я половину буду отдавать вашим детям...» Когда Петя отказался, она чуть не заплакала...

Июнь 1966 г. Бюро обкома для всех неожиданно прошло благополучно. Обсуждали работу журнала. Первый секретарь обкома Ф. С. Горячев по поводу поэмы А. Кухно «Море», за которую волновались все, особенно сам автор, сказал: «Так было. Что же делать?» Про Сталина сказал: «Все мы ему верили. А сейчас всех собак на него повесили...»

Утром включила радио, песня: «Пока поют солдаты, спокойно дети спят...» Двадцать пять лет назад началась война.

Город готовится к встрече де Голля. Приезжает завтра. Франция вышла из НАТО, поэтому мы встречаем его особенно дружелюбно. Теперь НАТО будет размещаться в Бельгии...

За полчаса до прилета де Голля дождь перестал, тучи ушли и

¹⁹ Кокышев Лазарь Васильевич (1933—1975) — алтайский поэт, прозаик, переводчик.

²⁰ Китайник Абрам Ушеревич (1922—2001) — писатель, журналист, переводчик художественной прозы с языков народов Сибири. Речь идет о переводе А. Китайником романа Л. В. Кокышева «Арина» (опубликован в «Сибирских огнях» в 1966 г., № 6, 7).



засветило солнце. Прилет я смотрела по телевизору: спустился из самолета высокий, прямой, но старческие движения. Когда сел в машину, я пошла к Дому офицеров — успею встретить, пока он доедет. Там уже толпа, кто-то залез на дерево и сорвался...

Де Голль проехал стоя в машине, очень бледное лицо. Когда проехал, у всех праздничные глаза: ждали все вместе, надежда на мир. Обаяние старого думающего лица.

Сентябрь 1966 г. Н. Н. Яновский заговорил о командировках с пропагандой журнала. Попросила Черемхово, где Елена Васильевна <Бердникова> была секретарем подпольной организации — после Новониколаевска.

Никульков сказал:

— Прочитал ваш очерк. Работать там надо еще много. Но так полно собран материал впервые...

У А. И. Смердова много замечаний по роману В. Колыхалова²¹, который я редактировала. Автор сопротивляется. Б. К. Рясенцев посоветовал поговорить об этих замечаниях со Смердовым. И я «поговорила». Смердов ответил: «Я вот вам всажу выговор!»

Но какие-то замечания справедливы. В общем, от моего шума толку мало. Автору сказала, что все-таки вторая половина романа слабее — он задумался и вроде настроился на рабочий лад. Пошел в гостиницу думать.

А. И. Смердов прочитал «Елену»²²: не надо хронологии, выясните свое отношение... какие-то личные качества, характер. Сломать хронологию!

Характер, характер, как же его ухватить на бумаге? Или это мне не дано? И замечание А. В. Высоцкого? «Августа как-то абстрактна». Все об одном...

Смердов выбросил хороший кусок у Колыхалова. Предлагает назвать «Вешние побеги» — вместо «Дикие побеги». Герой повести — детдомовец.

Январь 1967 г. Город залит ледяным туманом. На базаре пустые ряды. Продают мочалки, веники, грецкие орехи. Закутанные в полушубки яблоки, одно, каменное от мороза, красное яблочко лежит сверху.

По телевидению показывали «Молодую гвардию». Много теперь кажется наивным. Но актеры, юные еще, с их не всегда счастливыми сегодняшними судьбами, высекают слезы.

²¹ Колыхалов Владимир Анисимович (1934—2009) — сибирский писатель, очеркист. Речь о романе В. Колыхалова «Вешние побеги» («Сибирские огни», 1967, № 1, 2, 1968, № 9).

²² Речь идет о статье Н. Макаровой о Е. В. Бердниковой «Товарищ Елена» («Сибирские огни», 1967, № 7).

Лавров принес письмо, которое ему прислали из Канады: о каком-то якобы существующем обществе «Феникс». Листовки. Ругают Твардовского, Евтушенко, хвалят Тарсиса.

Лавров удивлен и возмущен: как узнали адрес, почему — ему?

Февраль 1967 г. Первый раз капало с крыш. Солнечно, тепло. Открыла форточку, а с улицы — запах арбуза!

В Доме Ленина — юбилей Е. К. Стюарт. На сцене ТЮЗа президиум, за отдельным столиком шестидесятилетняя женщина в кружевном платье, тонких чулочках, очень строгая поначалу.

А. Никульков — докладчик. Привел слова Шолохова о писательском труде: это мужицкий, бурлацкий труд.

Один студент спросил: разве в вашем возрасте можно писать стихи о любви?

Е. К. ответила: «Петрарка всю жизнь писал сонеты, посвященные Лауре».

Июнь 1967 г. У Аскольда Якубовского²³ два года назад была напечатана повесть «Мшавя» о староверах в северной тайге. Густо написанная, интересная по языку. Разговаривают с Сашей Кухно о редакторской работе, вернее, спорят. Якубовский, ясно улыбаясь, говорит Саше:

— Поэт не может редактировать прозу. В стихах вы ищете слово, вас спасает рифма. А в прозе вся ткань живая, что-то переделаешь по чужому требованию, и вся ткань расползается...

Прав, конечно. В этом и трудность редактирования: почувствовать эту ткань, но иногда из нее торчат такие остья и соломины! Хотя Кухно — читатель внимательный. Это важно.

Февраль 1968 г. Снег падал спокойно и не очень густо. Запрокинешь голову: высота кажется глубокой, и в ней кружатся снежинки. А на земле — пушистый, легкий, сверкающий.

Желающих помочь Стюартам переехать на новую квартиру было много. Магалиф²⁴ вел старика отца. Мелкими-мелкими шажками. В новой квартире еще нет воды. Магалиф пообещал сходить с ним в баню. Иоффе и Кухно таскали книги.

Около нового пятиэтажного дома Стюартов снесли маленькие «обывательские» домишки. Будто их не было. Остались деревья и кусты, которые росли в палисадниках и огородах. Вот тебе и «обыватели», они оставили после себя деревья.

Допустим, снесли целый город, люди переселились на новое место. И после них остался шуметь огромный парк!

²³ Якубовский Аскольд Павлович (1927—1983) — сибирский прозаик, писатель-фантаст.

²⁴ Магалиф Юрий Михайлович (1918—2001) — поэт, писатель, автор широко известной сказки «Приключения Жакони».



С Яновским скандал из-за небольшого рассказа про спортсмена, который ищет личную выгоду.

— Сейчас, когда наши бьются на Олимпийских играх, давать такой рассказ как нож в спину.

— Ничего подобного! — сразу расสวิрепел. — У нас все время праздники и все время идет поток серой юбилейной литературы! Мозги у нас по-разному устроены.

Вот ведь крикун!

Июль 1969 г. Китайцы обстреляли на Амуре наших речников. Один убит, трое ранены. Разве можно было в пятьдесят седьмом такое предположить?

Только что в «Последних известиях» сообщили, что американские космонавты побывали на Луне. Нил Армстронг — первый человек, который ступил на Луну.

Август 1969 г. Новый поселок. Всю ночь лил дождь. Поздно вечером приехал Абрам Китайник — в новенькой майорской форме и с ним тоже майор, зам. редактора «фронтальной редакции», расположенной где-то около Академгородка.

Лес, темнота, только лампочка над столом, на котором парное молоко... Рядом под березой растут маслята. Майоры посидели часок и отправились в редакцию — учения.

И. М. Лавров пришел в редакцию просто пообщаться: «Единственное, что я знаю точно: нужно как можно ярче представить то, о чем хочешь писать. И когда не получается, значит, не сумел себе представить».

На каждом углу продают помидоры, яблоки или лук. Продавщицы в белых халатах читают книжки, никто ничего не покупает, у всех огороды, у многих!

28 ноября 1969 г. Казимиру Лисовскому 50 лет!

Енисейские капитаны привезли ему огромного осетра. Много других подарков и поздравлений. В конце концов юбиляр в президиуме расплакался. Наверное, потому, что последнее время плохо жил — расстался с Дашей. На юбилей пришел сын: светлый — в Казимира, а черты лица — Дашины. <...>

О романе Кочетова «Чего же ты хочешь?» П. сказал: первый советский жандармский роман. Действительно, он направлен против целой группы писателей, против «авангардистской» литературы.

12 июля 1971 г. Отправили контейнеры с вещами.

Саша Кухно притащил в редакцию охапку цветов. Николай Николаевич, с которым вроде не ладилась отношения, разволновался, когда прочитал приказ о моем уходе с работы:



— Нет, так нельзя! Столько работали вместе! Давайте соберемся все!..
И подарил мне свою книгу «Голоса времени», в которой статьи о Савве Кожевникове, Михаиле Ошарове, Кондратии Урманове и других самобытных писателях-сибиряках. Книга с дорогой мне дарственной надписью: «На память только добрую. С чувством глубокого расположения — мы ведь столько проработали вместе».

14 июля 1971 г. «Сибиряк» отошел от Новосибирского вокзала. Провожаящие остались на солнечном перроне. Мимо окон мелькают фермы моста через Обь... Уже ничего невозможно изменить...

2 июля 1977 г. Казань. Собрание открылось в одиннадцать. Прилетевший этим утром из Москвы С. П. Зальгин, открывая обсуждение, сформулировал основную проблему: «Мы видим и умеем описывать человека, но мы не знаем и не умеем описывать коллектив».

Рукописей прочитано много. Обсуждение их длилось почти два дня. <...> К сожалению, я не привезу ничего для журнала, кроме обещаний. Но все равно нужны такие поездки. Они питают мозг для новой работы.

Август 1977 г. В Москве жара! В квартире тридцать градусов. В редакции прохладней, старые монастырские стены защищают от зноя.

Диана сказала, что у корректоров к роману Рытхэу «Конец вечной мерзлоты», который я редактировала перед отпуском, много вопросов. Как будто можно что-то отредактировать так, чтобы ни у кого не появилось вопросов.

Сентябрь 1977 г. В выставочном зале Союза художников выставка Грицюка. Около семидесяти работ, а всего осталось около тысячи. Работал очень много. Выставлены декоративные композиции. А я люблю его Новосибирск: таинственный, синеватый современный город...

Молодой парень, фотокорреспондент, держит в лаборатории портрет Сталина. Видела небольшой портрет в кабине шофера в Перхушкове. Выросло поколение, которое не пережило двадцатый съезд, письмо ЦК, тем более того, что этому предшествовало.

Я «свежая голова» по четвертому номеру. Шагинян в своих воспоминаниях «Человек и время» пишет о Короленко: «Спустя четыре года это растущее несоответствие, в сетях которого оказались и некоторые русские писатели, благородные и прекраснодушные, например Владимир Галактионович Короленко, не понявшие и не принявшие перевернутой страницы истории, это несоответствие выросло в саботаж и побег».

Это Короленко «прекраснодушный»? Студентом его исключили из Лесной академии и отправили в Сибирь. Он вмешался в «мултанское дело», защищая невиновных крестьян, он вышел из Академии вместе с Чеховым в знак протеста, когда исключили Горького, — это «прекраснодушие»?



Из-за Короленко пронеслась буря! Не согласились со мной ни Козьмин, ни Елисеева, ни Ведрашку. А вчера исправили, видно, Сергей Сергеевич <Наровчатов> решил. Потому что Ведрашку сказал мне:

— В журналистской практике идут споры, пока главный редактор не скажет: сделать так!

* * *

Июнь 1981 г., Москва. За окном поседевший от пуха густой тополь, за ним веселый перекресток, перемигиваются светофоры и сигнальные огни убегающих на Красную Пресню автомобилей.

Только что вычитала после перепечатки рассказы Юрия Трифонова «Опрокинутый дом». Последняя моя редакторская работа...

Собираясь на пенсию, много думала, что же за профессия такая — редактор?

В молодости все казалось ясным. Саша Кухно — милый сибиряк, поэт, с которым мы работали вместе, в одной комнате «Сибирских огней», сказал: «В России не затем поют, чтоб умолкнуть на середине... На том стою. И состою в редакторском негромком чине» (поэма «Море»).

Негромком, конечно. Но какие разыгрывались страсти! И что надо иметь за душой, чтобы взять карандаш и в чужой рукописи оставлять свои замечания, навязывая свой вкус, свое мнение другому?

А. М. Горький писал Всеволоду Иванову: «О тирании редакторов, а также о малограмотности оных напишу статейку...»

В свою очередь Всеволод Иванов записал в дневнике: «Легко, конечно, обвинить в ненапечатании романов эпоху, но нетрудно обвинить и автора. Эпоха сурова, автор — обидчив, самолюбив, и, к несчастью для себя, он думал, что другие самоуверенные люди — чаще всего это были редакторы — лучше, чем он, понимают и эпоху, и то, что он, автор, должен делать в этой эпохе...»

Так и повелось по сей день: редакторов только ругают.

Свое вмешательство в рукопись я оправдывала тем, что помогаю довести произведение до читателя. Радовалась, когда могла подсказать удачный вариант. Но всегда автор исправлял, переделывал лучше. Важно — сподвигнуть на это! Я предлагала довольно банальные ходы, писатель не соглашался и делал то, что необходимо.

Работая с Георгием Семеновым над первым его романом «Вольная натаска», спросила: «Что такое для вас редактор?»

— В идеале — мой представитель в редакции, доверенное лицо.

Если возникают такие отношения на основе взаимного доверия и требовательности — работать легко.

Читала один печальный протокол заседания редколлегии журнала «Новый мир». На нем Александр Трифонович Твардовский сказал: «Самое трудное в редакторском деле — в рукописи увидеть будущее произведение».

Наш театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 г. Я помню этот весенний вечер. Мы пришли на открытие с мамой. Торжественный зал

амфитеатром, яркая орнаментальная роспись высокого потолка... Внешний купол театра похож на серебристый шлем древнего русского воина. Для плоского потолка нашли интересное решение: внутри, под куполом, подвесили деревянный, на него натянули холст, и художники Ольга Шереметинская, П<авел> Якубовский (отец писателя Аскольда Якубовского) и другие расписали его. Работали они на огромной высоте.

Античные фигуры в нишах за амфитеатром, огромная, в пышных декорациях сцена — вся эта праздничность как-то естественно входила в наши ликующие души, ведь была весна Победы! И знаменитое «Славься!» из «Ивана Сусанина» Глинки звучало сегодняшней славой.

Поздним, но еще светлым вечером мы вышли из театра и тут узнали, что на открытии был Молотов. Значит, и Москва радуется, что у нас в Новосибирске сразу же после войны открылся такой прекрасный — самый большой в стране! — театр.

Молотов садился в машину, а мы радостно махали ему, и кто-то положил на кузов светлого автомобиля букетик первых фиалок.

Жизнь иногда тоже умиляется.

Городское совещание работников культуры проходило в концертном зале театра. Мы отыскивали свободные места уже в задних рядах, сбоку, около колонн.

На ярко освещенной сцене, в центре президиума, главный режиссер «Красного факела» — светловолосая, улыбающаяся Вера Павловна Редлих, на ней черный костюм и кружевное жабо; в те годы все еще скромно одевались, и это жабо представлялось невиданной роскошью. Рядом с Редлих — писатель Афанасий Лазаревич Коптелов²⁵ в алтайской шапочке, похожей на меховую тубетейку с шелковой кисточкой; с невозмутимым лицом, он и в самом деле похож на солидного алтайца. Я каждый день вижу, как он неторопливой походкой пересекает двор нашего дома с двумя ведрами каменного угля. Перед самой войной у мамы (Анна Герман²⁶) вышел роман «Возвращение». С того времени мы живем в Доме писателей (ул. Челюскинцев, 39).

Рядом с Коптеловым, чуть откинув голову назад, заразительно смеется Савва Елизарович Кожевников²⁷ — редактор журнала «Сибирские огни». Ему что-то шепчет на ухо Иван Матвеевич Гуляев²⁸ — энтузиаст народной музыки, создатель лучшего в Сибири оркестра народных инструментов. Впрочем, нам тогда казалось, что у нас все лучшее — наш драматический театр «Красный факел», например, мы называли «сибирским МХАТом».

²⁵ Коптелов Афанасий Лазаревич (1903—1990) — прозаик, очеркист, один из крупнейших писателей Сибири.

²⁶ Герман Анна Ивановна — писательница, очеркист. До войны заочно окончила Литинститут. Работала заведующей литчастью Новосибирского ТЮЗа, потом — театра «Красный факел», литературным редактором детского вещания в Новосибирском радиокомитете (с 1933 г.), редактором сектора литературного вещания (с 1939 г.), главным редактором литературной редакции (1943 г.). Роман «Возвращение» опубликован в № 2 «Сибирских огней» за 1940 г.

²⁷ Кожевников Савва Елизарович (1903—1962) — прозаик, очеркист, литературовед. Главный редактор «Сибирских огней» в 1940—1941 и 1946—1953 гг.

²⁸ Гуляев Иван Матвеевич (1911—1978) — дирижер. В 1945—1976 гг. — художественный руководитель и главный дирижер (с 1966 г.) оркестра русских народных инструментов Новосибирского радио.

Людмила ЯКИМОВА

МЕМУАРЫ УЧЕНОЙ ДАМЫ*

За свою долгую жизнь я написала несчетное количество текстов: сначала это были школьные сочинения, потом пошли студенческие и аспирантские рефераты, по ходу жизни были написаны кандидатская и докторская диссертации и авторефераты к ним, сотни статей самого разного жанра и назначения, больше десяти монографий... И все это были тексты по поводу других текстов. По профессии я — литературовед, и делом моей жизни стало осмысление художественных текстов, написанных русскими писателями разных эпох — Пушкиным, Достоевским, Гончаровым, Маминим-Сибиряком, Чеховым, Л. Леоновым, Вс. Ивановым... Появлялись в печати и мои собственные художественные тексты: убеждена, что человек, безжалостно препарирующий чужие художественные творения, обязан испытать себя на трудном поприще писательства, вкусить плодов собственного литературного труда. В век электронных средств связи вышли из обихода письма: я за свою жизнь написала их тысячи, продолжаю писать и до сих пор, дорожа возможностью получать их от других. И как насквозь текстовый человек, сколько себя помню — веду дневник. Привыкла к нему как к ритуалу, психотерапевтическому сеансу: не исповедуюсь сама перед собой — как будто что-то важное пропущу, гложет какая-то бытийная незавершенность. Мне в нем легко и свободно: нет ни внешней, ни внутренней цензуры. Стоп...

Вот написала эту строчку и призадумалась: так ли уж нет ее, этой цензуры, этого нежелания быть прочитанной, застигнутой в сокровенном... И хотя нет у дневника читателя, кроме себя самой, тем не менее и при этом сковывают какие-то этические запреты — удобно ли лезть без спроса в чужую душу рядом с тобой живущих людей, самых близких, родных, уверенных в том, что видишь их так, как хотят они, чтоб их видели. Не без сомнения откликнувшись на много раз звучавшие предложения написать нечто в жанре воспоминаний, подумала: пусть это будет еще один текст как вариант моей стойкой привычки писать о времени и о себе, может быть, только акценты сместятся и на первом плане окажется не мое «я» во времени, а время во мне.

Мне не близко сотрясение основ жизни, я скорее эволюционист, традиционалист, даже консерватор, но по крайней мере один революционный поступок я в своей жизни совершила, его последствиями живу и до сих пор: от него ведет начало моя семья, мои дети, а следовательно, и внуки, мое профессиональное становление, мой жизненный опыт. После окончания аспирантуры в Горьков-

* Журнальный вариант.

ском пединституте в далеком 1955 году я неожиданно для всех, и себя самой тоже, выпорхнула из родительского дома и по распределению Министерства высшего и среднего образования махнула из чуть ли не столичного города в неведомый тогда Горный Алтай, где был пединститут, испытывающий нужду в молодых специалистах. Это сейчас, когда средства передвижения и коммуникации сделали небывалый скачок, Горный Алтай не выглядит таким неведомым и далеким, а, наоборот, стал местом модного отдыха, решение городской барышни не кажется удивительным, тогда же это было подобно то ли безрассудству-сумасбродству, то ли не без иронии приравнилось к подвигу декабристок. Но те ехали к любимым мужьям, меня же никакая родная душа не ждала, я ехала в неизвестность одиночества и неприкаянности. Конечно, доля какого-то юношеского безумства имела место. Помню, на самом верху печной лежанки, где хранилась вся семейная библиотека и где, отогреваясь после долгого стояния на трамвайной остановке, любила я предаваться случайному и хаотичному чтению то «Господ Головлевых», то Зощенко, был еще неведомо как туда попавший альбом из серии «Народы СССР» — и назывался он «Ойротия». Я с интересом и любопытством впитывала экзотику этой российской окраины и чаять не чаяла, как это отзовется во мне. Во всяком случае, когда мелькнул среди предложенных в министерстве мест распределения молодых специалистов Горный Алтай, бывшая Ойротия, название это не отпугнуло, а скорее примагнитило своим заочным знакомством с ним, что-то в душе сразу отозвалось.

Удивительно, как все со всем связано в нашей жизни, чему не отдаем себе отчета, над чем мало задумываемся. Позднее, переехав в Академгородок, уже после почти десятилетней жизни в Горном Алтае, работая в Институте истории, философии и филологии СО АН, я с какой-то почти генетически обусловленной готовностью откликнулась на предложение заняться исследованием национальных литератур Сибири и войти с этой темой в авторский коллектив «Истории Сибири», пятитомник которой был удостоен Государственной премии. А еще позднее, когда началась работа над «Очерками русской литературы Сибири», большое место в двухтомнике заняли мои очерки о творчестве тех русских писателей — А. Коптелова, М. Ошарова, В. Арсеньева, Р. Фраермана, Т. Семушкина, И. Новокшенова, Г. Федосеева, — чье внимание было сосредоточено на воспроизведении исторических судеб сибирских народов: алтайцев, эвенков, нивхов, нанайцев, чукчей, ненцев... Вспоминая пройденный путь, мне придется много говорить на эту тему, возвращаясь же ко времени отъезда из Горького, следует признать, что не только слепая безотчетность и тайная тяга к перемене жизненных обстоятельств, но и вполне конкретные житейские резоны послужили тому причиной.

Город Горький, Нижний Новгород

С некоторых пор я стала тяготиться жизнью в семье, мне стало в ней тесно, потянуло к свободе от родительского контроля, сковывающего режима домашнего быта. Почти восьмилетняя жизнь в атмосфере перманентного чтения книг, филологических штудий, лекций, семинаров, писания рефератов и диссертации, студенчески-аспирантского круговорота возымела необратимое действие на внутренний мир девчонки, родившейся в семье, где труд отождествлялся с



физическими усилиями, производством материальных ценностей. У папы были золотые руки: он построил наш дом, около дома плодоносил возвращенный им сад, небольшой огород приносил завидный урожай, на крошечном дворике кудахтали куры, в сарае плодились кролики. Расхождения обозначились не сразу. Училась я как-то легко, но успешно: повезло, в колею попала. Потом не уставала удивляться, ведь ни к чему, пожалуй, другому и не способна, как только к тому, чему обучилась в институте и аспирантуре. Успехи мои были отмечены повышенными и даже именными стипендиями, и однажды папа уразумел, что получаю я за свое книжное бытие чуть ли не больше, чем зарабатывает он — прораб, мастер строительного цеха завода «Красная Этна». Возникло какое-то непроговоренное чувство родственного дискомфорта, но еще сложнее было справиться с ростом внутреннего натяжения в отношениях с мамой.

Она всю жизнь была домохозяйкой, никогда не была связана ни с каким коллективом, привыкла к единоличному бытию как норме жизни. образу советской женщины-работницы, передовика производства она не соответствовала ни в малой степени, хотя семейная жизнь наша проходила на ярко выраженном производственном фоне большого горьковского завода, а окна нового дома выходили на дорогу, упиравшуюся в ворота второй проходной. Каждый день, кроме воскресенья, я просыпалась по зову заводского гудка и из окна видела, как плотным, густым потоком течет рабочий люд к проходной и как буквально за минуту до начала работы этот поток иссякает, просто обрывается, не оставляя за собой ни одной человеческой единицы: опоздание строго каралось. Властный характер мамы находил выход в семейном единоначалии, в неукоснительно строгом руководстве семейным укладом, где все было рассчитано, взвешено, уложено по ее хозяйскому усмотрению, дышало нетерпением к каким-либо вольностям и, по ее понятиям, излишествам или личным пожеланиям кого-нибудь из домочадцев. Да я и моя младшая сестра Аля никогда и не посягали на заведенный порядок: мама непоколебимо исходила из того, что ей виднее, что нам нужно и чего мы хотим.

Помню, какое неизгладимое впечатление произвели на мое детское мировосприятие отношения дочери и матери в семье, эвакуированной из Ленинграда и в порядке уплотнения подселенной в соседний дом, где жили одинокие старики Грачевы. Это было еще на улице Зеленой, прямой стрелой устремленной к городскому стадиону «Торпедо». Дом замкнуто живших стариков с постоянно плотно завешанными окнами всегда волновал мое воображение, и как было не прислушаться к разговору моей ровесницы с ее мамой, отправляющейся с кошелкой на базар? «Мамочка, — сказала девочка в белых носочках и нарядном платьице, — купишь что-нибудь вкусенькое?» И ее мама не ответила так, как я ожидала и как бы ответила моя мама: «Что следует, то и куплю», а, наоборот, стала внимательно выяснять, что девочка понимает под понятием «вкусенькое»: яблочко, малину, творожок?

Стипендия — сначала студенческая, потом аспирантская — тоже стала органичной частью семейного бюджета, из которого я по усмотрению мамы получала на дорогу и еще какую-то карманную мелочь. Зачем деньги, если все необходимое предусмотрено? Хуже всего было то, что в понимании мамы книги тоже проходили по разряду излишеств, а театр — баловства. Покупку книг и билетов в театр приходилось скрывать. Можно было покуситься на покупку нового пла-

тъя, пальто, обуви — это вещи в быту заметные, но поездка в Москву, где идет показ Дрезденской галереи и функционирует выставка подарков к 70-летию И. В. Сталина, — это уж «лишнее».

Разрыв в понимании ценностей жизни нарастал, и конфликтное напряжение грозило обернуться выяснением отношений, к чему я не была готова. Справедливости ради надо сказать, что по мере того, как менялся социальный статус дочерей, происходило их превращение в «ученых», шло укоренение их в мире интеллигенции, менялись и сами родители, многое начинали понимать в специфике труда дочерей, понимать прежде всего то, что труд, не приносящий результатов, ощутимых как материальная данность, — тоже труд, требующий усилий. Можно было даже ощутить, как к чувству родительской попечительной снисходительности прирастает и уважение, получавшее заметную подпитку отношением улицы: «Девочки-то какие у вас... вежливые, воспитанные, по танцам не бегают, с парнями не обжимаются».

Аля, которая была меня младше на десять лет, пошла по моим стопам: после окончания Горьковского университета поступила в аспирантуру, потом долгие годы Алевтина Павловна Якимова, до самой смерти своей три года тому назад, преподавала там на экономическом факультете, занималась научной работой. Мы были очень привязаны друг к другу: она часто приезжала ко мне и в Горно-Алтайск, и в Академгородок. Уже неизлечимо больной — «Люсенька, не оставляй меня здесь!» — я привезла ее в Новосибирск, и могила ее тут, а не в Нижнем Новгороде, с которым неразрывно связана вся ее биография. Теперь, когда ее не стало, пришло позднее осознание того, какой подвижнической, без оглядки на признание, была вся ее жизнь: это касается и ее отношения к своей профессии, которую она воспринимала как служение, и отношения к родителям. С ними она оставалась до самой их смерти, сначала мамы, значительно позднее — папы, когда уже обменяли построенный им дом на квартиру поближе к месту ее работы.

Расставаться с родительским домом ей было значительно сложнее, чем мне. Она как бы добровольно отказалась от самостоятельного пути, не вышла замуж, не имела детей и, может быть, реализовала тот вариант судьбы, которого избежала я, в свое время отважившись покинуть обжитое пространство ради неведомого края.

Через характер, психологию, внутренний мир мамы, с детства впитавшей атмосферу Канавина, проник и прочно укоренился в семье обывательски-мещанский взгляд на правила домоустройства. Сегодня благодаря биографии М. Горького и его автобиографической трилогии это название известно всему миру, здесь наш классик получил документ об окончании Нижегородского Кунавинского училища. Канавино — одно из исторически значимых мест большого города, район, непосредственно примыкавший к территории Нижегородской ярмарки и неизменно хранивший память о Всероссийской торгово-промышленной выставке 1895 года. Здесь традиции мещанского бытия и после революции долго сохраняли свою привлекательность, питаясь идеалами прочности и крепости купеческого быта. Здесь сохранялся обычай жить своим домом, не коммунальным общежитием, иметь при доме хозяйство. Здесь имена купцов Бугрова, Башкирова, Рукавишникова ассоциировались не с эксплуататорством, а с размахом благотворительности и работодателя. Рядом с местом, где жила

семья Гаськовых, из которой вышла мама и где остались жить три ее сестры и брат, продолжала работать мельница, сохранявшая имя Башкировской, и как порождение былого величия ярмарки бурно функционировал канавинский базар, составной частью которого была потрясающая своим масштабом барахолка, где можно было найти все — от оружия до дефицитного учебника «Основы дарвинизма». Именно там мне его и купили, а через неделю он был украден и, вероятно, снова продан на той же барахолке.

Поженившись, родители приехали на одну из великих строек социализма — автозавод им. Молотова. Там в двухэтажном деревянном бараке началась их семейная жизнь, там родилась я, так что в некотором роде мы с этим заводом ровесники. Создавая этот мемуарный текст, я буду часто жаловаться на свою память, но, как ни странно, кое-что из этой младенческой поры мне хорошо помнится: внизу жили иностранные инженеры — я, кроха, к ним ходила в гости. Однажды, не столько спускаясь, сколько сползая со второго этажа по деревянной лестнице, просунула голову в резные балясины ее перил и не смогла, как ни старалась, вытянуть ее назад. Операция по извлечению головы оказалась сложной, и квалифицированная помощь американских спецов оказалась нелишней.

Сейчас трудно отделить собственные младенческие воспоминания от осевших в памяти рассказов родителей о той поре, но, судя по всему, мне та жизнь очень нравилась. Меня, видно, любили брать на руки или я любила быть на высоте — почему-то постоянно вижу себя не на полу или земле, а на руках и в воздухе.

Однако маме такая жизнь на миру — с общей кухней, фанерными перегородками между комнатами — не нравилась, хотя справедливости ради стоит сказать, что в облике той коммуналки, которая осталась в моей детской памяти, не было ничего отталкивающего и непереносимого, о чем можно было прочесть в некоторых произведениях советских авторов. Общую кухню с большой плитой, коридор и другие служебные помещения наша молодая семья делила с бездетной парой. Это был заводской бухгалтер, человек уже в годах, и его молодая жена, длиннющие косы которой волновали мое детское воображение. Приятельские отношения с соседями на жизненных планах мамы не сказались ни в малой степени. Буквально неодолимым было ее желание жить своим домом, быть в нем хозяйкой, и осуществлению этого желания подчинился весь уклад жизни молодой семьи. Сначала накопили на приобретение половины дома на ул. Зеленой, бывшей Карла Радека, в районе поселка им. Володарского, где прошло мое военное детство, где окончила школу № 102. Потом, продав эту половину, угол в которой еще ухитрились сдавать студентам, стали владельцами того дома, который папа построил сам и на обустройство которого постоянно требовались средства. Дом — как живой организм: требует неустанного внимания, подпитки, догляда, присмотра и ухода. Только благодаря мастерovitости папы он выглядел добротнo, нарядно, красиво — и он сразу опустился, утратил живые краски, когда перешел в другие руки.

С течением времени он обрстал удобствами: при сохранении умело сложенной папиными руками русской печки появилось батарейное отопление — с водяным котлом в подвале, была пристроена баня, разросся сад, в палисаднике за высокой изгородью буйствовали кусты сирени и жасмина. Переезд в этот дом на ул. Дачной, 4 совпал с моим поступлением в Горьковский педагогический

институт им. А. М. Горького, куда с пересадкой, на двух трамваях, я ездила целых семь лет.

На домоустройство, поддержание благопристойного образа жизни уходили основные средства. Мы, девочки, содержались скорее по остаточному принципу: накормлены, присмотрены — что надо еще? Игрушки, куклы, развлечения — пока не по карману. Жаловаться на заброшенность наше с сестрой детство особых оснований не дает, мама не работала даже в войну, и в контроле над нами недостатка не было, страдали скорее от избытка семейного диктата. Как я теперь понимаю, в детстве я испытывала дефицит нечаянных радостей, родительского баловства, того душевного взаимопроникновения и понимания детской психологии, на которые так скупы бывают родители в некоторых семьях и в которых так нуждаются их дети. Не помню, чтоб меня обнимали, прижимали к себе, гладили по головке, шутили, играли со мной, приносили подарок «от лисички»: отношение равных с равными, с детьми как взрослыми едва ли следует отнести к лучшим образцам семейной педагогики. Не праздновали наших дней рождения, не ждали мы новогодних подарков. Конечно, когда началась война, наступила вообще пора «другой жизни»: скорее это можно назвать выживанием. Мой детский организм чутко реагировал на распространенные в школе чесотку и педикулез, я страдала авитаминозом — до покрытия кожи гнойными язвами, но это все воспринималось как общая напасть, которую надо преодолеть, пережить, перетерпеть, на которую некому и ни к чему жаловаться.

Кто-то из классиков наших сказал: «Все мы родом из детства». С этим нельзя не согласиться, но, подойдя к взрослой жизни с такой заготовкой, как детство, нельзя сказать с определенностью, что из этой заготовки выйдет — «икона или лопата», как сказал Д. Н. Мамин-Сибиряк. Неизвестно, какой стороной своего чудодейственного мастерства-волшебства повернется к человеку его судьба и какую роль сыграют в ней случайности в процессе превращения заготовки в готовый человеческий продукт.

Едва ли стоит упрекать маму в грехе собственничества, и сейчас, когда деньги и недвижимое возведены в культ и похвальба богатством и роскошью стала обычным явлением, осуждения не вызывающим, этот упрек покажется уродливым анахронизмом. Но я пишу о реальном времени, в котором жила и которое самой хочется увидеть, не впадая ни в хулу, ни в похвалу его. Те метаморфозы, которые произошли после революции и продолжают происходить на наших глазах в отношении понятия собственности и связанных с ним категорий богатства и бедности, в годы молодости моих родителей — это был конец 20-х — 30-е годы — не могли обернуться в сознании моей мамы скорым принятием новой идеологической нормы всеобщего равенства в бедности. По понятиям пролетарской морали тяга к личному хозяйству, отдельному домоустройству была позорной отрыжкой обывательского уклада, вредным пережитком прошлого, тормозящим социалистическое строительство. Уже в XXI веке, когда по-новому стали читаться советские классики, в повести Вс. Иванова «Возвращение Будды» — 1923 год! — прочла фразу: «Да, люди стыдятся быть богатыми».

Стыд, богатство и бедность рифмовались в социальном тексте России так многообразно и противоречиво, что легко могли произвести путаницу, сумбур и ералаш в сознании и более искушенного в политике российского гражданина, чем сосредоточенная исключительно на семейных ценностях моя мама. Что

«бедным» быть — или казаться — выгоднее, что в некотором роде происхождение «из бедных» обеспечивает определенные преимущества и дает социальные преференции, подтверждал пример моей однокурсницы. Была в нашей студенческой группе детдомовка Рита Е., такая невзрачная, как-то показательно лишённая внешней привлекательности девчонка, вся какая-то серая, смазанная, но, что называется, «без комплексов» и не лишённая внутренней амбициозности. Ни о какой дружбе с ней я не помышляла, но однажды она мне сказала: «Ты мне нравишься. Ты, говорят, в богатом доме живешь, в выходной приеду к тебе». Приехала. «И это ты каждый день так катаешься?» — недовольно спросила она. Обед был обычный: винегрет, летом превращавшийся в салат, — это на закуску; потом щи, забеленные сметаной, каша с маслом, чай с сахаром. После обеда она обошла наши садово-огородные угодья, покормила цыплят, погладила кроликов; день был выходной, следовательно, банный: нас «пропустили» первыми, после чего мы ушли в мою комнату, где уже успело возникнуть на этажерке небольшое скопление книг. На ужин мама сварила по яичку, приготовила бутерброды, смазанные тонким слоем сливочного масла, поставила перед каждым маленькие розетки с вареньем. Все как всегда: гостя-то обычная девчонка... Мы все буквально опешили, когда Ритка сказала: «Я съела бы еще яйцо!» — «Да пожалуйста, — нашлась мама, — я как раз не хочу». «Не хотеть» было в кодексе приличного поведения в нашей семье. «И мне еще варенья!» — сказала Ритка.

Утром мы торопились успеть на трамвай, в вагонной давке было не до пространственных диалогов, но своими впечатлениями от визита однокурсница поделиться успела: «Дом у вас богатый, но почему едите-то так плохо? Жадные, что ли?» Я вздохнула с облегчением, и страх оказаться ее невольной подругой схлынул: слава богу, больше не приедет, оставит меня своим вниманием.

Трамвай — неотъемлемая сторона той части моей биографии, которая охватывает юность, девичьи мои годы, и горько думать о том, сколько этого прекрасного времени съела дорога — из дома в институт, из института домой, с одного конца города в другой дважды в сутки. Забегая вперед, скажу, что позднее я как бы взяла реванш за это напрасное время. В маленьком Горно-Алтайске, куда приехала после окончания аспирантуры, вообще все было рядом и никакой нужды в транспорте, чтобы прибыть на работу, не было, а переехав в новосибирский Академгородок, я и моя семья оказались жителями самого лучшего в мире места человеческого обитания, идеально оборудованного для гармоничного сочетания труда и быта, и я жила здесь в пяти минутах ходьбы до здания, где размещается Президиум СО РАН и где долгое время под одной крышей обитали все отрасли гуманитарного знания — от археологии до филологии.

Помня дорожные мытарства юных лет, я с большим сочувствием отношусь к тем своим коллегам, которым сегодня приходится, пусть и не ежедневно, претерпевать длинную дорогу от города до Академгородка, пусть в удобном автобусе, маршрутном такси, даже на своей машине, тем более что каждое время неминуемо сопровождается необходимостью преодолевать новые препятствия и трудности: изживая старые пороки, человечество непременно возвращает новые — такова неодолимая диалектика бытия. Великий, могучий русский язык обозначил новое дорожное испытание выразительным тропом — «пробка»!

Но такой транспортный феномен, как горьковский послевоенный трамвай, в том числе та «четверка», которая ходила от вокзала на «Красную Этну», достоин того, чтобы попасть в историю.

Он состоял из двух вагонов, каждый из которых представлял собой огромную железную коробку, внутри уставленную двумя рядами железных сидений, над которыми свисали ременные петли для удержания в равновесии стоящих пассажиров. Но необходимости держаться за что-либо не было: падать во время трамвайной езды было некуда. Плотная спрессованная пассажирская масса послушно колебалась в соответствии с капризным ходом трамвая. Тяжело было претерпевать, стоя на ногах всю дорогу, эту вагонную скученность, испытывать близость чужого тела, впитывать его запахи, дышать спертым воздухом, но страшнее было оказаться поздно вечером в пустом вагоне наедине с какими-то шальными парнями, похотливыми взорами пронизывающими тебя и ждущими, как одиноко сойдешь ты на своей конечной остановке и станешь их легкой добычей. Но зимними вечерами, когда рано темнело и было особенно холодно, встречал меня на остановке папа, держа наготове мои валенки и похлопывая ими друг о друга.

Трамвай — огромное железное чудовище с рогами, и страх опасности быть им травмированным, попасть под его колеса жил внутри постоянно и витал над родительским домом как грозное предзнаменование и роковая неотвратимость, и в целом этому было свое оправдание. Главное назначение трамвая заключалось в том, чтобы доставлять к проходным «Красной Этны» рабочий люд, в основном состоящий из здоровых пролетарских парней, я же была росточка небольшого, сложения хрупкого, спортивной силой и сноровкой не обладала, вообще вся такая домашняя, и трамвай логично вырастал в знак моей способности к выживанию. По неотвратимым законам многолетнего соприкосновения с трамваем неминуемо должно было случиться то, что и случилось.

Не прошло и двух месяцев моего студенчества, как я попала в большую дорожную беду. Однажды, потеряв надежду дождаться своей «четверки», я села вместе с Нюсей Черноусовой и Ниной Шапошниковой в их трамвай, следовавший по автозаводскому маршруту, чтобы, сойдя у Дворца культуры им. Ленина, оттуда добраться до дома пешком, но на развилке трамвайных путей увидела стоящую на остановке соседней линии мою «четверку». Тут все и произошло. Дальше я ничего не помню, остается только догадываться. Сама прыгнуть с трамвая я не могла, не хватило бы ни духу, ни сноровки, но лихим моим подружкам это ровно ничего не стоило и, очевидно, в нетерпении от моей нерешительности они столкнули меня с подножки, к счастью, не под колеса. Скорее всего, так и было, судя по тому как прятали они потом глаза при общении со мной и как вообще упорно обходили молчанием этот случай. Десять дней я пребывала в коме: ехали домой в конце октября, а когда пришла в себя и выглянула в окно — увидела ход праздничной демонстрации. И навсегда запомнили в семье фамилию врача, которого ради сложного медицинского случая приглашали на консультацию и который близко к сердцу принял беду юной пациентки — это был известный в городе Королев, утешавший обезумевшую от горя маму: «Постараемся пробудить и поставить на ноги вашу девочку». Велика была милость Бога, уберегшего меня от непредсказуемых последствий страшного сотрясения мозга.



Рита Е. была избавлена, как выразилась она, от «каждодневного катания на трамвае», от этого удовольствия с двумя пересадками в любую погоду, и не поднималась с постели за несколько часов до начала лекций. Что стало с ней, как сложилась ее судьба, мне неизвестно, как личность она интереса не представляла, а вот как типовая модель непримиримого отношения к тому, что по представлениям пролетарской морали было мещанством, вредным собственничеством, она внимания достойна. Забота государства о ней освобождала от лишних дум о сложностях бытия: наверху так разумно все продумано, что необходимо лишь точно следовать предписанным правилам поведения, а кто не следует и отстает, тот враг. Разумеется, общим путем, указанным сверху, шел весь народ, четко сформулированные идеологические постулаты были обязательны к исполнению; не возникало мыслей о том, чтобы обсуждать их, и у нас, студентов, но официальный взгляд на советскую действительность у многих корректировался изнутри семейными обстоятельствами, мировосприятием родителей, и в целом это влияло на разнообразие человеческих индивидуальностей в обществе.

Ритка, как привычно обращались к ней, не имела представления об опасных колебаниях и провалах семейного бюджета, заставляющих экономить каждую копейку — на еде, одежде, обуви, школьных тетрадях, карандашах и перьях для ручек... Многостраничная, так называемая «общая» тетрадь, например, могла быть щедрым подарком, однажды мне такую подарила на день рождения учившаяся в нашей группе фронтовичка Вера Мазон. У Ритки не было забот об одежде. Одета она была в какие-то буро-сине-серого цвета казенные вещи, но всегда добротна и по сезону. Ее стипендия не зависела, как наша, от успеваемости. И судя по тому, что постоянно она что-то жевала и сосала, не испытывала и мук студенческого голода. Что вызывало мою зависть — у нее всегда были толстые общие тетради для записи лекций.

Е. всегда была в первых рядах гонителей всякой идеологической ереси: потенциальная готовность обличать пережитки и разоблачать врагов пришлось ко времени, ибо враги у советской власти не переводились. Мы в факультетском гнезде и опериться не успели, как разразилась в 1948 году мощная кампания борьбы с безродными космополитами. Едва одержали победу над ними, как у советской литературы объявился новый враг — безыдейность, а через некоторое время обнаружили искривления в языкознании: насквозь пронизанное идеализмом, глубоко порочным оказалось учение Н. Я. Марра. Идеологическая жизнь в стране была столь бурной, что, отдаваясь ей, некогда было бы и учиться.

Помню общеинститутское собрание, посвященное борьбе с космополитизмом в преподавательской работе, которое проходило в актовом зале и на которое пригласили почему-то и студентов; даже я, первокурсница, присутствовала на нем. В центре обсуждения оказалось преподавание зарубежной литературы. Мне одинаково нравились и лекции Зиновия Ефимовича Либинзона, читавшего XVIII век, и лекции Серафима Андреевича Орлова по XIX веку, но под прикрытием борьбы за идеологическую чистоту преподавания коллеги-зарубежники решили свести и какие-то свои личные счета. Моя новая подруга Софья Романова — уже старшекурсница, с которой сблизила меня общая дорога, — влюбленная в «Зиночку», уговорила меня выступить против «Симочки». Уговорить-то уговорила, сломав мое сопротивление, только «против» не

получилось, и непредсказуемость моя Софье не понравилась. Я сказала, что лекции Серафима Андреевича нам нравятся, слушаем их, как волшебные сказки, раскрыв рты. Он, высокий, длинноносый, с хорошо поставленным голосом, широко шагающий, похожий и на капитана Гранта, и на Паганеля, и правда не утруждал нас глубиной теоретического анализа, а акцентировал основное внимание на пересказе сюжетов, но делал это столь виртуозно, мастерски, артистично, что не мог не пробудить в нас любви к Стендалю, Флоберу, Роллану, а готические тексты Генриха Клейста в его пересказе не ушли из моей памяти до сих пор. Но не имела я представления о скрытом механизме идеологических дискуссий, коварстве полемических ходов, и каково же было мое потрясение, когда выступившая вслед за мной Софья именно на примере и основе моего же выступления постаралась убедить собрание, что именно такие преподаватели, как Орлов, с их способностью завораживать сознание, формируют у студентов неоправданную любовь к буржуазному Западу, воспитывают низкопоклонство перед его культурой, сознательно затмевают великие достоинства русской классики и недостижимые успехи литературы социалистического реализма.

Справедливости ради надо сказать, что последствия борьбы с низкопоклонством перед Западом на нашем факультете не оказались такими необратимо жесткими, как в Москве и Ленинграде, никого не уволили, все зарубежники остались на своих местах, а З. Е. Либинзону я уже по окончании института оказалась очень обязана поддержкой при поступлении в аспирантуру. Он уходил домой, когда случайно встретил меня у дверей института и поинтересовался, что я намерена делать теперь. Диплом у меня был с отличием...

— Поеду учительствовать. В Арзамас или Глазов.

— А в аспирантуру не хотите? — удивился он.

— Кто бы мне предложил...

— А с кем вы разговаривали?

— Ни с кем...

— Ну, как же вы так беспечны... Да разве можно так бездумно собой распорядиться... Вот, кажется, у Бориса Ивановича Александрова есть еще место в аспирантуре... Не хотите спросить?

Но, увидев мою нерешительность, махнул рукой, вернулся в институт, позвонил при мне и спросил, помнит ли Александров студентку Якимову и, если помнит, не хочет ли взять ее к себе в аспирантуру. Оказалось, помнит, не возражает. Экзамены тогда-то...

Так в одно мгновение судьба моя сделала крутой разворот и привела в науку. Вопрос, как сплетаются в жизни воедино закономерность и случайность, до сих пор мне небезразличен, и философская формулировка проблемы, что случайность есть, мол, способ и форма проявления закономерности, мало что мне объясняет. Конечно, логика в том, как все у меня сложилось, прослеживается — с детства до старости — о, как не люблю я это слово! — но если я сейчас на этом остановлюсь, то из сетей ассоциативного изложения событий и течения моей жизни не вырвусь. Впрочем, ассоциативность есть органически присущая мемуарному жанру черта, ни один из мемуаристов не обошелся то ли без осмысления, то ли без оправдания этой его черты и свойства. В. Катаев назвал эту особенность своих мемуарных текстов мовизмом, об этом же говорит В. Катаев в своих воспоминаниях о Лиле Брик: «Всецело разделяя точку зрения Анны



Ахматовой, я тоже не верю воспоминаниям, написанным последовательно, год за годом. Ведь память, словно прожектор, высвечивает события с перелетом на десяток лет вперед или, наоборот, рисуя ретроспекцию. Поэтому нет ничего удивительного, что после 1926 года герои попадают в 72-й, а возвращаются в 38-й».

Я же вообще с хронологией не в ладах настолько, что, как ни стараюсь, например, не могу обнаружить целого года своей жизни, пропавшего на переломе от последних лет школьной жизни до приезда в Горно-Алтайск: канул в неизвестность, исчез, растворился в неразличимом потоке... Безликая же фигура Ритки Е., не близкая мне ни в чем, значима для меня в этом тексте постольку, поскольку позволяет выстроить, выдержать, сохранить единую линию воспоминаний о себе и времени с точки зрения особой остроты проявления, как теперь модно выражаться, «концепта» богатства-бедности как идеологически важного фактора, оказывавшего воздействие на психику и поведение людей определенной эпохи. Выброс нутряной, может быть, даже бессознательной демагогии, впервые потрясшей меня в выступлении Софьи, в годы студенческого бытия мне предстояло ощутить неоднократно, особенно на старших курсах, когда решался вопрос, например, о присуждении повышенных и именных стипендий. При обсуждении моей кандидатуры нельзя было не принять к сведению реплик относительно жизни в «богатом» доме и склонности противостоять коллективу. Благо, что окончательное решение об именных стипендиях принимал не комсомол, а ректорат и критерием их назначения был не имущественный ценз, а успехи в учебе. И тут у такого хрупкого, непролетарского вида создания, склонного к тому же к тщательности внешнего оформления своей персоны, словом, по мнению некоторых, к «выпендриванию», не было конкурентов ни в лице бездомной Ритки, ни в лице бравого фронтовика Кима Ильинича, являвшегося на экзамены в офицерском френче, украшенном орденом Красного Знамени.

Я и до сих пор не убеждена в полной справедливости выбора в мою пользу при поступлении в аспирантуру, когда моим конкурентом снова стал Ким Ильинич, а выбор Бориса Ивановича был предрешен. Знаю, что после окончания института Ильинич пошел по партийно-хозяйственной линии, стал секретарем райкома партии в Горьковской области, но, к сожалению, рано умер.

Оказавшись далеко от родных мест, я потеряла возможность следить за судьбой своих однокашников по институту и аспирантуре, о чем очень теперь жалею. Но Ким Ильинич запомнился хотя бы потому, что был в нашей группе единственным мужчиной, и присутствие его невольно обостряло природу девичьего поведения, заставляло тщательнее следить за своим внешним обликом и лелеять расчеты на будущее. Имя его было аббревиатурой Коммунистического интернационала молодежи — и при первом взгляде на него нельзя было усомниться в том, что пороха на войне он понюхал. Синие точки, ввевшиеся в кожу лица, его, однако, не портили, скорее романтизировали. От военной выправки, от его до блеска начищенных сапог, туго стягивающего талию ремня, кожаной планшетки, в которой носил он лекционные тетради, веяло каким-то артистическим щегольством: нас это восхищало, покоряло, магнетизировало. В армии он был политруком, по-видимому, привык быть на виду, впереди, а тут впереди все время оказывалась девчонка; его армейское честолюбие страдало, я ощущала его неприязнь и на проявление каких-либо чувств другого свойства рассчитывать с его стороны не могла.

Теперь-то хорошо понимаю, что жизнь поставила нас в неравные условия: все мы, пришедшие в вуз сразу после школы, оказались в преимущественном положении перед ними, фронтовиками, на несколько лет оторванными от мирной жизни, от регулярного общения с книгой. Чтобы адаптироваться в студенческой среде, Ильиничу надо было перешагнуть через ту пропасть в знаниях, которая возникла за время войны, наверстать упущенное, вспомнить забытое. А я уже закусила удила, это придавало новой ступени моей жизни эмоциональный тонус, и не удивительно, что при моей далеко не блестящей памяти не ушли из нее даже отдельные семинары, их ход и перипетии. Отчетливо помню тот, на который пришла впервые после трамвайной травмы. Семинар вел Э. Е. Либинзон, темой его была роковая для литературоведения проблема авторства. Преодолевая тьму веков, отважно, ничтоже сумняшеся шли мы на окончательное и бесповоротное решение вопроса о том, кто же скрывается за именем Шекспира — бедный актер, или знатный граф Рютленд, или, быть может, известный философ Бэкон. И, как правоверный сторонник социальной справедливости, Ким был за «бедных», а я, выходит, за «богатых».

Социально-идеологическая конъюнктура проникала всюду, всевластно господствовала она и литературоведении. Непосредственно же в советской литературе защитная сила бедности и происхождения из низов нашла свое выражение в феномене выбора псевдонима писателями. Если судить по ним, ни в одной литературе мира не было такого количества писателей, прорвавшихся к свету культуры из бездны горькой нужды, бездомности и безвестности: Максим Горький, Демьян Бедный, Максим Горемыка, Степан Скиталец, Павел Низовой, Иван Приблудный, Михаил Голодный... Типичный для советской литературы характер такого выбора точно схватил М. Булгаков, наделив своего героя из числа советских поэтов именем Ивана Бездомного. Кстати сказать, не было, пожалуй, в советской литературе писателя более богатого, чем Бедный Демьян.

В стране, на протяжении одного века прошедшей через три войны и три революции, логика человеческого поведения в рамках связки богатство — бедность проделала поистине немислимые курбеты. Макар Девушкин стыдится бедности, герои советской литературы боятся даже просто обнаружить зажиточность, герои нашего времени богатства своего не боятся и не стыдятся, они им кичатся.

Родные

Моя личная анкета безукоризненно соответствовала духу того времени. В графе «социальное положение» я с чистой совестью писала: «из рабочих». Так оно и было: когда я родилась, папа успел влиться в ряды передового класса нового общества и потом до конца жизни профессионально рос: без отрыва от производства проходил курсы повышения квалификации, заканчивал школу рабочего мастерства, что вкупе с его золотыми руками дало замечательный результат, обеспечило ему, человеку скромному, тихому, неразговорчивому, авторитет настоящего мастера. Мастером, позднее начальником цеха завода «Красная Этна» он стал по должности, но мастером своего дела он был всегда. На войну его не призвали: на заводе он был нужнее.



Но это, как говорится, была одна сторона медали. Другая же состояла в том, что родом он происходил из раскулаченной семьи, что тщательно скрывалось от общественного мнения, но о чем папа охотно рассказывал маме и к чему с любопытством прислушивалась я. Оказывается, дед мой Павел Викулович до революции, кроме того что занимался хлебопашеством, держал породистых лошадей для извоза в большом селе Василькове, ставшем потом Чкаловском. Во время коллективизации коней реквизировали и отвели на общую конюшню вместе во всем извозчицким инвентарем — розвальнями, дрожками, упряжью, где лошади погибли от голода, а все остальное оказалось разворованным. Этого деда я видела, он приезжал к нам. Мама звала его «Выкулыч» и, кажется, недолюбливала. И было за что. Он не скрывал деревенской снисходительности к городскому образу жизни, когда на столе все «покупное», и, развалившись похозяйски на стуле перед кипящим самоваром, самодовольно произносил: «Ну, сноха Авдотья, покажи, как ты умеешь угодить свекру...» Папа был не в отца и такого его своеволия стеснялся. Кстати, «Выкулыч» после смерти первой жены, моей бабушки, женился и от второго брака имел детей. Его дочь Александра со своим сыном тоже приезжала к нам, останавливаясь иногда на несколько дней. Причины появления в городе были уважительными: надо было продать на Канавинском рынке привезенную картошку, соленья, молочные продукты, а однажды поводом для долгого поста у нас в доме явилось устройство подростового мальчика в Горьковское речное училище. Мальчик был длинненький, стройный, спокойный. Мать изо всех сил старалась придать ему перед экзаменом достойный вид: отвела в парикмахерскую, отгладила одежду. Уехав из Горького, я всю эту дальнюю родню из виду совсем потеряла, только однажды узнала от Али, что мальчик тот сделал на избранном поприще удачную карьеру, стал чуть ли не адмиралом. Если действительно есть среди наших адмиралов Якимов, то это тот самый мальчик, уходивший на свой ответственный экзамен из нашего дома.

Деда по маминой линии я не видела, его уже не было в живых, когда я родилась, но по обоюдным воспоминаниям бабушки Марии Алексеевны Гаськовой и мамы я поняла, что до революции он владел каким-то небольшим кожевенным производством, что образованную бабушку выдали за него по причине какой-то тайной ее девичьей провинности. Потом доходили до меня какие-то глухие слухи, что дело было не в ее собственном грехе, а, наоборот, что она сама явилась запретным плодом любви купеческой дочери, сбегавшей с артистом цыганского ансамбля, и, действительно, что-то неуловимо цыганское проглядывало в облике моей бабушки, «бабусеньки», как называла я ее, — и в гибкости фигуры, и вьющихся темных волосах, и живых, выразительных глазах под черными, красиво изогнутыми бровями. С годами в ее лице все отчетливее проступали черты иконописности. Когда смотрю панфиловский фильм «Васса» с главной героиней в исполнении И. Чуриковой, не оставляет меня равнодушной прекрасно сыгранная сцена цыганского разгула в купеческом доме и тот манящий мир цыганской вольности, под впечатляющее воздействие которой попадают купеческие дочери, и почему-то всегда при этом всплывает в памяти образ моей бабушки-бабусеньки. Став женой Алексея Гаськова, о котором никаких впечатлений у меня не сложилось, она родила четырех дочерей и сына, но в этой большой семье среди детей и внуков выглядела чужой, даже посторонней. Она была «другая» — тоньше, цельнее, образованнее своих детей. Революция прочертила

между ними непреодолимую границу: ее дети были больше детьми трудного, противоречивого, во многом «непонятного», как любил выражаться Всеволод Иванов, времени. Никто из них не получил сколько-нибудь значимого образования, зато каждый в полной мере испытал рвущее на части воздействие, с одной стороны, старорежимной семьи, с другой — лозунгов революции.

В этой семье праздновали и Пасху, и Первое мая, Рождество Христово и 7 Ноября, ходили на демонстрации и в церкви, одни были передовиками производства, другие не брезговали спекуляцией на канавинской барахолке. Бабусенька училась в гимназии, знала французский язык, любила читать, а моя мама читала с трудом, по одной книге в год, после прочтения двух-трех страниц аккуратно загибая уголок книги для памяти. Отличала бабусеньку и манера одеваться — верность вкусам и правилам ушедшей жизни она сохранила до конца дней: поношенный, но не потерявший опрятности каракулевый сак, шляпка-ток с вуалеткой, перчатки, аккуратные сапожки с ушками. В войну, чтобы выжить, она держала поросенка и за столовыми отходами с тяжелым ведром тоже ходила в шляпке с вуалеткой. Я, конечно, немножко стеснялась ее старомодного облика; когда она приходила к нам в гости в дом на улице Зеленой, меня до слез доводили уличные дразнилки:

Стара барыня ползет,
 Люське пряничек несет.
 Люська жадная, зараза,
 Укусить не даст ни раза.

Зато когда, переступив порог дома, бабусенька скрывалась с глаз уличных злодеев, радости моей от встречи с ней не было конца. Она одна из самых светлых сторон моей детской жизни. Я с жадностью бросалась «обучать» ее тому, чему только что обучилась сама, восхищаясь ее «обучаемостью», читала ей, заливаясь слезами, «Рождественские рассказы» Диккенса, слушала ее рассказы о старой жизни, где, оказывается, не все было плохо. Мама с трудом оттаскивала меня от дорогой госты: ей тоже из первых уст хотелось узнать о тайнах семейной жизни своих сестер и брата.

Незабываемый след оставил в памяти прием гостей из канавинской Гордевки, т. е. всех живших там маминых сестер с их мужьями и брата с женой. Это было не часто, существовал, по-видимому, какой-то род очередности, и происходило это, как правило, в первомайские дни, когда уже веяло летним теплом. Гости приходили легко и нарядно одетые, а дома — в целях увеличения гостевой площади — двери из комнаты на кухню, в сени и во двор держали нараспашку.

Состав гостей был неизменным: на первый план в моем детском сознании выходила старшая мамина сестра Лидия — высокая, стройная, с продолговатым лицом и ниспадающими на него легко выющимися темными волосами — и ее муж дядя Саша. Он был бухгалтером и одевался как служащий: всегда при галстуке, в начищенных штиблетах и шляпе, фетровой или соломенной, смотря по сезону. Папиросы держал не в пачке, а в серебряном портсигаре с причудливой изумрудной кнопкой. Иногда он позволял мне ею громко щелкнуть.

По возрасту за Лидией следовала Мария. По сравнению с Лидией или моей мамой она во многом проигрывала: была склонна к полноте, с пучком на



затылке и простой гребенкой в волосах, украшениями и косметикой пренебрегала, туфель на каблуках не носила, но она работала то поваром, то буфетчицей в ресторане, и у нее был свой резон чувствовать себя уверенно. Ее муж Георгий когда-то был комиссаром во флоте, после работал в каком-то МОПРе, но с тельняшкой не расстался. Детей у них не было. Марья относилась к нему как к ребенку, с материнской снисходительностью и даже всепрощением. Он выпивал, хорошо пел, играл на баяне и гитаре. В память о своем комиссарстве он хранил сундук с первым изданием полного собрания сочинений В. И. Ленина и много раз, выпив, обещал мне, «когда вырасту», оставить этот сундук с Лениным в наследство. В семье его небрежно звали Горкой, а мне было велено называть дядей Жорой.

За Марьей шла мама, а за ней Клавдия, по-семейному — Клавка. Ох уж эта Клавка! Я так часто слышала от мамы, что это из-за нее ей пришлось бросить школу, что со всей силой детской непосредственности невзлюбила ее. Была она маленькая, подвижная и в отличие от трех старших сестер по характеру легкомысленная и безответственная. В гости к сестре она являлась с мужем Владимиром. Видя их вместе, я болезненно страдала от ощущения жизненной несправедливости. Их вид разрушал мое детское представление о гармоничности мира. Клавкина невзрачность оттеняла богатырскую статью дяди Володи. Как могло случиться, что этот высокий, стройный, белокурый, голубоглазый, белозубый красавец достался ничего не стоящей Клавке, к тому же еще и не хранившей верности своему мужу?! Работал он кузнецом. Когда вспоминаю о нем, встает в памяти непонятное мне тогда слово «молотобоец».

И наконец, дядя Витя, мамин брат, он тоже, как и Лидин дядя Саша, принадлежал к категории служащих, работал в какой-то «конторе», и однажды скорее пренебрежительное, чем одобрительное в его адрес — «конторский служащий» — я услышала от папы. Среднего роста, с округлыми формами довольно ладной фигуры, аккуратно проступающим брюшком и выразительно красивым, несколько цыгановатым лицом, он приковывал мой детский взгляд множеством увлекательных подробностей своего внешнего вида: замысловатой, похожей на вытянутого жука, булавкой на галстук, крупными и яркими запонками, золотым блеском кольца на пальце и зубов во рту, даже непостижимой ровностью пробора на голове. Было что подвергнуть тщательному разглядыванию и во внешности его Катерины, особенно меня привлекала удивительная, в форме какой-то загогулины челка, словно приклеенная к высокому лбу и делавшая ее похожей на картинку с этикетки на баночке из-под крема, неведомо каким образом оказавшейся среди моих игрушек.

Прием гостей был ответственным актом семейной стратегии мамы и папы, требовавшим сосредоточения духовных и материальных средств. Тут-то и проявлялся во всей своей полноте мамин талант к постановке спектакля на сюжет достигнутой зажиточности, ее способность ловко манипулировать факторами бедности и богатства. В день приема гостей наша каждодневная жизнь, строго выстроенная по правилам советского должностования и неукоснительного соблюдения соответствия расходов доходам, трещала по швам. К «своим» следовало повернуться запретной стороной: «умением жить», «оставать» дефицит, выделиться из общего ряда. Не исключалось при этом и тайное желание хозяев вызвать у гостей не только чувство праздничного удо-

вольствия, но и естественной зависти. Правда, это касалось скорее тайных мыслей мамы, чем папы, хотя в подготовке к праздничному приему он принимал активное участие.

Во всю длину раздвигался стол. Накрывался белоснежной льняной скатертью. Из стеклянной горки вынималась парадная посуда: кузнецовский фарфор, хрустальные стопочки, серебряные вилки и чайные ложечки. Совместно с папой накануне готовили студень, мама пекла пирог с капустой и пирожки с разной начинкой — и с мясом, и сладкие плюшки. И откуда что бралось! На столе появлялись разнообразнейшие закуски: сыр, и копченая колбаса, и бутерброды с севрюгой и семгой, даже с икрой. Детская надежда на то, что что-нибудь из этих сказочных яств на столе сохранится к концу праздничного пиршества, никогда не оправдывалась, в лучшем случае приходилось довольствоваться «гостинцем» в виде пряника и леденцового петушка на палочке.

Зато, спрятавшись за угол комода, я в полной мере могла насладиться тем концертом, который давали всюю развеселившиеся гости: слаженно пели хором и «Шумел камыш, деревья гнулись...», и про «Мурку в кожаной тужурке», и про то, как «в степи глухой замерзал ямщик». В этом месте хорошего пения я выдавала свое присутствие за комодом горьким вскриком, что лишь поощряло исполнителей: как и всякие артисты, мои тети и дяди нуждались в зрителе и в восхищении их мастерством. Особенно приветствовались сольные номера. Дуська, т. е. моя мама, пользовалась успехом как исполнительница цыганочки с выходом, у Лидии был богатый репертуар русских и цыганских романсов, но особенный восторг вызывал дуэт Сергея с Катериной, певших и «Ах ты, душечка, красна девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся», и «Ах, зачем эта ночь так была хороша».

Веселая гульба достигала предела, когда брались за «лапти, да лапти, да лапти мои; эх, лапти, да лапти, да лапти мои» — и так без конца, а Горка пускался вприсядку...

Как личности все гости были разные: и по внешности, и по характеру, и по имущественному состоянию, но при этом вся мамина родня являла собой нечто единое и нераздельное, представляя собой ту часть мещанско-обывательской городской среды, которую после революции настойчиво переплавляли на советский лад, но которая прочно хранила память о прошлом времени и через десятилетия оставалась верной своим генетическим корням. В этом смысле показательно выглядело положение папы, его место среди них. С одной стороны, они ощущали свое превосходство перед ним как горожане перед выходцем из деревни, с другой — не могли не испытывать комплекс некой неполноценности перед ним как человеком «из рабочих», представителем силы нового общества...

Все это было до войны. Когда началась война, дядя Саша, дядя Жора и дядя Володя ушли на фронт и домой не вернулись. У папы была бронь, у дяди Вити — больное сердце. Мамины сестры Лидия, Мария и Клавдия доживали жизнь вдовами. Марья была бездетной, Лидина Тамарка как-то незаметно подросла и вступила в самостоятельную жизнь, а «непутевая» Клавка стойчески тянула лямку многодетной матери. С любимой работы в цирке она ушла в более прибыльное дело торговли на канавинском рынке, разросшемся за годы войны до неохватных размеров. Бабусенька, как могла, помогала младшей дочери в

воспитании детей. Из подслушанного ее разговора с мамой я узнала, что Клава была мелким перекупщиком, бравшим на реализацию товар у оптовых перекупщиков сельскохозяйственных продуктов. Ворочая тяжелые мешки с картошкой, луком, морковью, Клавдия скоро надорвалась и, будучи среди сестер младшей, умерла много раньше их.

Одну из девочек, скорее всего «принесенную в подоле», взяла в дом моя мама, родители удочерили ее и воспитывали, как нас с Алей, ни в чем не поступаясь своими педагогическими подходами, но склад характера оказался у Валентины другой и в нашей семье она не прижилась. Училась она с неохотой, читать не любила, зато, словно магнитом, тянула ее к себе улица, влекли дворовые компании, ранняя дружба с мальчиками... Позднее, особенно когда появились собственные дети, я часто думала о ней, задаваясь неразрешимым вопросом о тайнах формирования личности: что же все-таки важнее — природа или воспитание — и каковы истинные связи между педагогической неотступностью и генетической неодолимостью?..

И уже умом много прожившего на свете человека оцениваю по достоинству мудрую дальновидность жизненной стратегии своих родителей, своевременно отпочковавшихся от Канавина, пошедших своим путем и сумевших не противостоят жизненному выбору дочерей, интуитивно почувствовать значение их труда, не создающего никаких материальных ценностей, но от этого не менее необходимого людям. Воспитывая нас, они невидимо, не без влияния с моей и Алиной стороны, воспитывались сами и к концу жизни уже мало соотносились с образом той молодой семейной пары, круг интересов которой не выходил за пределы дворика с козой и курами на улице Карла Радека в поселке им. Володарского.

Мир книг. Профессия

Очень часто внешние атрибуты моего благополучия вроде «богатого» дома и желания выглядеть «комильфо» скорее препятствовали легкости бытия, давая повод обвинить в приверженности к мещанству, буржуазным вкусам, низкопоклонстве перед чужой культурой. Но люди типа Риты Е., иногда встречавшиеся на моем жизненном пути, сначала в институте, позднее в Академгородке, не ошибались. Я действительно от бедности не страдала, я действительно была богатой, только богатство мое было иным, не тем, какое пытались приписать мне.

Ко времени поступления в педагогический институт я была до такой степени беспорядочно и стихийно начитанна, что уже настоятельно нуждалась вобретении какой-нибудь системы. Мой читательский стаж начал отсчет чуть ли не с младенчества. Снимавшие угол студенты, по существу мальчишки, из озорства, на спор обучили меня чтению по крупным буквам на обложках учебников. Едва ли не первым словом, прочитанным самостоятельно, было «геодезия».

- Чево это?
- Ну, коза такая рогатая.
- Страшная?
- Страшнее не бывает...

Коза у нас была своя, Манька, рогатая и бодливая, но по ее настроению мы с ней дружили. Днем мама уводила ее на болото пастись, привязывая к колышку

длинной веревкой. Однажды пошла за ней, но уже поздно вечером вернулась одна, расстроенная, в слезах. Оказывается, Маньку украли цыгане — на мясо! Ничего не поделать, ассоциативный модус памяти проявляется непредсказуемо и неодолимо, уводя в сторону от намеченного плана воспоминаний: вот и сейчас я преодолеваю желание остановить свою память на сложных отношениях с козой Манькой и ее козлятками и с трудом возвращаю ее к детскому чтению. Помню первые книги: «Приключения Травки», «Карлик-нос», «Дед Архип и Ленька», «Серебряные коньки», «Нелло и Патраш». Авторы знать и помнить было не обязательно, проблема авторства не волновала. Судьба героев была жизненной данностью, они существовали искони, а не были плодом чьего-то придумывания. Потом пошли «Овод», «Хижина дяди Тома», «Рождественские рассказы» Диккенса. Запойному чтению способствовало то, что меня с неохотой принимали в дворовые игры: лапту, чижик, калим-бамбу, требовавшие силы, сноровки, ловкости. Я же была маленькая и при этом, выражаясь языком улицы, «жилда», путавшаяся под ногами и мешавшая серьезной игре. К тому же «всезнайка» — и прозвище у меня было обидное: «Вон Петр Великий идет, сейчас что-нибудь расскажет». Обиженная и не принятая в игру, я уходила домой и отдавалась чтению. В школе ухитрялась читать даже на уроках, разглядывая книжный текст в щель между крышкой и наклонной плоскостью парты. Однажды была застигнута за Мопассаном, который проходил по разряду запряженного для детей чтения.

В мои детские годы книга и улица представляли равными в своих возможностях влияния на формирование личности: если тому, что удалось обрести вектор правильного жизненного движения, я во многом обязана книге, чтению, литературно-художественным передачам по радио, исходящим от них духовным ориентирам, то многих из моих сверстников погубила улица военных и послевоенных лет.

Днем меня не всегда в игры принимали, вечером на улице не выпускали родители, что расширению круга чтения способствовало: не дожидаясь соизволения взрослых, я сама себя записала в три библиотеки — и расположенную на одной из улиц поселка, и в школьную, и в большую библиотеку Дома культуры им. Ленина. В старших классах школы за моим чтением внимательно следила учительница литературы, внешностью похожая на Н. В. Гоголя, доверчиво допускавшая меня до своей домашней библиотеки. Книга разными способами предопределяла мой жизненный путь...

Когда сдала экзамены и прошла в пединститут при огромном конкурсе, папа насмешливо заметил: «Пустили козла в огород!» Я красовалась на институтской Доске почета, стала обладательницей именной стипендии, поступила в аспирантуру. Вкус успеха заразителен. Отличные оценки стали на какое-то время и целью учебы, и средством достижения цели... Как говорится, тщеславие — порок, но не худший из пороков.

С поступлением в институт жизнь в основном переместилась в центр Горького, и девчонке с окраины он открылся невиданными богатствами своей истории, культуры, тайнами и соблазнами цивилизации. Здание Горьковского педагогического института располагалось в самом центре города — с видом из окон на площадь Минина с памятником Минину; рядом был древний кремль, рукой подать — центральная Свердловка, бывшая Покровка, по другую сторо-

ну — Нижегородский откос, открывающийся величественной фигурой Чкалова на высочайшем постаменте с картой его фантастических перелетов, от памятника шел спуск по мраморной лестнице, созданной по образцу Потемкинской в Одессе. Летом отсюда открывался такой вид, что захватывало дух. Потрясала Волга своей природной силой во время весеннего ледохода, когда грохот от ломающихся льдин стоял по всему городу, и во время половодья, когда река выходила из берегов. Здесь вечно со своими мольбертами паслись художники, и трудно представить, на каком количестве картин запечатлено это место Нижнего Новгорода.

«Царственно поставленный город... совсем закружил нам головы», — писал о Нижнем Новгороде в «Далеком близком» Репин. Не мог не кружить голов и нам, студентам литфака, в сознании которых его реальные картины жили неотрывно от потока литературных и историко-культурных ассоциаций — от «Вида на Волгу» до «Бурлаков на Волге», а некоторые страницы истории литературы вообще невозможно было отделить от истории города. Концентрация преподаваемых знаний и вновь приобретаемой информации была высокой, и, что говорить, на первых порах это создавало трудности что вчерашним школьникам, что бывалым фронтовикам: отсев после очередных экзаменов между курсами был огромный. И постоянно происходило какое-то негласное соперничество между филфаками педагогического и Горьковского государственного университета им. Лобачевского, студенты которого любили похвалиться превосходством их образования перед нашим, их лекторов перед нашими.

Преподаватель литфака тогда и теперь — разные понятия. Преподаватель был в своем роде оракулом, главным и порой единственным проводником литературоведческой мысли: поверить систему его взглядов было нечем, зато она строго поверялась свыше.

А как глубоко было доверие к слову преподавателя, говорит такой анекдотический случай. Во время каких-нибудь отлучек Э. Е. Либинзона заменял преподаватель по фамилии Вайншток. Мы, привыкшие на «зарубежке» к обстоятельному втолковыванию материала на лекциях Зиновия Ефимовича или к театрально-образному воспроизведению художественных текстов на лекциях Серафима Андреевича Орлова, с разочарованием и плохо скрываемым неудовольствием встречали «заместителя», но на лекции его послушно ходили, и слушали, и записывали. С дисциплиной было строго, посещение лекций было обязательным. Если любимый преподаватель увлекал студенческую аудиторию личностным наполнением учебного курса, то Вайншток свои лекции в подлинном смысле слова читал. Отличаясь близорукостью, он так низко склонялся над текстом, что головы его из-за кафедры было не видно, и в знак не утраченной связи с нами он приветливо помахивал над ней рукой. Читая лекцию о Жан-Жаке Руссо, он с особым нажимом в голосе заявил нам, что, по убеждению великого французского просветителя, «человек по своей природе бобр», и в знак особой смысловой важности лекционного момента даже интенсивнее, чем всегда, помахал нам рукой. Как уловили на слух, так мы все это и записали, не учтя особенностей его произношения, когда «б» звучало неотличимо от «д». Не смея усомниться в словах преподавателя, даже аргументацию подыскали: человек в системе взглядов Руссо подобен бобру, который трудолюбив и склонен к строительству.

Слепое доверие, — а другого тогда и не существовало, — к системе преподавания не могло не обернуться определенными изъянами в полученном образовании и обретенном уровне духовного развития: в учебном курсе не нашлось места Достоевскому, и, к величайшему стыду своему, вчиталась я в его произведения уже на исходе аспирантуры. Заклейменный именем реакционера и мракобеса и гонимый самим Горьким, он выпал не только из широкого круга чтения, но и из контекста профессионального образования.

Меняются времена, меняется картина читательских вкусов. У читательской публики города Горького, в массовом сознании сохранявшего имя Нижнего, были свои пристрастия. И нас, студентов, учили чтить и хранить литературную память города, связанную с именами родившихся и живших здесь писателей В. Даля, П. Мельникова-Печерского, П. Боборыкина, С. Елпатьевского, В. Короленко, не говоря уж о самом Алексее Максимовиче.

Писателей влекла колдовская сила нижегородской истории, не сливающиеся с московской ее черты, ее древняя экзотика и тайны. В непроходимых дебрях хвойных лесов левого притока Волги реки Керженец скрывались со времен патриарха Никона раскольники, давшие общее имя древнему религиозному течению — кержаки. Там и сейчас располагается Керженский заповедник.

Помимо классиков, известных своим интересом к нижегородской истории, были и живые писатели, избравшие ее своей главной темой и ставшие культурным достоянием города. В первую очередь это был Валентин Иванович Костылев, автор известных еще с 30-х годов романов «Питирим» и «Козьма Минин», а в послевоенные годы ставший лауреатом Государственной премии за трилогию «Иван Грозный». Кстати, роман «Питирим» входил в состав нашей домашней библиотеки, хранившейся на полке печной лежанки, и, помню, мама вдумчиво и прилежно читала его, загибая уголок страницы на том месте, где чтение останавлилось.

В мои студенчески-аспирантские годы широко известно было в городе имя местного писателя Николая Кочина, автора долгое время бывших на слуху таких произведений, как «Парни», «Девки», «Кулибин». Кстати, замечательный русский изобретатель, известный предвосхищением многих научных открытий позднего времени, тоже был родом из Нижнего Новгорода: могила его до сих пор сохраняется в одном из городских парков.

Таким библиофатам, как я, как было удержаться от соблазнов внепрограммного чтения, когда речь шла о бестселлерах вроде «Тайны профессора Бураго», а тем более о романах «Поджигатели» и «Заговорщики», принадлежавших перу Николая Шпанова? Кто помнит сегодня этого писателя? Редко попадает оно в литературные словари и справочники, между тем популярность его книг в те годы зашкаливала. Произведения Н. Шпанова выходили многомиллионными тиражами и переиздавались, писатель дважды был отмечен Сталинской премией.

Сейчас многоопытным оком филолога вижу, что художественными достоинствами они не блистали, глубинным виденьем жизни не отличались, зато брали лихо закрученной интригой, сюжетно-композиционной многоплановостью, публицистической остротой и политической злободневностью, и в этом плане мастерство писателя было бесспорным, отчего и спрос на его произведения удерживался долго. Запросам читателя тех лет они отвечали идеей мирового загово-



ра, героизмом наших разведчиков, неусыпной бдительностью советских людей в борьбе с вредителями, шпионами, диверсантами и всякого рода маскирующимися двурушниками.

Но любые крайности опасны. В борьбе за идеологическую чистоту советской литературы преданы были забвению в те мои студенчески-аспирантские годы имена А. Платонова, М. Булгакова, стало забываться имя Вс. Иванова, не знали и не слышали о В. Набокове и только после долгого перерыва удалось прорваться через цензурные препоны роману Леонида Леонова «Русский лес». Я уже второй год работала в Горно-Алтайске, когда в 1957 году роман дошел сюда. Прочитав его, я выступила по местному радио, где уже успела стать своим человеком, в институте провели читательскую конференцию, посвященную роману. И это был мой первый опыт осмысления произведения большого русского писателя, который через многие годы станет главным объектом моих исследовательских штудий. В 1994 году увидела свет леоновская «Пирамида» — роман-наваждение в трех частях, после прочтения которой выйти из творческого мира Леонида Леонова мне уже было не дано. Но об этом позднее...

В аспирантуру к Борису Ивановичу Александрову я пришла со своей темой: хотела заниматься творчеством Д. Н. Мамина-Сибиряка, в вузовскую программу не входившего и вообще находившегося не то чтобы под запретом, но в опале, как сторонник народнических взглядов. Остросюжетные, захватывающие и сложностью интриги, и живописным колоритом далекой Сибири, какой-то стихийно-глубинной силой человеческих типов и характеров, классической пластичностью, чистотой и незамутненностью языка, романы «Приваловские миллионы», «Золото», «Горное гнездо», «Хлеб» и в моем запойном чтении всего подряд не прошли бесследно, но многого, как оказалось, из богатого творческого наследия писателя я не знала — открылась такая заманчивая возможность пройти по литературной целине. И хотя в итоге мои исследовательские отношения с писателем сложились непросто — он не занял в них того места, которое соответствовало бы моей читательской любви к нему, и я так и не написала своей книги о нем, — ощущение непреходящей привлекательности его и для современного читателя и никем не занятого места его в национальной литературе сохраняется до сих пор.

Я работала много и с интересом, не отделяя того, что «для себя», и что для научной работы, и, когда приезжала в Москву, отдавала должное Центральному архиву, но главным местом работы была, конечно, Ленинка, читальный зал № 3. Нравы Ленинской библиотеки тех лет, в течение которых я приезжала сюда уже и из Горно-Алтайска, и из Новосибирска, можно описать не менее эффектно, чем «Нравы Растеряевой улицы», — и, может быть, я это сделаю. Но рядом бурлила столичная жизнь, иногда я срывалась с библиотечной работы и уходила в «запой» культурных соблазнов, поддаваясь обаянию знакомств и дружб, отвечающих моим запросам и увлечениям.

Так же запойно и безоглядно я отдалась освоению культурных богатств Ленинграда, куда приехала за новыми материалами. Петербург был городом, с которым связаны многие страницы жизни Мамина-Сибиряка. Здесь прошли трудные годы его студенчества, сначала учеба в медико-хирургической академии, затем на юридическом факультете университета. Сюда он вернулся в

1891 году из Екатеринбурга уже известным писателем вместе с молодой, горячо любимой женой Марией Морицевной Абрамовой и здесь пережил тяжелую драму потери ее, когда она умерла при родах, оставив дочку, страдающую неизлечимой болезнью — пляской святого Вита. Рядом с ее колыбелью рождались «Аленушкины сказки»...

Все схватить собственным взглядом, пропустить через внутренние ощущения, сделать фактом личного, непосредственного переживания — это становилось во время таких поездок образом жизни. Вообще эти три года «вольноотпущенного» аспирантского бытия предстают как школа самообразования, культурного обогащения, эстетического и духовного восполнения. Возникающие при этом знакомства, всплески дружбы и вспышки любви придали этому периоду особую эмоциональную окрашенность, что-то светлое и теплое, незабываемое.

Воспринятая сторонним взглядом, такая жизнь давала повод заподозрить девушку, поступившую в аспирантуру, в избытке свободного времени, склонности к праздности и легкомыслию. На всякий случай я всего о своих музейно-театрально-туристических отвлечениях ни родителям, ни даже коллегам не рассказывала. С формально-административной точки зрения в моем поведении было много такого, что выглядело как нарушение трудовой дисциплины, растрата учебного времени, пренебрежение строгим планом работы. И даже близкие люди время от времени опасливо спрашивали: «Ты справляешься? Ты успеваешь? И эта книга тебе тоже нужна для работы? А когда встреча с научным руководителем? А что он сказал? А зачем ты опять едешь в Москву?» и т. д.

Однако в Горно-Алтайск приехала не просто городская барышня, юная и хрупкая на вид, но молодой специалист с прочной профессиональной выучкой и системным образованием, вполне готовый к преподавательскому поприщу, который стремился как можно больше взять от сферы культуры, чтобы было что отдать другим, было чем поделиться. Моя благодарность городу, «откуда есть пошла» моя жизненная дорога, беспредельна: я не упускаю случая подчеркнуть свое волжское происхождение, сообщить, непременно дважды ударив по «о», что я «нижегородка», отдать должное той роли, которую он сыграл в «воспитании чувств» и формировании сознания, последовательно поднимая по ступеням филологического образования: школа — институт — аспирантура. Увы, родной город дал мне много больше, чем я могла бы ему отплатить...

(Продолжение следует.)



Константин ВАСИЛЬЕВ

ПО СТОПАМ РОБИНЗОНА КРУЗО, КОТОРЫЙ НЕ ПРИМЕТИЛ В СИБИРИ СЛОНА И ПИЛ ВОДУ, РАЗБАВЛЕННУЮ ВОДКОЙ

В конце своих десятилетних странствий по южным морям и азиатским странам Робинзон Крузо побывал, по воле Даниэля Дефо, в России, при этом его путь пролегал в основном через Сибирь. Примкнув к купеческому каравану, английский искатель приключений возвращался из Цинской империи на родину по суше. Караван делал остановку в приграничном китайском городе Научунг, затем они переправились через реку Аргунь, и знакомство Робинзона с русской землей и ее обычаями началось с поселения Аргунь. Путники провели три дня в Нерчинске, у них была ночевка около деревушки Плоты. Ожидалось нападение со стороны местных *татар*, как называет их Дефо, жаждущих отомстить за своего Чам-чи-таунгю — идола, Робинзоном Крузо сожженного, поэтому купцы стремились как можно скорее добраться до Туруханска с его сильным гарнизоном. Мстительные *татары* шли по пятам, и один казак из конвоя направил преследователей по ложному следу, сообщив им, что караван якобы свернул в Иллукуст. Переход от Туруханска до Енисейска занял у Робинзона и его спутников тринадцать дней...

Здесь меня остановят знатоки сибирской истории и географии или прервут любители английской литературы, читавшие о *дальнейших* приключениях

Робинзона Крузо: про какой Научунг вы нам рассказываете? Даниэль Дефо, повествуя о походе Робинзона от Аргуни до Архангельска, сообщает о китайском городе Ном к югу от русской границы. А по Российской империи караван двигался от Нерчинска на запад до Удинского острога, который стал позже Верхнеудинском и теперь называется Улан-Удэ, тогда как Туруханск, расположенный много севернее, в романе совсем не упомянут. И нет у Дефо никакого Иллукуста! Вообще, историю с Робинзоном Крузо в Сибири уже не раз исследовали и весь его путь проследили: «Караван движется по степям и лесам до Нерчинска, переправляется через огромное Чекс-озеро (Schaks-oser) и достигает Енисейска на реке Енисей (Janesay), затем попадает в Тобольск...»

В русском издании «Робинзона Крузо», во второй части произведения, я собственными глазами видел *Туруханск* и *Иллукуст*, я же их не придумал, а вот озеро... Нет, *огромное Чекс-озеро* там не упоминалось.

Может быть, под этим названием скрывается Байкал? Ведь только его можно считать огромным сибирским озером, и все тогдашние караваны и посольства, следующие в Китай и обратно, через него переправлялись...

Первые иностранные путешественники в своих описаниях Сибири, как и

картографы тех времен, удивительным образом коверкали русские названия и, бывало, вообще путались с определением географического положения — как своего, так и увиденных ими мест. Например, Исбрант Идес, ходивший в 1692—1695 гг. по заданию их царских величеств на переговоры с китайским императором Канси, упоминает среди прочих населенных пунктов *Stad Jekutskoi*. Якутск! — напрашивается догадка. Нет, Якутск лежал далеко в стороне от маршрута: голландец Идес под таким именованием знакомит нас с Иркутским острогом. Почему я так уверен? Потому что автор тут же приводит справку: оный *град Йекутской* стоит на реке Ангаре: «*Deeze Stad legt aan den vloed Angara*».

Со славным Байкалом, однако, у Идеса путаницы нет, разве что имеется небольшая, в одну букву, разница в написании, и в целом Идес перенял у русских привычку называть означенный водоем

то озером: *meir Baikol*, то морем: *Baikal zee*. Другой голландец, Николас Витсен, в конце XVII века составил подробное описание северо-восточной *Тартарии* (*Noord en Oost Tartarije*), то есть северо-восточной Евразии, и у нас нет сомнений, что Витсен имеет в виду именно и только Байкал, когда он пишет *Baykal*, *Baikal* или *Baikalsche Meir*, и на французском издании его карты мы читаем *Baycal Lac*.

На этой же карте к юго-востоку от Байкала отмечен населенный пункт *Nere-sinskoj*, и опять не нужно долго ломать голову, чтобы догадаться: это Нерчинский (острог). В другом месте Витсен пишет *Kasteel Nertsinskoj*, что мы сразу понимаем как *Нерчинская крепость*.

Так что *Байкал* никоим образом не мог переименоваться в *Чекс-озеро*. Вообще, в первоисточнике по-английски было напечатано *Schacks Oser*, и нужно обладать определенной неграмотностью, чтобы передать его по-русски как *Чекс*.

Перепроверка

Когда возникают сомнения в достоверности тех или иных свидетельских показаний, их полагается перепроверить, начиная не с чужих, а с собственных знаний и утверждений. Я заново беру в руки «Жизнь и приключения Робинсона Крузо», петербургское издание 1904 г. — *полный перевод*, как заявлено на титульном листе, выполненный В. Д. Владимировым, и, обратившись к заключительным главам второго тома, проверяю текст с того места, где Робинсон (а не привычный нам *Робинзон*) приближается со стороны Пекина к рубежам Российской империи. Все верно: караван прибыл в *Научунг*, который, собственно, крепость, а не город. Далее, уже на русской земле, *поселение Аргунь*. Три дня в *Нерчинске*. Дефо описывает красочно и неодобрительно деревянного идола местных *язычников*, затем столь же красочно и теперь с одобрением рассказывает, как доблестный

Робинсон, воинствующий христианин, уверенный в превосходстве своей веры, уничтожает изваяние *Чам-чи-таунгу*, из-за чего *татары* бросаются в погоню за караваном. Сообщается об отдыхе около *бедной сибирской деревушки Плоты...* Как ни странно, *огромное озеро* никакого названия у Владимирова не имеет. В тексте, кстати, неясно сказано о его размерах: «Мы находились на берегу *небольшого озера...* <...> Показалось множество всадников. Однако озеро было *настолько велико*, что издали было трудно догадаться, куда мы направляемся».

Преследуемые *татарами*, путники мечтают поскорее добраться... Да, им не терпится попасть в *Туруханск*, где можно *рассчитывать на помощь*. Русский казак отправляется к преследователям, чтобы, прикинувшись татаринком, направить их по ложному следу: «Я их сейчас спроважу в *Илукст*, всех этих поганых

нехристей». Караван прибывает благополучно в Туруханск, оттуда они следуют в Енисейск, потом в Тобольск, где Робинсон *близко сошелся с одним из опальных вельмож, князем Голицыным...*

В предисловии мы обнаруживаем признание переводчика: «За исключением кое-каких длиннот, которые мы сочли нужным не выкинуть, но сократить, передавая в более сжатой форме содержание, этот перевод может считаться полным. Во второй части сделаны кое-какие поправки, в тех главах, которые касаются России. В общем это мелочи, несколько не меняющие характера английского оригинала».

Досадно: В. Д. Владимиров (он же Вольфсон) позволил себе *кое-какие по-*

правки именно в той части произведения, которую мы исследуем! Если он оставил без перевода *Schacks Oser*, возможно, он *поправил*, а лучше сказать *переправил*, какое-то название в английском оригинале на *Туруханск?*

Все ясно! — скажут мне: вы не то читали. Нужно знакомиться с «Робинзоном Крузо» не по *более сжатому* изложению какого-то дореволюционного Владиминова, а работать с широко известным и всеми признанным переводом Э. Н. Журавской, а иначе мы в своих рассуждениях по поводу Робинзона Крузо в Сибири будем блуждать по ложному следу, как те *язычники*, которых хитрый казак *спровадил* в некий *Иллуkst*, ни на одной карте не обозначенный.

Перевод как разновидность эха, Ливерпуль и Манчестер как пример разного написания одного и того же названия

Когда я учился английской филологии, в одном из кабинетов на стене красовалось высказывание английского писателя Джорджа Борроу: «Translation is at best an echo». Мне крепко запало в память: *перевод — в лучшем случае эхо*. Я также вспоминаю шутку об английском правописании, которое подчас сильно не совпадает с произношением: мол, англичане пишут *Ливерпуль*, но читать следует *Манчестер*.

Кстати, упомянутый Джордж Борроу (1803—1881), способный к иностранным языкам, приехал в 1833 г. в Петербург и пробыл два года в России, наблюдая по заданию Британского Библейского общества за переводом Библии на маньчжурский — на язык тех самых *татар*, с которыми столкнулся Робинзон Крузо в Забайкалье. Если Даниэль Дефо, негодуя на *язычников*, послал своего героя разорить их капище, Джордж Борроу, как агент Библейского общества, уповал на убеждение с помощью Священного Писания...

По совету критиков я откладываю в сторону *полный перевод* В. Д. Владимиров и берусь за *классического* «Робинзона Крузо», полюбившегося русской читающей публике.

Перевод Э. Н. Журавской, между прочим, был выполнен тоже до революции. Мы смотрим теперь «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» в том виде, в каком роман вышел в 1902 г. в петербургском издательстве «Народная польза»: первую часть о долгом пребывании Робинзона на необитаемом острове перевела М. А. Шишмарева, вторую часть — Э. Н. Журавская. Я даже приведу выдержку из хвалебной статьи, ей посвященной, в одном литературном справочнике: «Зинаида Николаевна Журавская (1867—1937), переводчица, писательница... *Королевой русских переводчиков* называли Журавскую в редакциях журналов и издательствах. <...> Едва ли найдется крупный европейский писатель, которого Журавская оставила бы без внимания. Диккенс, Бичер-Стоу,

Марк Твен, Даниель Дефо, а также отдельные произведения Э. Золя... Г. Уэллса... И. В. Гете... и многих других... Трудно найти в России переводчика, в чьем наследстве качество перевода совпадало бы с предельной интенсивностью труда...»

По тексту прославленной переводчицы мы следим, как караван, двигаясь с юга, прибывает в китайский город *Наум*, или *Наумн*... Как напечатано, так я и воспроизвожу. Тринадцатого апреля *добрались до границы московских владений*. Робинзон видит в деревне близ Нерчинска *бесформенное деревянное чудище* и, вознегодовав, сжигает *великого Шам-Ши-Тонга*. Странно: у Владимиров опасное предприятие расписано на нескольких страницах, у Журавской оно уместилось в один абзац.

Путники *сделали привал в деревне Плотус*, отсюда *поспешили к Яравене*, и на второй день *перехода через пустыню*... В Забайкалье есть пустыни? Ладно, следуем дальше: один *яравенский казак* вызвался направить преследователей в *другую сторону к Сибейлке*.

Деревня Плотус в переводе Владимиров а именовалась *Плоты*. Населенный пункт, который он назвал *Туруханском*, видимо, соответствует здесь *Яравене*. А *Сибейлка* — не иначе как *Илукст*... Как не вспомнить шутку про английскую орфографию! Оба переводчика знакомят нас с одной и той же книгой, но у одного, так сказать, Ливерпули, у другого Манчестеры.

Я издеваюсь? Нет, я прилежно изучаю предложенный мне *классический* перевод «Робинзона Крузо», при этом учитываю с пониманием, что «перевод — в лучшем случае эхо». Из *Яравены* по

ужасной пустыне, которая у Владимиров а была *обширной степью*, путники следуют до другой, *густонаселенной области*. Какая-то часть Сибири была уже густонаселенной? И вот караван *прибыл в Тобольск*... А где Удинский острог? Где Енисей и Обь, в романе Дефо упоминаемые? В Тобольске, куда *ссылают из Московии всех государственных преступников*, Робинзон предложил *одному ссыльному князю, опальному царскому министру*, ехать с ним. *Ссылный князь*, которого Владимиров а называл *Голыцыным*, у Журавской имени не имеет. Далее признанная *королева перевода*, не оставившая без внимания известнейших иностранных писателей, выбрасывает последние похождения Робинзона в России, быстро перемещает его в Архангельск и оттуда отправляет на родину, — сообщив прилежно дату: Робинзон Крузо вернулся в Лондон 10 января 1705 г.

Издательство «Народная польза», выпуская в 1902 г. «Робинзона» в серии «Домашняя библиотека», расхваливало ее труд: «Предприняв издание полного перевода “Робинзона Крузе”, известного у нас до сих пор лишь в переделанном, сокращенном и искаженном виде...» Лично я вижу, что перевод Владимиров а куда полнее. И мне вспомнилось также издание 1843 г.: жизнь Робинзона Крузо на необитаемом острове и его дальнейшие приключения, без видимых сокращений переведенные П. А. Корсаковым, вышли тогда в двух увесистых томах. Я не знаю: может быть, Журавская, трудясь с *предельной интенсивностью*, другим авторам, в том числе Диккенсу и Гете, обеспечила настоящее *качество перевода*, и только «Робинзона Крузо» она по какой-то причине обкорнала и ужала?

Ложно-академическое издание

Для обоснованных суждений о каком-либо произведении нужно знакомиться с ним в оригинале. Если такой возможно-

сти нет, читая *полные, непеределанные, неискаженные* русские издания, предлагаемые книгопродавцами, не стоит преда-

ваться серьезным литературоведческим, историческим или географическим рассуждениям, ибо Ливерпуль у какого-нибудь короля перевода будет Манчестером в переводе какой-нибудь королевы...

Бдительные читатели отсылали меня, конечно, не к дореволюционному, а к советскому изданию «Робинзона Крузо», и теперь я принимаюсь за него, с титульного листа начиная проникаться уважением к добротной напечатанной книге: издательство «Academia», серия «Сокровища мировой литературы», в предисловии Р. Арский извещает, что «широко известен не подлинник этой книги, а по преимуществу обработки и популярные извлечения из нее тех мест, которые представляют наибольший интерес для широких читателей. Настоящее издание является переводом с английского подлинника этой замечательной истории...»

Переводчиками значатся те же: первую часть перевела Шишмарева, вторую — Журавская, чьи литературные усилия лично мне показались именно популярным извлечением из замечательной истории, написанной Даниэлем Дефо, — извлечением тех мест, которые будут интересны широким читателям. Но нужно быть справедливым: заключительные главы в издании 1929 г. значительно длиннее, чем в полном переводе, напечатанном в 1902 г. для народной пользы. Текст и переработан! Раньше китайский город назывался *Наум*, или *Наумн*, теперь *Ном*, или *Нон*. Теперь упоминается селение *Аргунское* и река *Аргунь*. Идол переименован из *Шам-Ши-Тонга* в *Чам-Чи-Тонгу*... Однако история с его сожжением по-прежнему кратко пересказана в одном абзаце. Путники сделали привал в деревне *Плоты*, а не в *Плотусе*, и смысленный *яравенский казак* направляет преследователей теперь не к *Сибсилке*, а к *Шилке*. После *Яравны* в новом варианте перевода мы читаем про Удинск, губернатор которого предложил путникам конвой в пятьдесят

человек до ближайшей станции. Сибирскими острогами управляли губернаторы? Или все-таки приказчики? А ближайшей станцией, видимо, нужно считать Енисейск, но, понятно, станцией не железнодорожной... Пойдите, а озеро? У Журавской второй раз ничего не сказано о загадочном *Чекс-озере*, около которого деревушка то ли *Плоты*, то ли *Плотус*, которое следует понимать то ли как *Байкал*, то ли не как *Байкал*.

В издании 1929 г. строк и страниц стало значительно больше: и река Обь упоминается, и сибирский климат описывается, и безымянный *опальный министр* назван теперь *знаменитым князем Голицыным*, но — остались пропуски, упрощения, искажения и нелепости, как этот губернатор острога и эти ужасные пустыни... Кто дополнил и переработал дореволюционный перевод Журавской? То ли сама Журавская успела до отбытия из Советского Союза, то ли кого-то другого подключили?

Взявшись за «Сокровища мировой литературы», издательство «Academia» доверило сказать вступительное слово о знаменитом романе Дефо Р. Арскому, подвизавшемуся в те годы то на партийной, то на хозяйственной работе, чьи литературные способности понятны по высказыванию из его собственных писаний: «Рабочим... в Англии, Франции и других — не очень уж нравится власть богачей. Они хотели бы ее свергнуть. <...> Это все зарез для богачей». Позаимствовав, скорее всего, чужую мысль и повторяя чьи-то слова, Арский поведал читателям, что Робинзон Крузо — *типичный представитель английских завоевателей и путешественников, рыскавших по свету*, и обратите внимание на его следующие неожиданные пояснения: «Робинзон Крузо все же выгодно отличается от других таких же авантюристов своей религиозной терпимостью и гуманными взглядами...» Видимо, исходя из этой *терпимости*, Робинзон набрасывается

на деревянное изваяние, которому поклонялись забайкальские идолопоклонники? Вспомним его признание: «Сознаюсь, я был поражен как никогда этой глупостью и этим скотским поклонением деревянному чудищу. Я подъехал к этому идолу, или чудищу... и саблей рассек надвое его шапку, как раз посередине, так что она свалилась и повисла на одном из рогов...»

При желании можно выписать из более полного издания 1843 г. следующие *гуманные* рассуждения английского героя, то есть самого Даниэля Дефо, о верованиях китайцев, *мунгалов* и *татар*: *язычники закоснелые и бессмысленные; народ, коснеющий в грубейших заблуждениях, обожает дьявола, поклоняется дереву и камням, чудовищам, стихиям, животным ужасного вида, уродливым статуям и изображениям...* Похоже, Р. Арский, оторванный от писательства о борьбе рабочего класса против *богачей*, быстро сработал для издательства предисловие, даже не удосужившись почитать «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо».

Вроде как научное объяснение

Книгоиздатель хвалит выпускаемую книгу, даже никчемную, и редактор выскажется одобрительно о переводе, который он готовил к печати, пусть даже это корявые выжимки из оригинала. Хорошо бы услышать мнение человека, который изучил вьедливо текст... Только что упомянутый А. Франковский в своем предисловии дал нам подсказку: «Вопросу об источниках Дефо при описании Сибири посвящена статья М. П. Алексеева “Сибирь в романе Дефо”, помещенная в Литературно-Краеведческом сборнике (Иркутск, 1928)».

Что ж, название статьи и имя автора обнадеживают: Михаил Павлович Алексеев (1896—1981), доктор филологических наук и даже академик АН СССР,

Арский замечает, что перевод Журавской сделан с *английского подлинника*. А могут быть иные варианты? Как ни странно, могут. В девятнадцатом веке в России выходил «Робинзон», где в основе не английский, а немецкий текст. Сейчас, прочитав название китайского города *Ном*, или *Нон*, я усомнился: не французский ли текст привлекли, готовя в 1929 г. *академическое* издание на основе тех выжимок, которые произвела для *народной пользы и широких читателей* Журавская? Только по-французски *Naup* можно прочитать как *Нон*.

Редактор означенной *полной* версии А. Франковский, однако, признался: «В переводе произведены некоторые сокращения, очень небольшие в первой части и более значительные во второй». Он считал, что «современных читателей можно избавить от утомительных повторов». Ладно, если Даниэль Дефо четыре раза повторяет *Сибейлка*, а у них в *академическом* издании вместо *Сибейлки* два раза напечатана *Шилка*, это еще куда ни шло, но почему *Schacks Oser* выбросили из произведения?

исследовал русскую и западноевропейскую литературу не где-то на задворках, а в славном Пушкинском доме на берегах Невы, но в данном случае нам с нашими скромными разысканиями важнее то, что Алексеев с 1927 по 1933 г., до переезда в Ленинград, преподавал в Иркутском университете, то есть он имел возможность не издали, а, так сказать, на месте осуществить *привязку* названий из романа «Робинзон Крузо» к сибирским местам и селениям, связать литературный вымысел с действительными историческими событиями, объяснить неясные места, к которым относится уже несколько раз упомянутое здесь *Чекс-озеро*.

В означенной публикации, не отвлекаясь на общие рассуждения Алексеева

об особенностях Даниэля Дефо как беллетриста, мы сразу отправляемся на китайско-русские рубежи. Находим нужное место: «...Снаряжен и нагружен караван, и вот Робинзон, имея в числе спутников шотландского купца, 13 апреля 1690 года находится на границе московского государства...» В переводах Владимирова и Журавской называлось только число и месяц. А как в первоисточнике? Делаю выписку из первого английского издания «Робинзона Крузо» 1719 г. — намеренно сохраняя курсив, используемый в те времена по не совсем понятным правилам: «on the 13th of April we came to the Frontiers of the *Muscovite Dominions*». Видимо, Алексеев как-то высчитал по календарю и привел для нас точную дату? Правда, мы только что читали по-русски: Робинзон Крузо вернулся в Лондон 10 января 1705 г. — *после отсутствия из Англии, продолжавшегося десять лет и девять месяцев*. Сверяем с английским текстом: «I arrived in *London* the 10th of *January*, 1705, having been gone from *England* ten Years and nine Months». Если произвести вычитание, хоть по-русски, хоть по-английски, ибо арифметика одинакова во всех странах и во все эпохи, в 1690 г. Робинзон Крузо находится на китайско-русской границе никак не мог!

Автор статьи сообщает, что путники переправляются через *огромное Чэкс-озеро (Schaks-oser)*... Следует, видимо, так понимать, что это и есть подлинное название реального сибирского озера, его установил для нас литературовед, в ту пору иркутский, М. П. Алексеев? В оригинале, правда, купцы через озеро не переплывали, они обогнули его с юга: «*we took the South Side*». Еще через два дня они, как пишет Алексеев, «отдохнув в деревне *Plotus (Plotbus?)*, через реку *Удду (Udda)*...» Не знаю, как вы, а я спотыкаюсь и мысленно переспрашиваю: а по-русски — в какой же забайкальской деревне *отдыхал* Робинзон? И название

реки *Уды* имело написание *Удда* в начале XVIII в., при Дефо, или в 20-х гг. XX в., при Алексееве?

А вот это верное замечание: «Скорее всего, у него в запасе не было ни достаточных географических познаний, ни даже просто удовлетворительной карты...» Это кто о ком? Это Алексеев о Дефо. Вы же не подумали, что я делаю выпад против него, доктора филологических наук?..

Перейдем к зимовке Робинзона в Тобольске, где, по статье Алексеева, «проживали московские дворяне, князья, полковники и благородные разночинцы. Я нашел здесь знаменитого Князя Головкина с сыном, старого генерала Робостинского, многих других замечательных особ и дам». *Благородные разночинцы* — любопытное словосочетание, вы не находите? Мы помним: Владимирова и Журавская (в своем *переработанном* переводе от «Академии») величали знаменитого князя Голицыным. Очень странно. Самто Даниэль Дефо кого имел в виду, как у него написано? Проверяю: у Дефо *the famous Prince Galliczen*. Мне думается, больше на *Голицына* похоже, нежели на *Головкина*.

На это указывал и А. Франковский: «Отметим одну содержащуюся там неточность. В Тобольске Дефо ведет беседы с ссыльным русским князем. М. Алексеев полагает, будто Дефо говорит о Головкине и будто бы во французских переводах этот Головкин перекрещен в Голицына. На самом деле у Дефо в первом издании написано: *here was the famous Prince Galliczen*; едва ли можно прочесть эту фамилию как Головкин; скорее Голицын».

Судя по приведенным высказываниям М. П. Алексеева, он не заглядывал в английский оригинал. Он строил свои объяснения о *Сибири в романе Дефо*... по переводу П. А. Корсакова, напечатанному в 1843 г.! Это корсаковское выражение — *благородные разночинцы*. Это у него князь *Головкин*... Впро-

чем, в статье Алексева есть кое-какие собственные открытия: у Корсакова пресловутое *огромное озеро* фигурирует все-таки как *Шакс-озер*, тогда как Алексей именует его *Чэкс-озером*. Может быть, нам снарядить историко-гео-

графическо-лингвистическую экспедицию в Забайкалье? А то как-то неловко: о приключениях Робинзона Крузо в Сибири написано в 1719 г., а мы до сих пор не можем определить, что это за водоем.

Корсаков — литератор, цензор, знаток голландской поэзии

Петр Александрович Корсаков (1790—1844) издавал в Петербурге журналы «Северный наблюдатель» и «Маяк», в коих больше других печатал самого себя со стихами и прозой. Три года он провел в Голландии, после чего делал переводы с голландского — мы берем на заметку этот факт. С 1835 г. он служил в цензуре, в связи с чем мы извлекаем из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона следующее свидетельство: «...У него была слабость украшать рукописи своими вставками». Имеются в виду рукописи, которые цензор Корсаков просматривал. В его переводе «Робинзона Крузо» мы тоже обнаруживаем *вставки* — слова и предложения, которых нет в оригинале. Кроме этого, Корсаков позволял себе придирается к переводимому произведению и к его автору, ставя иронически прямо в тексте вопросительные знаки, высмеивая в сносках его незнание России, — забывая или не принимая во внимание, что перед ним литературный вымысел, а не пособие по российской географии.

Дело переводчика — переводить, принимая как должное все особенности оригинала, включая самые спорные высказывания и необычные стилистические выверты, а Корсаков, посмотрите, в каком виде подает произведение Даниэля Дефо: «город Нерчинск (Nortzinskoy)» — зачем-то он повторяет английское написание, тем более неверное; «мы отдохнули в деревне Плотус (Plothus) (?)»,

но и тут не на долго остановились, желая скорее достигнуть до Яравены (?) (Jarawena), другой колонии Царя Московского». Вот и про наше озеро: «из деревни Плотус шли... мимо большого озера, которое называлось Шакс-озер (?) (Schaks-oser)». Уже знакомый нам *хитрый казак* является с обещанием направить преследователей по ложному следу: «Всю эту сволочь отправлю я за Сибейльку: — это был город к югу, позади нас». К названию *Сибейлька* имеется сноска Корсакова: «Sibeilka другой необычный город».

Простите, все это смахивает на заготовку для чистового перевода — после того как будет найден ответ к каждому вопросительному знаку. Потом, если Дефо написал *Colony*, в русском переводе применительно к Сибири должно быть не *колония*, а *поселение, поселок*... Не обессудьте, я уже впадаю в раздражение: у Дефо напечатано не *Schaks*, а *Schacks*. Что важнее, Корсаков и после него Журавская ввели в обиход *Сибейльку* и *Сибейлку*, и теперь написанное их пером не вырубешь топором; географы и краеведы с литературоведами высказывают догадки по поводу *Сибейлки* и выискивают по карте, где она могла находиться, — тщетно, потому что их ввели в заблуждение, ибо у Дефо в этом предложении и еще в трех местах значится *Сихейлка*: «*Siheilka, this was a City, four or five Days Journey at least to the South, and rather behind us*».

Сибирские названия в голландско-французско-английском написании

Так мимо какого озера проследовал Робинзон Крузо? Сочинитель Дефо упоминает не особо значимые места, среди них, возможно, и *небывалые*, как выразился Корсаков, но у него ни слова о Байкале. В этом случае Дефо — как тот *любопытный* в басне Крылова: побывал в Кунсткамере, перечисляет увиденных букашек и таракашек, а слона-то он и не приметил!

Призовем на помощь Николая Спафария (1636—1708): он подробнейшим образом описал свой путь в 1675 г. через Царство Сибирское в Китай, и давайте прочитаем в его заметки о Забайкалье, стараясь отыскать следы *Чекс-озера*, *Плотуса*, *Сибейлки*... От *Байкальского моря* посольство во главе со Спафарием двигалось до Селенгинского острога. Они *ночевали на устье реки Уды*. Шли по той же реке *Уде*... Теперь слушайте: «Приехали к Еравинским озерам и ночевали подле озера Еравна, не доезжая до острога за 8 верст; а выше Еравни озера версты с 4 озеро великое Икер; а около Еравни озера два озера великия, и будут те озера кругом верст по 20 и больше, и рыбы в них щуки и иныя всякия есть много же, а называют их Еравинскими одно большим, а другое средним, третье меньшим... приехали в новой острог на Еравню... острог Еравинской недавно построен... стоит острог меж лесу и озер в крепком месте... А от острогу Еравни ходу день до Иргенскаго острогу...»

Еравинский острог в крепком месте и есть *Яравена*, которая фигурирует в текстах Корсакова и Журавской (переделанная Владимировым в *Туруханск*). Но переводчики должны были не перекладывать русскими буквами *Jarawena*, увиденное у иностранца Дефо, а отыскать, прибегнув хотя бы к запискам того же Спафария, и привести русское название: *Еравня* или *Еравинский острог*. Встре-

тив в английском произведении *Moscow* или во французском *Moscou*, мы ведь скажем по-русски *Москва*, а не *Москою* и *Моску*, или я чего-то не понимаю?

Что, если одно из *Еравинских озер* и есть *Шакс-озер*, оно же *Чэкс-озеро*?

Отряд Спафария приходит в острог *Теленбинский*, который *стоит подле озера Теленбы*. Если я не ошибаюсь, там теперь Телемба — село в современном Еравнинском районе Бурятии. Они *приехали на реку небольшую Читу*. Деревня *Плотус* не встречается пока. Спафарий перечисляет забайкальские реки: «...Ехали подле реки Ингоды степными местами и лугами и стояли на острове реки Шилки... река Ингода... река Онон... две реки сошлись вместе и на уст тех рек был острожок Шилской...»

Корсаков уверенно отрицал существование *Сибейлки*, и мы согласимся: *Сибейлка* — точно выдумка, явившаяся по его же вине. Посмотрите: нет ли буквенной схожести и созвучия между *Шилским* острожком и городом *Сихеилкой*, как его именует английский сочинитель Даниэль Дефо? Вам так не кажется? Рассуждаю дальше: на карте Николаса Витсена, составленной в 1687 г., указана *Schilka*, в другом написании она *Schienka*. Сочетание *sch* использовалось Витсеном и другими иностранными картографами и путешественниками, в том числе французскими, для передачи русских *ш* и *щ*. Приведу для примера *Schisch* — это не что иное, как *Шииш*, приток Иртыша. Буквами *sch* иногда передавали русские *ч* и *щ*: например, *Читинский* острог встречается в написании *Schitinskoi*, а название *Gorbischa* следует понимать как река *Горбища* (приток Амура).

«Робинзон Крузо» в переводе Журавской был переиздан в 1935 г. в «Академии» уже с новым предисловием от более известной личности, Д. П. Мирского

(1890—1939), чьи суждения, впрочем, мало отличались от взглядов предыдущего знатока английской словесности: «Советский подросток может даже более по-взрослому подойти к Робинзону, чем буржуазный профессор литературы... Единственный наследник того, что было бодрого и здорового в Робинзоне, — строящий социализм пролетариат...»

Не знаю, по каким соображениям в «Академии» заменили *Сибейлку* на *Шилку*, а мои рассуждения таковы: Даниэль Дефо, заимствуя из чьих-либо географических описаний сибирские названия, сделал ошибку или же наборщик перепутал литеры, и в его книге вместо *Scheilka* появилась *Siheilka*. В печати, как я говорил, названия выделялись в те времена курсивом. Курсивная *h* имела на

своей малой ножке закругленный хвостик, что делало ее похожей на курсивное *b*. При тогдашних грубовато отлитых литерах и густой краске эту *h* действительно можно было принять за *b*, и при переиздании «Дальнейших приключений Робинзона Крузо» в Англии и Америке, не разобравшись, стали в новых наборах вместо *Siheilka* печатать *Sibeilka*, откуда в русские переводы и попали *Сибейлька* и *Сибейлка*.

Яравена в книге Дефо — это *Еравня*, это *Еравинский*, или, я бы сказал теперь, *Еравнинский* острог. Вместо *Сибейлки* в русских переводах следует печатать *Шилка*; поскольку Дефо говорит о городе, не о реке, лучше будет *Шилкинский острог*. А остальные упомянутые им сибирские названия?

Читинский острог, он же Плотбище, но не Плотбус, Плотус или Плоты

Переводчик Корсаков отрицал существование не только *Сибейлки*, он язвит в своем примечании по поводу *Науна*: «Напрасно любопытные этнографы стали бы искать сего города на карте: он из одной семьи с великим градом Антоном, о котором говорится в именной сказке о Бове Королевиче». То бишь не знал географии Даниэль Дефо! Но если бы Корсаков, вместо того чтобы иронизировать, обратился бы к «Статейному списку посольства Николая Спафария в Цинскую империю», он нашел бы там с десяток упоминаний о *науnskих воеводах* и *науnskих селах*.

Исбрант Идес, ставший на русской службе Елизарием Елизарьевичем Избрантом (1657—1708), в своих «Записках о русском посольстве в Китай» тоже упоминает *науnskие села*: «Из Нерчинского поехали... пришли на китайскую границу, и Елизарей послал... в науnskие села к воеводе... о приезде своем сказать по наказу». Корсаков, щеголявший знанием голландского языка, должен был

обратиться к оригиналу означенных записок: в амстердамском издании «*Driejaarige Reize naar China*» (1704) присутствуют *vloed Naun* — река Наун и *stad Naunkoton* — город Наункотон. Адам Брант (ок. 1660—1746), бывший секретарем при Идесе, тоже не сомневался в существовании города, через который посольство проследовало: *la ville Naun* читаем мы во французском переводе его записок, изданных в Амстердаме в 1699 г.

Исследователи, в том числе М. П. Алексеев, вполне уверенно называли путевые записки Исбранта Идеса главным источником для Даниэля Дефо. По ходу дела определим, так ли это. Робинзон называет реку Аргунь: *River Argun, River Arguna*. На ней крепость Аргунь: *Fortress Argun*. Сравните: у Идеса *vloed Argun* или *Argunstroom* (река Аргунь), но он именует русский острог *vesting Argunskoi* (Аргунская крепость).

В «Дальнейших приключениях Робинзона Крузо» река Амур представлена в необычном написании *Yamour, or Gam-*

tour. По-голландски Исбрант Идес, однако, писал *Amur* и *Amurstroom*.

Даниэль Дефо пишет *Nertsinskoy*, тогда как Нерчинск в записках Идеса именуется в большинстве случаев *Nertzinskoi*.

Название деревни *Плотус* или *Плоты* — переложение английского *Plothus*. А что у Исбранта Идеса, есть ли у него такой населенный пункт? Напомню, что Идес, как и Спафарий, двигался со стороны Байкала. На его пути *Stad Udinskoi* — город Удинский, Удинский острог. Вот *Udastrum* (река Уда), тогда как Дефо написал *Udda*. Вот *Vesting Jarauna*, он же *Slot Jarauna* — крепость Яравна, которую мы уже определили как Еравня, Еравинский острог, но в романе Дефо иное написание — *Jarawena*. Мы не обнаруживаем сходства, и лично я не стал бы утверждать, что Даниэль Дефо использовал при написании своего романа путевые записки Исбранта Идеса.

Голландец, кстати, упоминает Читинский острог, которого во времена Спафария, похоже, еще не существовало. Смотрите, из Еравни, как сообщает Идес, две дороги ведут в Читинскую (крепость): «Van daar loopen twee wegen naar Zitinskoi of Platbisch». Любопытно, что он приводит два названия означенного поселения, второе — *Платбище*. Ниже в его тексте селение именуется *Плотбищем*: туда Идес прибыл благополучно 15 мая 1693 г.: «Als ik den 15. Mei te Plotbisch gelukkelyk aanquam...» Не вдаваясь в то, на какой разновидности голландского

языка это написано, мы делаем открытие: *Плотбище* — это и есть *Плотус* и *Плоты*, которые сбивают с толку читателей в русских переводах «Робинзона Крузо» и ведут исследователей по ложному следу!

Иностранцам было трудно выговорить, запомнить и записать *Плотбище*, и у других авторов и картографов мы встречаем вместо *Plotbisch* урезанные, упрощенные или, если хотите, искаженные варианты: *Plotbisch* и *Plotbus*. Как я объяснил, курсивное *b* было легко принять за *h* и наоборот, и можно предположить, что по ошибке автора или наборщика в «Робинзоне Крузо» вместо *Plotbus* появилось *Plothus*, ставшее у нас *Плотусом* и переосмысленное как *Плоты*.

Или Даниэль Дефо уже с опечаткой списал у кого-то название деревни? Если так, искажение *Plothus* поможет нам определить, из какого источника он набрал для своего романа сибирских названий! Опуская историю своего довольно долгого поиска, указываю на путевые записки Адама Бранта, напечатанные по-французски в Амстердаме в 1699 г. В пояснениях к приложенной карте Брант указывает *Плотус, деревню на реке Чума*: «Plothus, village sur la rivière de Scieta». По-английски у Даниэля Дефо: «We lay at a Village called Plothus». Брант, в отличие от Идеса, пишет *Nertzinskoy, Jarawena* — именно так, как позже написал Дефо.

А это что такое у секретаря Бранта? А это и есть *Чекс-озеро*: *Le lac de Schacks-Oser*.

Озеро, богатое рыбой, но не Еравинское

Участники одного посольства, Идес и Брант шли в Цинскую империю одной дорогой, включая отрезок от Еравни до Читинского острога, который, возможно, возник на месте селения Плотбище или же именовался первоначально Читинским плотбищем. Брант указал озеро на подступах к Чите. Об этом же

озере упомянул в своих дневниках посланник Идес, назвав его *богатым рыбой*: *vischryke Schakze Oser*. Написание *Schakze Oser* отличается, согласитесь, от *Schacks-Oser*, которое мы обнаружили у Адама Бранта, что служит еще одним доказательством: Даниэль Дефо пользовался его записками — в основном, по-

тому что встречаются разночтения... Поспешим взять в руки карту современной Читы с прилегающими землями, изучим все озера к западу от означенного города и... вот оно, озеро Шакша! Иностранец Брант изобразил его как *Schacks-Oser*, ему прощительно, а то, что наши переводчики и толкователи превратили его в *Шакс* и *Чекс*, это недомыслие.

Проговорю еще раз все названия на пути Робинзона от Науна до Тобольска: Аргунский острог, затем Нерчинск. Из Нерчинска в Плотбище, которое в литературном переводе я бы назвал для ясности Читинской слободой или Читинским острогом. Караван, уходя от *tatar*, обошел с юга Шакшинское озеро. Смышсленный казак отправил преследователей на юг, к Шилкинскому острогу, а караван проследовал в Еравню, затем в Удинский острог. Даниэль Дефо написал ошибочно *Adinskoj* вместо *Udinskoj*, и переводчик Корсаков, которому это менее прощительно, закрепил ошибку в русском издании, при этом выразившись так, что можно принять название острога за фамилию *губернатора*, то бишь коменданта: «Губернатор Адинской... предложил... конвой... до следующей станции».

Этой *станцией*, как мы знаем, стал Енисейск. Даниэль Дефо не обратил внимания, не заметил, проигнорировал море Байкал — слона-то он и не приметил! Объяснение напрашивается простое: создавая весьма поспешно роман о новых приключениях Робинзона Крузо, английский писатель придумал для него опасное приключение: Робинзон уничтожает языческого идола, местные жители устраивают погоню, обстреливают караван из луков... Это происходит на отрезке между Нерчинском и Удинским острогом, и Дефо для *достоверности* перечислил

разные речки, озера и селения в той местности, не утруждая себя проверкой, они значимые или незначимые, они правильно или неправильно написаны у Адама Бранта или в иных источниках.

«Дальнейшие приключения Робинзона», повторяю, создавались торопливо и с натугой, в романе с избытком неточностей и нелепостей. Например, верблюды: по воле автора они доходят до самого Тобольска; читателю сообщается, как пережили зимние холода лошади — их держали всю зиму *под землей*: «Our Horses were kept under Ground». А бедные верблюды перемерли? Нет, в июне они неизвестно откуда появляются живые и здоровые! Перед отбытием из Тобольска в караване Робинзона тридцать два коня и верблюда: *Thirty two Horses and Camels*. Робинзон питается в Тобольске мясом *буйволов*...

Верблюды и буйволы — ладно, прощительно, это все-таки приключенческий роман, выдумка сочинителя, но чтобы в Сибири пили воду, разбавленную водкой... Пожалуйста, я зачитываю по переводу Журавской, ставшему у нас *классическим*: «Пили мы воду, смешанную с водкой». Сравним, как там у Владимирова: «К водке я не мог привыкнуть и разбавлял ее водой». Разбавлять водку водой — тоже варварство, но, предположим, это прихоть англичанина. А Корсаков что нам скажет? Он подтверждает, что Робинзон не сам себе разбавлял водку, а все-таки вместе с русскими они «пили воду, смешанную с горелкою, вместо водки». Такие вот чудеса, и мы, уже не разбираясь, чьи тут ошибки, авторские или переводческие, негодуем: заявлять, что в России водку разбавляют водой, — нет, это никуда не годится, это чистойшей воды вымысел!



Татьяна СОКОЛЬСКАЯ

ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА

Иван Петрович Попов (1926—2007) — живописец, акварелист, педагог. Уроженец Алтайского края. Учился в Киевском государственном художественном институте у А. А. Шовкуненко и Т. Н. Яблонской. Член Союза художников с 1963 г. Работал в товариществе «Художник» в Донецке (1956—1959); с 1959 г. жил в Новосибирске.

«Дневник художника» — так называется автобиографическая книга новосибирского живописца и акварелиста Ивана Петровича Попова. Свообразными дневниковыми страницами видятся и его произведения: они прочитываются как повествование о том пути, который проходит художник в поисках изобразительных средств и сюжетов, наиболее полно раскрывающих его дарование.

Нелегко в потоке событий найти себя и отстоять личные ценности, не поддаваясь модным веяниям времени. И. П. Попов начал свою творческую деятельность в послевоенные годы, работал во времена застоя, в годы перестройки и в новом веке. Однако всегда он оставался верен избранным еще в юности темам: сельскому пейзажу и портретам простых людей — охотников, рабочих, крестьян. Его творчество представляется простым и ясным, но эта безыскусность не лишает глубины созданные им произведения.

И. П. Попов получил образование в Киевском государственном художественном институте, где его учителями были признанные мастера А. А. Шовкуненко и Т. Н. Яблонская.

Алексей Алексеевич Шовкуненко был превосходным живописцем и талантливым преподавателем. В книге воспоминаний Иван Петрович писал о своем учителе: «Он сам прекрасно видел цвет

и открывал у студента способность видеть цвет как средство реалистической живописи». Это умение видеть цвет продемонстрировано в дипломной работе Попова «Сестры». Картина выдержана в мягком зеленовато-бирюзовом колорите. Кажется, что цвет является действующим лицом в этой драме раскола семьи в годы Гражданской войны. Он как будто смягчает напряжение между героями, стараясь объединить людей, вдруг ставших чужими друг другу.

На подготовку дипломной картины ушел целый год, велась долгая и кропотливая работа над многочисленными предварительными рисунками сангиной и карандашом, живописными этюдами не только героев произведения, но и каждого предмета в комнате — от лампы до ковра под ногами. В результате картина была оценена на отлично, участвовала во Всесоюзной выставке дипломных работ в Москве, а автор был принят кандидатом в члены Союза художников Украины.

Интересно, что сам Попов хотел взять для диплома другую, более близкую ему тему, но не решился. Он задумал эту картину еще в 1954 г., путешествуя во время каникул по Алтаю. Иван писал тогда много этюдов, ходил далеко в горы на альпийские луга, где и встретил героя своей будущей картины — табунщика, который жил в горах наедине с табуном

почти диких лошадей. Решение темы началось гораздо позже, четыре года спустя. Окончательный же вариант картины был исполнен художником только в 1986 г.

Об этой встрече и о работе над картиной написал Иван своему троюродному брату Василию Шукшину. В ответном письме Шукшин очень точно выразил основную идею полотна: «Там угадывается в чем-то (по-моему, в позе, то ли в выражении лица) одно неотъемлемое качество русского человека — терпение. Как мне хочется, Ваня, чтоб ты довел эту работу, не бросил бы. Она трудна знаешь чем? — покоем своим. Сужу об этом как литератор и актер. Попробуй написать рассказ, где ничего не происходит, где жизнь течет себе и течет, а вместе с тем надо, чтобы читатель задумался — это ой как трудно!»

Шукшина и Попова связывала крепкая дружба. В одном из писем Василий писал Ивану: «Как ты мне нужен, дорогой брат мой! <...> ...Я вдруг ощутил жгучую необходимость в родном, близком по Родине, по крови, по духу человеке».

Они были родственниками, земляками, а главное — творцами. Люди на портретах Попова — это герои рассказов Шукшина. И дружба художника и режиссера часто становилась сотворчеством.

В 1963 г. Шукшин пригласил Попова принять участие в съемках фильма «Живет такой парень». Иван помогал выбирать места для съемок на Алтае. Это было самое счастливое и плодотворное время для художника. В поездке он сделал множество этюдов и набросков. Мастерски написанные, богатые по колориту, эти работы наполнены подлинной любовью к своему краю.

Через два года после поездки Попов начал работу над картиной на очень личную и значимую для него тему. Это эпизод из его детства, сватовство отчима к его матери. Картина называется «Разговор», хотя разговора в его обычном смысле здесь нет. Все герои молчат. Взрос-

лые обособлены и погружены в себя, а мальчик внимательно и требовательно смотрит на будущего отчима. Все герои равноценны, а их эмоции выражены композиционной и световой нюансировкой. Вопросительно-требовательное ожидание ребенка подчеркнуто концентрацией света на его фигуре. Неопределенность положения мужчины метафорически выражена его погружением в тень, в самую темную зону композиции. А скрещенные руки женщины — примета сильного характера. Статичность в этой картине — не покой, а сжатая пружина.

Разработка сюжета, где нет выраженного действия, начатая в «Табунщике», получила свое развитие в «Разговоре». Обе картины хранятся сейчас в Новосибирском художественном музее.

В 1966 г. Попов совершил творческую поездку на Таймыр. Ему хотелось обновить впечатления, увидеть что-то до сих пор невиданное. Поездка получилась плодотворной — около сорока работ привез из нее художник. Среди колоритных образов местных жителей одним из самых удачных стал «Портрет Аванси».

«В комнату зашел нарядный старик и сказал:

— Драсьте, художники, я маленько вам мясо принес, так заднюю ногу... Съедите, принесу исе. Надо бы вам рыбки принести. Рыбка вкусная — муксун, сиг, таймырский омуль.

На вопрос, как его зовут, старик отвечал как-то смущенно:

— Меня они прозвали Аванси... Почему? Да я в конторе просил аванс, вот и прозвали так. — Старик засмеялся. — Я вот скоро умру, у меня рак желудка... Я бы попросил вас нарисовать меня...

В его монологе выразился весь характер этого народа — дружелюбный, простой, гостеприимный...»

И все эти качества северного народа сумел донести до зрителя художник через конкретный образ, не потеряв в нем остроту индивидуального облика. Вы-

ставка таймырских работ вызвала большой резонанс; несколько произведений, в том числе и «Аванси», вошли в собрание Новосибирского художественного музея.

Это было не последнее путешествие Попова на Север: в 1971 г. он снова собрался на Таймыр. Если в первый раз художник работал в основном маслом, то сейчас он взял с собой только рулон ватмана и акварель. И эта поездка оказалась творческой удачей: виртуозные портреты оленеводов, охотников, пейзажи парадоксального цветового решения выполнены в сложнейшей технике с удивительной легкостью. Здесь невозможно не вспомнить второго главного педагога Попова Татьяну Ниловну Яблонскую — известную советскую художницу. Вероятно, именно ее уроки помогли Ивану Петровичу создать серию чарующей «северной» графики.

В 1967 г. Попову предложили преподавать на архитектурном факультете Новосибирского инженерно-строительного института. После летней акварельной практики в Суздале появились прекрасные акварели «Старый двор», «Деревянный дом», «Ворота в монастырь», в которых отразилась многовековая история города. Здесь он неожиданно встретился с Шукшиным, который проводил съемки фильма «Странные люди». В следующий раз они увидятся на Алтае, где Василий Макарович согласится позировать для портрета.

«Я сходил за чистым листом ватмана и потихоньку начал готовиться к сеансу. Василий сам приспособился в такую позу: сел на зеленый диванчик, левую руку положил на спинку, правую — на колено, в пальцах — сигарета.

Мне важнее всего было “взять” голову с плечами. После карандаша я прошелся еще фломастером для контрастности и начал писать акварелью. Василий позировал терпеливо, он ушел взглядом куда-то внутрь, на лице начало проявляться одухотворенное выражение, в глазах и надбровных дугах появились трагические черты.

Несколько меня смутили глаза, они стали влажными от слез, впрочем, не обильных. У меня по спине пробежали холодные мурашки.

Согласен, чем выше у человека интеллект, тем труднее его писать...»

После смерти Шукшина в 1974 г. Попов испытывал постоянную боль утраты. Он по-прежнему интенсивно работал, участвовал в Шукшинских чтениях, много произведений подарил музею Шукшина в Сростках. Не оставлял и педагогической деятельности — преподавал живопись на художественно-графическом факультете Новосибирского государственного педагогического института. Здесь он трудился до последнего дня и воспитал немало хороших художников.

Когда-то давно, еще в Донецке, с молодым живописцем произошел такой случай.

«Как-то делал этюд на шахте, ко мне подошел один пожилой шахтер, посмотрел на мои “художества” и говорит:

— Зачем ты это делаешь? Это только начальству нужно... Лучше жизнь избражать, а это всем нам давно надоело, осточертело...

— Что вы понимаете под словом “жизнь”? — переспросил я.

Он долго объяснял мне:

— Это так, чтобы народу нравилось, а не начальству...

Вот такой “пассаж”».

Возможно, эта встреча помогла Ивану Петровичу определить направление своего творческого пути. В его картинах нет фальшивых нот, он писал только то, что было близко его душе, и очень серьезно относился к своим произведениям. Для него были важны не звания и награды, а творческая состоятельность.

Иван Петрович гордился дружбой и творческим единением со своим братом Василием Шукшиным. Он и сам как один из героев Шукшина — настоящий русский характер, с его терпением, стойкостью, широтой и бесконечной любовью к своей земле.

АВТОРЫ НОМЕРА

Аникина Ольга родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный медицинский университет. Кандидат медицинских наук. Стихи публиковались в журналах «Сибирские огни», «Дружба народов», «Волга» и др. Автор трех поэтических сборников. Лауреат премии «Поэт года». Живет в Сергиевом Посаде.

Байборodin Анатолий Григорьевич родился в 1950 г. в Забайкалье. Окончил Иркутский университет. Работал в районных и областных газетах Восточной Сибири. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирские огни» и др. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

Берязев Владимир Алексеевич родился в 1959 г. в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Могила Великого Скифа», «Посланец», «Тобук», «Кочевник», романа в стихах «Могота» и др. Живет в Новосибирске.

Бурлаченко Сергей Владимирович родился в 1960 г. в Москве. Окончил Московский топографический политехникум и ВГИК. Работал топографом, сценаристом, театральным режиссером, журналистом. Автор двух книг прозы. Публиковался в журналах «Новая Юность», «Дальний Восток», «Бельские просторы» и др. Живет в Москве.

Васильев Константин Борисович родился в 1952 г. Окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор филологических статей и ряда учебных пособий. Готовил к печати для издательства «Азбука» серию «Русская словесность» и редактировал такие произведения, как «История кабаков в России» И. Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г. В. Есипова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из

Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Живет в Санкт-Петербурге.

Домрачева Ольга Николаевна родилась в 1971 г. в Куйбышевской области. По образованию бухгалтер, работает в банке. Победитель межрегионального конкурса на соискание премии им. И. Д. Рождественского (Красноярск, 2016). В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в р. п. Большеречье Омской области.

Злобин Владимир родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Публикуется впервые. Живет в Новосибирске.

Косоков Владимир Николаевич родился в 1986 г. в Железногорске Курской области. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Работает в СМИ. Победитель Волошинского конкурса (2016). Живет в Курске.

Куксинский Алексей Александрович родился в 1984 г. в Минске. Окончил Белорусский экономический университет. В настоящее время работает прорабом. Живет в Минске.

Сокольская Татьяна Евгеньевна — искусствовед. Окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. Арт-эксперт салона «Антиквариат на Николаевскомъ» (Новосибирск).

Якимова Людмила Павловна родилась в Горьком. Окончила Горьковский пединститут. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Сибирские огни», «Сибирский филологический журнал», «Slavia orientalis» и др. Автор более 300 научно-теоретических и литературно-критических статей и семи монографий по истории русской литературы. Живет в Новосибирске.



МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 1.03.2017 г. Дата выхода № 4 за 2017 г. в свет 3.04.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.